

ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН.ДП.СВЯ-
ТОПОЛК-МИРСКОГО, П.П.СУВ-
ЧИНСКОГО, С.Я.ЭФРОНА И ПРИ
БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕ-
КСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОЕ

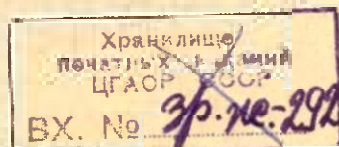
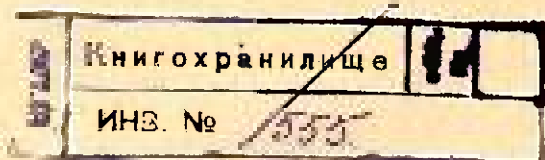
№ 2

ПАРИЖ

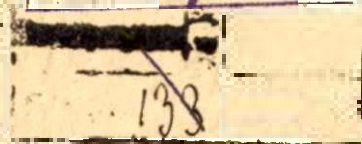
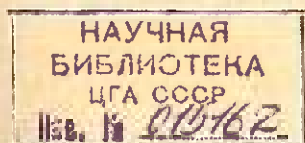
ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН.Д.П.СВЯ-
ТОПОЛК-МИРСКОГО, П.П.СУВ-
ЧИНСКОГО, С.Я.ЭФРОНА И ПРИ
БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕ-
КСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

N.2



ПАРИЖ



1

9

2

7

ТЕЗЕЙ

ТРАГЕДИЯ

ЛИЦА

Тезей, сын царя Эгея

Ариадна, дочь царя Миноса

Эгей, царь Афин

Минос, царь Крита

Посейдон

Вакх

Жрец

Провидец

Вестник

Водонос

Хор девушек

Хор юношей

Хор граждан

Народ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Чужестранец

Дворцовая площадь в Афинах. Ранний рассвет. Проходит вестник.

У водоема, полулежа, старик-чужестранец. Подходит водонос.

Вестник

Вставай, кто не спал!
Вставай, кто как дух бродячий
Очей не смыкал!
Вставайте, настал
День плача!

Семь утренних звезд,
Спесь прадеда, радость брата,
Вставайте в отъезд,
Которому несть
Возврата!

Семь доблестных львят
— Заглохнет и род и память —
С девицами в ряд
Вставайте. Канат
Натянут.

Встань, матери стоп
Над морем! Земля умылась.
Корабль оснащен.
Афинам закон —
Царь Минос!
Вставай, кто не...

(Проходит дальше).

Чужестранец

Как от слез смертным очам
 Слепнуть — глаз не было б зрячих!
 Что за город, где по ночам
 Не младенцы — матери плачут!

Старцы плачут! Злое стряслось!
 Рокот моря — что рев львиный!
 Ты скажи ка мне, водонос,
 Этот город — впрямь ли Афины?

Водонос

Не иначе.

Чужестранец

Дым очагов
 Никнет. С небом огонь дружен!
 Верно плохо чтите богов?

Водонос

Нет, усердно богам служим.

День и ночь кровь и слез
 Льются, щедр жертвенный ладан
 В честь седого князя морей
 Посейдона, девы Паллады.

Хоть и много, а чтим всех!
 Содрогись, выслушай, старый:
 За Эгея-царя грех
 Роковой — страшная кара.

Трижды восемь весен тому
 Вспять — день в день — Андрогей, критский
 Гость, — стрелков равных ему
 Не встречал: с языка — птицей
 Мысль, что мысль — в птицу — стрела!
 Развевался плащ его алый.
 На щеках — юность цвела,

На устах — мудрость играла.
 Храбр как лев, строен как трость,
 Щедр как некто, богам близкий.
 Вечно-первым наш криткий гость
 В беге, в бое, в метанье диска,
 В песнях — и в вождельных дев...
 — О, горстями бы рвал, — знай он! —
 Но красы вечный припев —
 Смерть — и был Андрогей найден
 Мертвым... В роскоши мышц и чар!
 От стрелы, пущенной в спину!
 И пришлось нам Миносу в дар
 Молодого мертвого сына
 Отвозить...

Грянул войной
 Крит. Страшны беды и многи:
 Знобы, зуды, засуху, зной
 Ниспослали мстящие боги
 На нас град. Засухи бич
 Нивы жжет, травы без сока.
 Матерь, плачь! Первенец, кличь!
 Грудь, грозди, ручьи — иссохло
 Все в краю сем —

(указывает на глаза)

кроме ям
 Сих. Верховный совет созван.
 В Дельфы царь — к вещим камням.
 Был ответ ясен и грозен.
 «Андрогей, радость богов,
 Жертвы ждет, кровью несытый.
 От Афин белых берегов
 К берегам мощного Крита
 Пусть корабль тропется. Груз
 Корабля — дважды седмица
 Дев и юпошей».

— Стои уст
 Слышишь? Это к берегам критским
 В третий раз нынче корабль
 Выплывает. В каждые восемь

Весен — раз. Так покарал
Крит — Афины — за всех весен
Наисладостнейшую...

Сын

Всем отцу был. Бед и разрух
День! — Эгея, царя Афин,
Называет убийцей слух.

Чужестранец

Мощеп царь ваш.

Водонос

Косен и дрибл
Царь наш. Сласть же и скорбь — свыше!

Чужестранец

Искупите!

Водонос

Третий корабль!

Чужестранец

Так восстаньте!

Водонос

Идут, — слышишь?
Плачут...

Хор девушек

О утр румянец!
О девства лен!
Семи избранниц
Услышьте стон!

В тоске и в дрожи
Куда — за версты
Плывем? О не
к женихам заморским

На ложе, — на смерть
Корабль везет!

Хор юношей, *впадая*

Семь звезд угаснет,
Семь роз опадет.

Хор девушек

Ни роз, ни лилий, —
Аида сень!
Семь струн у лиры —
Нас тоже семь!

Блаженство — лирою
Множить в семьях:
Семь струн у лиры,
И тоже семь нас,

Сестер по сходству,
Сестер в весне...

Хор юношей, *впадая*

Семь струн порвется!
Семь слез на весле...

Хор девушек

О сестры! Спутан
Порядок воли.
Покорно вступим
На пенный холм.

Защитник — кто нам?
Защитник — где нам?
Мы тщетно стонем,
Конец — надеждам...

Семь дев, семь чаек
Над гладью вод...

Хор юношей, впадая

Семь дев отчалит,
Семь жертв отплывет.

(Хор дев уступает хору юношей)

Хор юношей

Рвите ризы и волоса,
Ибо семеро в полном цвете...
Ставьте черные паруса,
Корабельщики, горя дети!

Не к красавицам, в царство нег,
Не к чудовищам, в царство лавра, —
Семь юнцов покидают брег
В жертву красному Минотавру.

Минотавр, небывалый бык,
Мести Миносовой сообщник,
Мозг и печень нам прободит,
Грудь копытами нам затопчет.

Так, все запоеди поправ,
Мстит нам Минос за кровь сыновью.

Хор девушек, впадая

Семь венцов уппадают в прах,
Семь стволов истекают кровью.

Хор юношей

Ах, когда бы под градом стрел
Пасть — чтоб лаврами кровь бежала б!
Не оставим ни чад, ни дел,
Ничего, кроме женских жалоб,

Лишь утраивающих стыд:
Пасть, ни песни не дав витиям!

Хор девушек, впадая

Семь бойцов опускают щит,
Семь тельцов подставляют выю.

Хор граждан

Увы, увь!
Лягут юные львы на знойном
Щебне — ниже травы!
Едут юные львы —
На бойню!

Забудь, забудь,
Мать, — коих спасти бессильна!
Задуть, задуть,
О ветер, помоги
Светильню

Напрасных дней...
Гони кормовые струйки
Буйней, буйней
О ветры, о ветры
Дуйте!

Что знатных жен
Стенанья и плач кормилиц?
Корабль оснащен.
Афинам закон —
Царь Минос.

Спрута яростней, язвы злей...

Чужестранец

Минос? Думалось мне, Эгей —
Царь ваш.

Народ

Трепетнее тельца —
Царь наш.

Чужестранец

Думалось мне, сердца
Вы, не слизни!

Народ

Упал, — лежи...
Что уж...

Чужестранец

Думалось мне, мужи —
Вы!

Народ

Чуть живы мы, — вот что. Брось
Поученья. Кость с мясом врозь
Разошлась. Не по силам мзда!

Чужестранец

Значит — Мишосовы стада
Вы — не граждане? Не отцы.
Вы, а камни? Смирней овцы,
— Вздохи, стоны, а меч то где ж? —
Ждете казни своих надежд?
Прелесть гибнет, а зрелость спит?
Стыд вам, граждане!

Народ

Стыд то стыд...
Богу — храм,
Рыбе — вода...
А уж нам —
Не до стыда!

Век наш — час, вздох наш — пар...

Чужестранец

Есть же царь!

Народ

Царь наш стар.

Чужестранец

Что до царских седин?
Есть же сын!

Народ

Сын один
У царя. Не про нас.
Лоб то за морем тряс!
Гость в отцовом дому.
Да и сын ли ему —

Не сказать. Ходит слух,
Сам слышал от старух
Старых да стариюв:
Будто и не царев
Сын, — Атлантики гость.
Посейдонова кость.

Впрочем...

Чужестранец

Темен твой сказ!

Один из народа

Впрочем, что им до нас,
До кротов земляных,
Впрочем — что нам до них
До богов, до царей
И до их сыновей...

Ими пламень раздут —
Наши на смерть пойдут!

Народ

Увы, увы!
Лягут юные львы на дольнем

Камне — ниже травы.
Едут юные львы...

Чужестранец

Довольно!

Поворотом руля
Спор решают. Пожарищ кличем
Вызывайте царя!
Будет жребий брошен вторично.

Парус смертной ладьи
Пусть и царскую грудь заденет!
Не бездетен — води
Сына! Юноша — не младенец!

Отвечает вдвойне
Сын за пепел и пурпур отчий.
Пусть с твоим наравне
Встанет, белого овна кротче.

Многих ставши отцом,
Царь единого блясть не в праве.
Как волна под веслом,
Под серпом равнодушным — травы,

В час страды и войны
Все равны. И в крови и в хлебе —
Все — Эгею сыны!

Остальное решает жребий.

Царь! — Подхватывайте!
Царь — Распатывайте!
Царь! — Три заповеди
Должно чтить.

Нет родных тебе
И нет чужих тебе,
Царь забывчивый!
А третий стих

Этой заповеди...
— Царь! — Распатывайте
Стены! Ратуйте же!
Бог — и жду?!

Там, где с заповедями
Запаздывают —
Боги ввязываются
В игру.

Народ

К царю! к царю!
Во дворец!

Чужестранец

Наседай! Дружнее!

Народ

Отец! Отец
Эгей! Подавай Тезея!
Стрела сорвалась!
Страдай же, как страждем мы!

(Явление Эгея)

Эгей

Приветствую вас,
Афинские граждане.

Что в утробной мглы
Час — в дом мой приводит вас?

Народ

Мы ждать не могли,
Царь! Море тревожится!
Волна восстает!
Кровь взмыла и схлынула!

Э г е й

Каких же щедрот
Здесь ждете?

Н а р о д

За сыном мы
Твоим! Если ты
Молчишь — камни ожили!
Мы — тоже отцы!
— И первенцы тоже мы
В домах! — Через край
Беда! Не то вдребезги —
Дворец! Подайвай
Тезея для жребия!

(К р и к и)

Тезея! Коль сын
Он царский — не струсит же!
Тезея! Афин
Надежду!

Э г е й

Так слушайте ж:
Согласен!

(К о м у т о)

Ладью
Готовь с черным парусом!
Я вам отдаю
Тезея, столп старости
Моей...

Н а р о д

Выводи!
Слов ведома суетность!
На сей площади
Пусть жребий рассудит нас!
Тезея!

Э г е й

— Очам
Предстанет немедленно. —
Души моей храм,
Надежду последнюю
Я вам отдаю,
Афины!

Н а р о д

Да здравствует
Царь! Слава царю!
Воистину царь ты наш!

Э г е й

Если ж жребий, который слеп,
На мой оттиск падет единственный,
Не останетесь вы без стреп,
Золотые врата афинские.

Не страшитесь ни язв, ни зол, —
Царь с народом не зря поладил!
Унаследуют мой престол
Пятьдесят сыновей Палладия,

Брата грозного моего.
Не страшитесь престольной трещины!
Вместо кровного одного
Пятьдесят вам царей обещано:
Мощных, рослых...

Н а р о д

Но вступят в спор
Братья! От пирога ни корки нам
Не видать!

Э г е й

Пятьдесят подпор
Царству!

Н а р о д

Не пятьдесят ли коршунов?

Э г е й

Увозите же за моря
Сына: жизнь мою и глаза мои!
Не останетесь без царя!
Увозите Тезея за море,

К Минотавру.

Н а р о д

Царь готов.
Только будем ли целей?
Целых пятьдесят отцов!
Целых пятьдесят царей!

Брат на брата: бить и жечь!
Шаром прядяущий вихрь!
Брат на брата: бич и меч!
Все мы пасынки для них!

Вотчими разгромят
Царство! — Злейшее из рабств!
Зуд пятидесяти язв!
Рев пятидесяти распрь!

О пятидесяти нам
Головах обещан змей!
Шибче, шибче по волнам!
Нам не надобен Тезей!

Э г е й

Слово сказано. Канат —
Клятва царская, — одна!

Н а р о д

Чужестранец виноват!

Э г е й

Клятва царская дана.

Не последует канат
Легкой прихоти ветрил.

Н а р о д

Чужестранец виноват!
Ты — морочил, ты — мутил,

Ты — натравливал! Вязать
Старца злостного! Верны
Все Эгею мы! Назад,
Гость Аидовой страны!

На головы нам как гром
Рухнул! Наш теперь черед!
Руки с разумом, с царем
Рознить можно ли народ?

— Сograждане, прав я?

Н а р о д

— Под стражу! — На плаху!
— Жало извлечь!
— Заживо сжечь!
— Истолочь!
— Заковать до пят!

(Явление Тезея)

Т е з е й

Руки прочь!
Чужестранец свят!

Граждане, чтятся
В этом краю
Гости и старцы.
Не узнаю

В этой борьбе неравной—
Родины моей славной!

Гостю — обида?

Н а р о д

Ложь в нем и злость.

Т е з е й

Кто бы он ни был —
Старец и гость.

Старцу — отмщение?

Н а р о д

Яд в нем и вред.

Т е з е й

Дважды священен:
Странник — и сед.

Н а р о д

Против основы
Шел, уличен!

Т е з е й

Чтите чужого, —
Вот вам закон!

Н а р о д

Нож уготован
Жизни твоей!

Т е з е й

Чтите седого, —
Вот вам Тезей!

Старца — под стражу?
Гостя — властям?

Э г е й

Да на тебя же,
Сын мой, восстал!

Т е з е й

Знаю. Безсмертным
Стать не боюсь,
Миносу в жертву
Сам отдаюсь.

На корабле немедленно
С вами плыву — без жребия.

Э г е й

Сын мой!

Т е з е й

Согласья
Царского жду.

Э г е й

Стар я.

Т е з е й

Но страстен
Я — и в ряду
Граждан афинских —
Первый. — Плыдем! —

Э г е й

Слаб я.

Т е з е й

Но сын твой —
Дважды силен.

Н а р о д

Слава Тезею!
Новый Геракл!

Э г е й

Сын мой! Добрее
Волки в горах!
Сдайся!

Т е з е й

Не сдамся!
Храбрым — венцы!

Э г е й

Под стражу упрямца!

Т е з е й

На весла, гребцы!

Парус,
В море!

Н а р о д

Радость!

Э г е й

Горе!

Т е з е й

Вглядь, морская пучина!

Н а р о д

Слава царскому сыну!

Э г е й

Так захлебнись же
В отчей крови,
Отцеубийца!

Чужестранец, выступая

Останови
Слово в гортани,
Гнев на устах.
Юн — неустанен, —
Юноша прав.

(к Тезею)

Сын мой! Еще нам
Страсти нужны!
Ты Посейдоном
Избран в сыны.

В снах и в обличьях,
Вблизи и далече,
Трижды покличешь —
Трижды отвечу.

Пенная проседь,
Гневные волны.
Трижды попросишь —
Трижды исполню.

Пади ко мне на грудь,
Сын, в славе утвержден!
(Объятие)
Вал, долу! Ветры, дуть!

Н а р о д, падающая

Владыка Посейдон!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Тезей у Миноса

Тронный зал царя Миноса на Крите. Ариадна, одна, играет в мяч.

Ариадна

Выше, выше! Пробивши кровлю —
К олимпийцам, в лепную синь!
Мой клубок золотой и ровный,
Дар прекраснейшей из богинь!

В нем великие силы скрыты,
Нить устойчива и светла.
Мне владычица-Афродита,
Подавая его, рекла:

«Муж, которому вместе с волей,
Вместе с долей его вручишь,
Он и в путях пребудет волен,
Он и в кознях пребудет чист.

Все пороги ему — путями!
Он и в страсти пребудет зряч!»...
Но заветным клубком покамест
Ариадна играет в мяч.

«Золотой невестин
Дар — подальше спрячь!»
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

«Никому не вручай до часа,
Милых много, один — милей!»
Так учила она, клонясь
Над любимицею своей.

«Никому не вручай без жажды
Услаждать его до седины,
Ибо есть на земле для каждой
Меж единственными — один.

Золотой невестин
Дар — подальше спрячь!»
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

Афродитою с самых ранних
Лет обласкана я: что мать —
Над дитятею. «Твой избранник
И моим не преминет стать.

Лишь бы в верности был испытан,
Лишь бы верностью был высок —
Всеми милостями осыплю,
Все дороги его — да в срок!

Чтобы богом земным пронесся
Лавр и радость на лбу младом»...
Но, увь, золотого лоску
Мяч — по прежнему мне в ладонь

Возвращается. Дар невестин
Все — от суженого, хоть плачь!
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

Но меди лязг!
Но лат багрец!
Но светочей кровавых гарь!
Теперь игре моей копец.
Привѣтствую тебя, отец и царь.

Минос, в окружении факелоносцев

В наготѣ тронного зала
Что ты делала, дочь?

Ариадна

Играла.

Минос

Игры — призрак и радость — звук.
Чем?

Ариадна

Ударами быстрых рук
Мяч испытывала проворный.

Минос

В месте скорби моей тлетворной,
В день всех горестнее, всех злей?

Ариадна

Нет у девушки прошлых дней!

Минос

Плач и трепет по всей округе!

Ариадна

Мяч подбрасывала упругий,
Чтобы радости мне принес!
Нет у девушек долгих слез!

Вечно плакать — и слез не хватит!
Семя — долго ли в шелухе?
Слаще вздохов о бывшем брате
Вдох о будущем женихе!

Минос

Нет у сердца в груди!

Ариадна

Не знала

Бед.

Минос

В канун моего обвала!
Нынче смерти его канун!

Ариадна

Но твой первенец, царь, был юн,
Я же — есмь. И тому уж трижды
Восемь весел, отец!

Минос

Недвижен
Век. Единожды был мне дан.

Ариадна

Нет у девушек старых ран!
Только новые! Дайте ж травкой
Быть, — долга ли ее пора?
Завтра уже — без завтра
Дева, что без вчера
Нынче. — Короток день наш красный!

Минос

Дан единожды, взят всечасно,
Все вечерне, всею ночью взят.

Ариадна

Если ж сыну на смену — зять
Встанет, рожи мужской вершина?

Минос

Разве зять заменяет сына?

Ариадна

Ну, так я остаюсь, седни
Утешение.

М и н о с

Дочь — не сын.
 Дочь — увы! — хороша замена!
 Вместо сына. Оплот — на пепу
 Променять? В этом море слез
 Непа — дева, а сын — утес.

На низверженного не сгуй.

А р и а д н а

Сын — утесом, а дочь утехой
 Создана, мотыльком жилья.

М и н о с

Медлит жертвенная ладья!
 Обложу их тройною данью!
 За мгновение запоздашь
 — В мясники обращает гнев! —
 Рожи храбрых и купца дев!

Мишотауру тройная прибыль.

В е с т н и к

Царь, корабль долгожданный прибыл.
 Некий юнша по пятам,
 Нрава властного.

Т е з е й, входя

Входит сам
 Гость — коль ядан.

(Минос)

Здравствуй, жрец
 Трижды клятий!
 Не певец:
 Буду краток.

Посему отероту удвой.
 Предводительскую ладью
 Осужденных. Восьмой — не боле.
 Не по жребью, а по воле
 Здесь, — вечерней жертвой лечь
 За Афины.

— Приемли меч!

(Вручает)

Кровью злых
 Щедро смочен.
 Не жених:
 Буду срочен.

От Эгеевой злой стрелы
 Пал твой первенец. — Так орлы
 Падают! — За ниспада в хрипах
 Андрогей — Тезей на выкуп!

За Эгея ужасный грех
 Сын ответит — один за всех!

М и н о с

Сын?!

Т е з е й

Убей,

Царь! Да рдеет
 Меч!

М и н о с, наступаая:

Тезей?

Сын Эгеев?

(Поединок взглядов)

...Так из ведомых мне — один
 Ты — взглянул бы!

(С новой яростью)

Убийцы — сыны?!

(Стражес):

Увести от меня лукавца!

Тезей

Царь, еще не докопчил сказки!
Этой крови узревши рдянь,
Царь, сними роковую дадь
С града грешного...

Минос, стражес:

Прочь с безумцем!

Тезей

Не безумен я, образумься —
Ты! Швыряя тебе сию
Роскошь — мало тебе даю?

Кровь, что вечность бы не иссякла!
Славу будущего Геракла!
Гекатомбы, каких не зрел
Мир — еще! Мириады дел
Несвершенных и несвершимых.
Небожителей на вершинах,
Небожителей в лоне вод
Допроси.

— Водопады од,

Царь, как в пропасть в тебя швыряю!
Ибо злейшее, что теряю
Днесь — не воздух и не перстов
Ощущь, — эхо в груди певцов!

Царь, безвестным уйду. Искусство,
Что ль, к одру пригвоздить Прокруста?
Кулака молодой размах

На бродягах и кабанах
Испытав, ни одной Химеры
Не сразив...

Но прими на веру,
Царь: единый, а не любой
Завтра выведен на убой
Будет. Равная кровь прольется
Андрогеевой.

Минос

Это сходство!
Ад ли призрану повеле?
Так в немотствующей золе
Пепелища — алмаз несплавный:
Честь.

Тезей с Андрогеем, — прав ты!

Горы — равныя на весах.
О девицах и о юнцах
Не ленись. По стезе лазурной
Им — везти доверяю урцу
С прахом громким твоим — и весть,
Что на Кретосе сердце — есть.
Вероломной стрелой не платим
Гостю. Праведнее бы зятем,
В дом принять тебя. — Па! твоя! —
Трон отдать тебе! По края
Чаши свадебные наполнив,
Всем назвать тебя!

Тезей

Царь, опомнись!

Минос

Сон и совесть обрел бы вновь...

Тезей

Но меж мной и тобою — кровь
Андрогеева!

М и н о с

Кровь, но где же?

Т е з е й

Двух враждующих побережий
Башни!

М и н о с

Сон бы обрел и смех...
Но да сбудется воля твоя!

Т е з е й

Царь, не должно такого часу
Длеть!

М и н о с

Убойной! Грудой мяса!
— Судорог, содроганий смесь! —
И не некогда, где то, — здесь,
Завтра же...

Т е з е й

Не крушись! не каюсь.

М и н о с

Но покаместь еще, покаместь...
— Взгляд, сломивший меня как трость! —
Но покаместь еще ты гость
Мой.

В пустыне источник пресный!
Призрак! Первенец! Оттиск перстия
В воске — мрамором мнил его! —
Сердца старого моего.

Т е з е й

Царь, не для рокового часу!

М и н о с

Дщерь, вручи золотую чашу
Гостю. Досыта насласти,
Ибо — слезная.

— Пей и спи.

*
* *

Тот же зал. Ночь. Тезей один.

Т е з е й

Сердца крылатый взмах,
Вала чреватый стон,
Полночь и кровь в ушах —
Все отгоняет сон.

Стражи протяжный клыч,
Пены пустой припев
Об островах добыч, —
Все распаляет гнев.

Гнев на тебя, о мощь,
Давшая — овном лечь
Клятву. Рабыней в ночь
Швыр — нувшая меч.

Гнев на тебя, о длань!
(Легче клыки развесть
Вепрю — перстов сих!) — в дань
При — несная честь.

Гнев на тебя, о мышцы
Роскошь! Богам не чужд
Быв, без меча — камнями
Бо — лотный — не муж.

Гнев на тебя о глас
Древа, травы, ручья:

«Тот кто Афины спас,
Не — вынуд меч!»

Плакальщиком смею
Очи, — без боя бит!
Имени нет сему
Гневу — иного: стыд.

Плакальщиком сойду
В славы подземный храм.
Имени нет сему
Гневу — иного: срам.

(Явление Ариадны).

А р и а д н а

Будет краткою эта речь:
Принесла тебе нить и меч.

Дабы пережило века
Критской девы гостеприимство.
Сим мечом поразить быка,
Нитью — выйдешь из лабиринта.

Все и спи.

Невредим и здрав
Возвращайся в родную землю!

Т е з е й

За богиню тебя приняв,
Я даров твоих — не приемлю.

А р и а д н а

Гость, очнись!

Т е з е й

Не прикрыв лица,
Безоружным предстать клялся.

А р и а д н а

Меч твой, коим убит Прокруст!

Т е з е й

Меж мечом и рукою — уст
Клятва. Правой моей подъять!
Меж рукою и рукоятю —
Честь, безжалостнейший канат.
Мною данною клятвой — взят.

А р и а д н а

Не пристало тебе покорство!

Т е з е й

Не осиленным распростерся,
Волей Миносу отдался!

А р и а д н а

Вспомняи своего отца!
Не надежны восьмидесять!
Дни последни кому ж лелеять
Как не первенцу?

Т е з е й

Отчей есть
Власть безжалостнейшая — честь.

Да свершится ж предначертанье.

А р и а д н а

Андрогеевыми чертами
Обольщенный — простит отец!

Т е з е й

Честь — безжалостнейший истец.

Ариадна

Злость — нет равных во вселенной
Минотавровой!

Тезей

Уязвленна
Честь — чудовищнее стократ
Минотавра.

Ариадна

Неправ, не свят
Подвиг твой! Уж и так велик ты!
Ради этой моей улыбки
Дрогнувшей — отрекись! срази!
Ради этой моей слезы
Брызнувшей! На всех нелюбимых
Разве клятва мужская — тяжче?

Тезей

Красоты в этой жизни есть
Власть безжалостнейшая — честь.

Даром бьешься и даром тщишься.

Ариадна

Просветите же нечестивца,
Боги! Рухай, гордец, с горы!
Афродитины — се — дары.

Вышей воли се зеркало,
Только вестницею предстала,
Только волю ее изречь —
Принесла тебе нить и меч.

Но твоих, воспаленных бредом
Уст — заране ответ мне ведом:
«Божества над мужами есть
Власть безжалостнейшая».

Тезей, преклоняясь:

-- Нсть.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лабиринт

Вход в лабиринт. Ариадна.

Ариадна

Тщетно над этой прочностью
Бьются и слух и стон.
Громче песок в песочнице
Льется, слышней Харон

Воду веслом задевает Стиксу.
Брат, завершивший день,
Громче над урной твоей опиковой
Лавр расстилает тень.

Канул — и канул полностью!
Сдайся, мой слух разверст!
Громче на круге солнечном
Тень поднимает перст.

С тем суждено ль мне встретиться,
Кого богом мню?
Не отзовется Дедала дитище,
Тайны не выдаст дно.

Ожесточенье слабости!
Бог — кто тебя не знал!
Камни так плотно славивший,
Будь проклят, Дедал!

Свод, ничему не внемлющий!
Мертв — кто в тебя забрел!
Нагроможденье немощей —
Будь проклят, мой пол!

Девичьих наитий
Река глубока.
Не выпусти нити,
Не выронь клубка!

Вслушиваюсь — как в урне
Глухо, как в лоне вдов.
Вслушиваюсь — как в урну,
Вглядываюсь — как в ров...

Громче смола из древа,
Громче роса на куст...
Вглядываюсь — как в зева
Львиного черный спуск.

Что там за поворотом?
Лучше не видь, не слышь!
Весь ли клубок размотан?
Глыб вероюмна тишь.

Бык ли в крови и в пене
Пал? Или рогом в лоб?
Глыб немоты — не мене
Чувств пенадежен вопль.

Хвала Афродите
В громах и в тиши!
Не выпусти нити!
Не выронь души!

Афродита!
Мирт и мед!
Вся защита,
Весь оплот

Ревностнейшей из притянок,
В сем чернейшем из капканов
Мужу, светлому лицом,
Афродита, будь лучем!

Афродита!
Путь и цель!

Льном сквозь плиты,
Светом в щель,

Львов связующая нитью
Льна — войти ему дав — выйти
Дай. Открытому душой,
Афродита, будь тропой!

Афродита!
Соль! волна!
Если выкуп
нужен — на!

Сохрани для дел великих
Жизнь, — мою возьми на выкуп!
Львом и солнцем да предстал!
Афродита! Дева!..

Пал! — С молотом схожий*)
Звук, молота зык!
Пал мощный! Но кто же
Бо — ец или бык?

Не — глыба осела!
Не — с кручи река!
Так падает тело
Бой — ца и быка.

Так — рухают царства!
В прах — брусом на брус!
Не — бесный потрясся
Свод, — реки из русл!

На — лбу крутобровом
Что: кровь или нимб?
Ве — кам свое слово
Ска — зал лабиринт!

*) Между первым и вторым слогом перерыв, т. е. равная ударяемость первого и второго слога. Тирэ мною проставлено не всюду. М. Ц.

Му — жайся же, сердце!
Му — жайся и чай!
Не — бесный разверся
Свод! В трепете стай

В ле — печущей свите
Крыл, — розы вослед...
Гря — дет Афродита
Не — бесная...

Тезей, на пороге лабиринта:

— Свет!

Ариадна

Жив?

Тезей

Так едем,

Дева!

Ариадна

Сон!

Жив?

Тезей

Победен!

Ариадна

Бык?

Тезей

Сражен!

Ариадна

Цел?

Тезей

Всем сердцем
Смерть приняв!

Ариадна

Цел?

Тезей

Бессмертен.

Ариадна

Меч?

Тезей

Кровав.

Дева, едем!

Ариадна

Гость, испей!

Цел, но бледен...

Тезей

Нет цепей!

Волен град мой!

Ветры, дуть

В путь обратный!

Ариадна

Гость, побудь!

Тезей

Меч окрашен!

Парус полн!

Ариадна

Гость, за чашу!

Тезей

Дева, в челн!

Ариадна

Гость, помедли!

Люют вдовы

Хлеб.

Тезей

Так едем,

Жизнь!

Ариадна

Увы!

(Напевом):

Гостю — далече плыть!

В баснях и в песнях — слыть.

Дева — забытой быть.

Гостю — забыть.

Тезей

Темной речи

Уясни

Смысл.

Ариадна

Далече

Плыть! Сквозь сны

Дней, вдоль пены кормовой

Проволакивая мой

Лик и след.

Белый беден

Свет!

Тезей

Так едем,

Дева!

Ариадна

Нет.

Тезей

В бурях и в бедах

Лепится дух.

В девах несведущ,

К лепетам глух.

Вправо или влево,

В гору или с кручи!

Ариадна

Тайнопись — дева:

Надобен ключ.

Тезей

Красным гранитом

Взрос и окреп.

В снах неиспытан,

К ответам слеп.

Угль затверделый

Муж, а не пух!

Ариадна

Умысел — дева:

Надобен слух.

Тезей

Внял, но не понял.

Брось — соловьем!

К басням не склонен,

В листьях не силен.

Любишь — так следуй

В свет и во мрак!

Ариадна

Занавес — дева:

Надобен знак.

Тезей

Робость девства?
Естества
Крик? Отвествуй,
Жизнь! Отца
Жаль? Печаль твою уважив, —
Жизни не теряют дважды!
С сыном — вся — из жил руда.
Мертв — раз и навсегда.

Всюду мниться
Будет брат?
Пусть убийца —
Кем зачат!
Тени помешаем красться
К ложу! Между тем и страстью
Нашей — меч. Из страстных уз
Вставши — с призраком сражусь!

Кроме добрых
В сердце — несть
Мыслей. — Робость?
Рода честь?
Но — клянусь тебе сугубо —
Не утехой — супругой,
Матерью грядущих чад
В дом войдешь, отныне свят.

Дева! Злится
Вал об снасть!
Дева! Львицей
Стонет страсть!
Накажи меня за дерзкий
Домысел: другому — персей
Дрожь? Иным дерзаньям — край
Пеплума?

Ариадна

О не терзай!
Гостю — далече плыть!
Горстью из Леты пить —

Гостю! в золе сокрыть
Деву, — забыть.

Гость, закончим
Скорбный спор.
Вал — твой кормчий!

Тезей

Хлябь — наш хор!

Ариадна

Уноси мое блаженство,
Юноша!

Не страсти женской
С разумом — постыдный торг.
Не отца седого скорбь
Черная, не крови братней
Ныне выпцветшие пятна,
— Пурпурные и поднесь! —
И не приторная смесь
Робости и скудосердья,
Именуемая твердью,
Честью девичьей.

Тезей

Пресечь
Спор — тогда!

Ариадна, подымая руку:

Возмездья меч!

Просьб — великая тщета!
Афродитою взята
Я в любимицы — владычиц
Сладостнейшею! В добычах —
Ревностнейшею! В любви —
Яростнейшею!

Плыви,
Гость! Покаместь только брат мне —

Прочь! Покаместь необъятный
Путь — зеркалом из зеркал —
Прочь! Покаместь не познал
Уст моих...

Зане: как глыба
Страсть моя! Зане: на гибель
Страсть моя тебе! Зане —
Вещь, обещанная мне,
Взыщется с тебя не дочерью
Смертною, а той, что зверю
Льном повелевает быть.

Гостю — далече плыть!
Новая сети вить —
Гостю! других любить,
Эту — забыть.

Мир неполностью узрев,
Брат, опомнись!
Столько дев
Сладостных! А розы вянут —
Все.

Тезей

Обманута!

Ариадна

Обманут —

Ты. Над клятвами же бдят
Боги. За единый взгляд
Косвенный — дитя из детиц
Афродитино! — ответишь —
Всем.

Тезей

Скорее — в море — мыс
Тронется!

Ариадна

О, не клянись,
Гости! Судьбы твоей возлюбна

Ведомы ль тебе? Не токмо
Девами — опасен брег.
Добри есть, пещеры нег,
Тех — полунощные гроты.
Ведомо ль на повороте
Ждущее? Богинь и нимф
Грудь — не тот же ль лабиринт?

В сокровеннейшем из капиц,
Гость, бессмертие охватишь —
Мышцами. Необорим
Небожителей к земным
Жар. С бессмертными не мерся,
Юноша! Бессмертья — к смерти
Страсть — страшнейшая из кар!
Небожителницы дар,
Уст ея — отвергнуть — прелесть —
Кто б осмелился?

Тезей

Осмелюсь —

Я! Скорее с места мыс
Сдвинется!

Ариадна

О не клянись,
Юноша!

Тезей

Пусть свет померкнет
Глаз моих!

Ариадна

О том что смертных
Дев — любими божества
Ведаешь?

(Касаясь лавра):

Сия листва
Все еще трепещет Дафны

Трепетом...

Супругом став мне,
Клятву дав мне — да же в снах
Чтить, осмелишься ли, прах,
С небожителем тягаться?
Пасынка и святотатца
Груз — отважишься ль подъять?
Правую на рукоять —
Встанешь ли с парнасским горцем?
Пасынком и богоборцем,
Муж, отважишься ль прослыть?

Гостю — далече плыть!
Нечеловечью чтить
Волю, — богам служить,
Деву — забыть.

Тартара ценой — не купишь
Нег. Отступишься! Уступишь
Высшему!

Тезей

Одна мне власть —
Страсть моя!

Ариадна

Преступишь страсть.
Горленкой твоей странуся
Быть. Змеиного укуса
Явственнее: мужем сим
Быть мис брошенной! Дим —
Страсть твоя! Костер из стружек —
Страсть твоя! Двоим не служат,
Муж! Ни доли ни родства
Мужу, кроме божества!

Прочь, не пастбище, а пустошь —
Страсть! — Отступишься! — Отпустишь!
Выпустишь! Цветком из рук
Выронишь!

Тезей

Какой недуг
Жжет тебя?

Ариадна

Но Пенноронной
Памятлива кость. Запродан
Ей, моих коснувшись уст.
Знаешь ли о том, что пуст —
Зрак ее! И без провеса —
Цепь!

Тезей

У самого Зевеса
Выхвачу! Из под сениц —
Выхвачу!

Ариадна

О, не клянись,
Гость! Колеблемая ветром
Трость. Лозы моей заветной
Гроздь. Всех жил моих живых —
Гвоздь. Души моей жепих...

— Брось! — Как Миносу нарушил
Верность, — ибо всех радуший
Миносовых все же знак
Ока их... о! — так и брак
С дочерью его расторгнешь
Сладостною. Стран просторных
Гость, со мной тебе не лечь
В зарослях...

Тезей:

Тогда — на меч!

(Жест, прерываемый появлением девушек и юношей)

Хор девушек и юношей

Брата узрею!
Матерь узрею!
Жатву узрею!
Слава Тезею!

Меч, что уперся!
Стоп, что исторгся!
Ветр семиморский,
Славь быкоборца!

Скорые весла, крутые снасти,
Освободителя родины славьте!
Славь, убегаящая норма,
Мужа, не вынесшего ярма!

Ставь ветрила,
Кормчий! К югу!
Грех искуплен!
Камень снят!
Буду милой
И супругой
И баюкать буду чад!

Правь прямее,
Кормчий! Плеском
Вест, с волны и до небес:
Честь Тезею
Нас — невестам,
Нам вернувшего — невест!

Славься, храбрый!
Гору вынес!
Славься, добрый!
Жив Олимп!
С Минотавром
Свержен Минос!
Расколдован лабиринт!

Правь смелее,
Кормчий! Сломан

Крит! Свободные заснем!
Честь Тезею,
Нас — закону,
Нам вернувшего — закон!

Славься!

Тезей

Правь!

Ариадна

Не — оставь!

Тезей

Ветры, дуть!

Ариадна

Верен — будь.

Тезей

В красоте твоей богоравной,
Дева, имя твое?

Ариадна:

Ариадна.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Н а к с о с

*Скала со спящей Ариадной.**Тезей, над спящей:*

Спит, скрытую истину*)
 По — знавшая дуп.
 Спит, негой насыщенная,
 Спи! — Бодрствует муж.

Ветвь, влагой несомая!
 / Страсть, чти ее — спит!
 Мишь тем и бессонен я,
 Что негой не сыт.

Не той же ли горечью
 Сжат, бдит соловей?
 Как будто бы море пью:
 Что час — соловей!.

Спит, розой осыналась
 В ласк бурный прибой,
 Сколь быстро насытилась
 Моею алчбой!

В пу — чину хоть жемчугом
 Гань, — горстью словлю!
 Спи, юная женщина!
 Кровь помнит.

Ариадна, во сне:

Люблю!

*) См. примечание на стр. 41.

Тезей

Сквозь цепкую жимолость
 Сна — слушай завет:
 Зем — ля утолима в нас,
 Без — смертное — нет.

Без дна наших чаяний
 Чан, мысль — выше лба!
 Те — ла насыщаемы,
 Без — смертна алчба!

Бой — дом обезжизненным,
 — Ни вдоха в груди —
 Спит. Знай же, что сызнова
 Бой вспыхнет....

Ариадна, во сне:

Люби!

Тезей

Сквозь затканый занавес
 Сна — сердцем пробьюсь.
 Ду — ша неустанна в нас,
 И мало ей уст,

И мало ей зеркала
 Тех игрищ и нег.
 Спи, юная смертная.
 Смерть минет.

Ариадна, во сне:

Навек.

Тезей

Цвет выпцветет, скрючится
 Стан, розы — в отлет!
 От смерти и участи
 И Зевс — не сплот.

И — ложка скалистого
Одр — тверже нам взбит.
Но — въявь и воистину —
Знай: страсть устоит.

(Подъезжая правую):

Дева низин и пиш,
В гроте и в чаще
Царствующа, — услышь
Клятву над спящей.

В святости брачных уз
С милою свитья
Жимолостью — клянусь
Водами Стикса.

Влажных чураться уст
Девы и нимфы —
Облачными клянусь
Лбами Олимпа.

Судьбы и рты сдвоив,
Вплоть до укуса
Смертного...

— Чресл твоих

Гневом клянуся:

Страсти моей — сама
Ты не вечнее!
Если же, в чувств, ума,
Недр помраченьи,

Чудный порву союз,
— Гнев твой порукой! —
Да позабуду ж вкус
Млека и тука

О да бежит от вежд
Сон вероломный!
Да вместо лавра — плешь
Метит чело мне.

Медный да в прах шелом,
Трусом да лягу!
Да не коснусь челом
Отчего прага!

Да не коснусь седин
Отческих! Грузной
Да не дождусь родин!
Чад да не узрю!

О да познаю клятв
Попранных цену!
Жен да познаю хлад,
Друга — измену.

Лен да понудят прясть
Женские козни.
Да посмеется страсть
Старости поздней!

Да посмеется тесть —
Бывшему зятю!
Слуг да познаю лесть,
Царства разъять!

Да не бежит вода
В чан водоносов!
Тучные нивы да
Не плодоносят!

(Склоняясь над спящей):

Будь то хоть сам Зевес
С Мойрами вкупе —
Сих не сниму желез!

(Свет, из света голос):

Вакху — уступишь.

Тезей

Зачаровывающий сердце
Звук — кифарой в ушах звенит!
Кто ты?

Голос

Девы и Миродержца
Сын — невесты твоей жених
Предначертанный. Слаще млека
Пить на сладостнейшем из лож —
Предназначена мне от века
Здесь покоящаяся.

Тезей

Лжешь!
Минотавровой кровью смочен
Меч. Изведаешь сколь вска
Длань Тезеева!

Голос

Тесс... Непрочен
Сон в присутствии божества.

Тезей

Коль не вымысел и не степок,
Видь, — спознаемся, суеслов!

Голос

Заключаю тебя — некрепок
Сна колеблющийся покров!
Пощади ни отца ни дома
Не имеющую.

Тезей

К борьбе,
Дерзкий!

Голос

Тише же! Чти же дрему
Девы, грезящей о тебе.

Любят — думаете? Нет, рубят
Так! нет — губят! нет — жилы рвут,
О как мало и плохо любят!
Любят, рубят — единый звук

Мертвенный! И сие любовью
Величаете? Мылиц игра —
И не боле! Бревна дубовой
И топорнее топора.

О как тупо и неуклюже:
Ложке — узы — подложный жар
Крови... Дева, познавши мужа
Спит, жаровни твоей угар

Просыпает. От сих позорищ
Доли дыбом и реки вспять!
Как плодом заедают горечь,
Никнет — ласки твои заспать

Дева. Замертво павшей клячи
Кротче! Судорогой вдоль рта —
Ваших браков и повобрачий
Отвращающая тшета.

О как мало и неумело
Нежите!

Тезей

Обличитель лбов —
Кто ты?

Голос

Огненный сын Ссмелы —
Вдохновения грозный бог.

Тезей

Вакх!

Голос

Двусердый и двоедонный.

Тезей

Вакх!

Голос

В утробе мужской догрет.

Тезей

Вакх!

Голос

Не женщиною рожденный.

Тезей

Вакх!

Голос

Но дважды узревший свет.

Тот, чьей двойственностью двоится.
Взгляд у всякого кто прозрел.

Тезей

Вакх!

Голос

Раздвинутая граница.

Тезей

Вакх!

Голос

Пределам твоим предел.

Тот, которого душу пьете
В хороводах и на холмах.
С злыми каторжниками плоти
Бог, братающийся в боях.

Верховод громового хора,
— Все возжаждавшие, сюда! —
Одаряющий без разбора
И стирающий без следа.

Лицемеров, стоящих одамь —
Бич! Т воркот ушам, то рык,
Низшим — оторопь я и одурь,
Высним — заповеди язык!

О, ни до у меня, ни дальше!
Ни сетей на меня, ни уз!
Непасытен — и глаза алчу:
Только жаждою утолюсь.

Двоедонный, рожденный дважды,
Двоеверный, — и вождь и страж...
И да будет кувшин — по жажде
Сей изжаждавшейся меж чаш

Девс...

Векд крылатым взмахом —
Эти розы станут прахом.
Выравненные резном,
Эти брови станут мхом.

Лба доверчивую кротость
Злыми бороздами опыт
Выбороздит. Гладь ланит
Жилами избороздит, —

Вилами! Улыбку рождши —
Плачь! Нет, для ее, — все тот же

Червь подтачивает шлод:
Горе супит, нега жжет,

Все — обмеривает! Дивом
Мнишь? Все/сущее червиво,
Муж!

Тезей

С наглядностями рву!

Вакх (до конца остающийся голосом):

Смерть — название червю.

Не цвести вторично древу!
Юность резвого котурна
Не задерживает. Деву,
Мнишь, отстаивашь? Урю

С пеплом! С богом в ратоборство
Вставши — призракном влечом!
Тенью! Крохотною горсткой
Праха, бывшего цветком.

Сладостней, скажи, на высах
Гор, в лазоревых приречьях
Цвел ли? От тебя зависит
Срезать — или увековечить

Цвет сей. Хватит Минотавра,
Злей Зевесовой грозы —
Огонь неистовости тварной
Страстью названный. — Срази!

Уступи, влюбивший много,
Деву — богу —

Хмеле — мудро — головному!

Тезей

Дева мной завоевана!
И мечом и отдачею...

Вакх

Дева — мне предназначена!

За века предугадана!
Без раздела моя!
Что лоза — виноградарю,
То мне — дева сия!

Божеству ли с убожеством
Спорить? Муж скудосерд,
Что венчальным предложил ей
Даром? Старость и смерть?

Красота и бессмертие, —
Вот в двудопном ковче
Жениха-виночерпни
Дар невесте: — душе.

Дар Тезей и Вакхову
Дать — кладу на весы.
Взвесь. Ужель одинаковый
Вес?

Тезей

У спящей спроси.

Вакх

То ж, что рану запрашивать,
То ж, что море в сетях
Несть — у женщины спрашивать
О правах и путях.

Тезей

Та, что пленника выведет...

В а к х

Чувств извела сеть.
Не смущай ее выбором,
Сам за деву ответь.

Т е з е й

Что Тезеем присвоено...

В а к х

Сгибнет, в прахе влачась.
Мск бессрочной красой ее
И цветеньем на час,

Между страстью, калечащей,
И бессмертной мечтой,
Между частью и вечностью
Выбирай, — выбор твой!

Уступи, объяввший много,
Деву — богу.

Т е з е й

От алчбы моей жадной
Ей во век не очнуться!

В а к х

У *моей* Ариадны
Будут новые чувства.

Т е з е й

Плеск весла безоглядна
Воском чаешь заткнуть?

В а к х

У *моей* Ариадны
Будет новая чуть.

Т е з е й

Мужа знавшая рядом,
Божества не восхождет!

В а к х

У *моей* Ариадны
Будет новая ошупь.

Т е з е й

Я — снговзь жертвенный ладап!
Я — в дурмане ночей!

В а к х

У *моей* Ариадны
Сих не будет очей.

Т е з е й

Иль не знаешь, что вдовы
В час касаний безкостных...

В а к х

Новый облик, и новый
Взгляд, и новая поступь...

Т е з е й

По тишайшему зову —
В ночь! К былому на грудь!

В а к х

Новый образ, и новый
Взгляд, и новая суть...

Т е з е й

Каждым ногтем начертан
В сердца девственной глине!

В а к х

Черт, лелеянных — смертной,
Не узнает — богиней.

Т е з е й

Но зачем же, двужалый,
Ночь была нам вдвоем?

В а к х

Дабы разницу знала
Между небом и дном.

Бога знавшая рядом,
Естества не восхощет.
Нет — твоей Ариадны!
На дворцовую площадь

Выйдя — Фив Семивратных,
Града новой зари,
Ариадне и Ванху
Фимиами воскури!

Уступи, познавший много,
Деву — богу.

Т е з е й

Но не Гесей, не Герой, —
Афродитой клялся!

В а к х

К Минотавр в пещеру
Шедший кротче тельца...

Все величия платны
— Дух! — пока во плоти.
Тяжесть поправной клятвы
Естеством оплати.

Муж, решайся: светает.
Спи и яви — двойной
Свет. В предутренних стаях
Свод.

— Прощайся с женой!

Т е з е й

Но хоть слово промолвить
Дай: не к трусу влеклась!

В а к х

Час любовных помолвок
Был. — Отплытия час.

Т е з е й

Но в глазах ее — чаны
Слез в двусветную рань! —
Я предателем встану!

В а к х

Да. Предателем — кань!

Т е з е й

Лишь в одном не солги ей:
Уступил, но любя!

В а к х

Чтобы даже богиней
Не забыла тебя?

Тссс ...на целую вечность.

Т е з е й

Не в пределе мужском!
Выше сил человеческих —
Подвиг!

В а к х

Стань божеством.

Т е з е й

И мизинцем не двину,
Распростертый на плитах!

В а к х

Есть от памяти дивный
У Фиваца напиток:
Здесь меняющий в где то,
Быть меняющий в плыть...

Т е з е й

Ни Аида, ни Леты —
Не хотим забыть!

(К Ариадне):

Спит, — хоть жанок, хоть жесток
Одр, — не хочешь подняться?
Наксос — крыл моих остов!

В а к х

Остров жертвенный: Наксос.
Уходи безоглядно:
Чтоб ни шаг и ни вдох...

Т е з е й

Нет иной Ариадны,
Кроме Вакховой.

В а к х, *вслед:*

Бог!

КАРТИНА ПЯТАЯ

П а р у с

Дворцовая площадь в Афинах. Утро. Эгей, жрец, провидец.

Э г е й

Ночь не добрее дня,
День не добрее ночи.
Пытке моей три дня
Нынче, в огне три ночи

Вьюсь, из последних сил
Взор изощряю слабый.
Сын мой, который *был*, —
Прах твой узреть хотя бы!

Клад мой неотторжим!
Лучше бы вовсе не дан!
Уж не молю — живым,
Уж не молю — победным:

Так же как раб к ковшу
Льнет, просмолен до паха —
Урны его прошу,
— Боги! — цепотки праха,

Пепла... О тучи крыл,
Стрел над афинским берегом!
Сын мой, который *был*!

Ж р е ц

Сын твой, который *пребыл*,

Царь! В седине морей,
В россыпях водокрутных,

Жив громовой Нерей,
Кости твоей заступник, —

Жив еще Посейдон!
С рушащейся громады
Вала, со дна из дои
Он — охраняет чадо

Старости твоя!
Недр не страшись гневливых!
Жертвенная ладья
С парусом белым впишет

В гавань. Крыла светлей!
В град, не бывавший пленным!

Э г е й

Будь на семьсот локтей
Тот лабиринт под пенным
Уровнем — о, смеясь
Ждал бы. Воды ль странюся?
Но Оксана князь
Не господин над сушей.

«Целым твой сын плывет —
Белый, как вал об скалы —
Парус». (О первый взлет
Весл его в час отчала!).

Тело мое везут —
Черный, чернее горна
В полночь — в ветрах — лоскут.
Парус провижу — черный.

Черный! Чернее крыл
Вороновых в проливе.
Сын мой, который *был!*
Въявь, в сестестве и вживе,

Внове! Дурная весть:
Небо тельца кровавей!

Прорицатель

Сын твой, который *есть*,
Царь! В красоте и в славе!

Жив! Не сожжен, а жгуц,
Бьюц — тако огонь пурпурный
Лемноса! Старец, суц —
Сын твой! Не горстку в урне...

— Розами оплети
Люб свой! — Не урну с телом!
В духе и во плоти
Жив и плывет под белым

Парусом.

Э г е й

Если лжешь,
Лучше бы не родиться
В мир тебе! Псом согласишь!

Ж р е ц

Царь, не гневи провидца.

Легче в своем дому
Скважин не знать и трещин —
Зодчему — чем сему
Старцу солгать по венцам

Внутренностям. Оставь
Гнев и хвали Зевеса.

Прорицатель

Мысленное — вот явь,
Плотское — вот завеса.

Хочешь чтобы рекле
Вещь — истопчись до пепла...

Э ге й

Жив — и рука тепла?

Пр о р и ц а т е л ь

Хлеб из золы — не тепле.

Э ге й

Но невредим ли? Но
Здрав ли? Все так же ль рдеи...

Пр о р и ц а т е л ь

В раковине зерно
Жемчуга не целее
Бездны на нижнем дне.
Цел, аки дух бесплотный.

Э ге й

Не изувечен, не...
Так не иссякнет род мой?

С песней — кого отпел?
В гавань — взамен пещеры!
Но не бесчестьем цел?

Пр о р и ц а т е л ь

Чарою цел — и верой.

Э ге й

Чарою?

Пр о р и ц а т е л ь

Знать не нам:
Знай, что любимым шел он.
Верою — в стан, что прям,
И в небосвод, что полон.

Чарой и верой лр,
Ими же заповедан...
Но, изощрив удар,
Старец — еще победа!

Пурпуром омрача
Меч — улыбался, аще
Бог. Не подъяв меча,
Старец, победа тяжче.
Изнеможден, но светл
Вышел.

Э ге й

Хвала! Но что за
Чудище? Змей или вебрь?

Пр о р и ц а т е л ь

Плотскою страстью прозван
Вебрь тот. Его сразил,
Вышею страстью движим.

Э ге й

Ветр, не щади ветрил!
Сын вожделенный, мчи же!

(Жрецу и провидцу):

Други, навстрѣчу мчим!
Не выдавай, о старость!

(Явление вестника):

В е с т н и к

Царь, в седине пучин
Черный отмечен парус.

Э г е й

Смерть!

(Прорицателю):

Не земным воздам
— Лжец! — а иным чеканом!
Жрец, доложи богам:
Сыну навстречу канул

Царь.

(Исчезает. Вестник вслед. С другой стороны площади, не встретившись, рядами, граждане)

Х о р г р а ж д а н

Горе! Горе!
Вострый нож!
Море, море,
Что несешь?
Полным коробом роскошным —
Море, море, что несешь нам?
Розы, розы ли вискам?
Слезы, слезы ли очам?

Горе! Горе!
Лютый змей!
Из лазоревых горстей
Бедственных твоих — что примем,
Море, море? Было синим,
Вал, как старец, поседел —
Лишь бы парус вышел бел!

Горе! Горе!
Гнутый серп!
Море, море,
Двоесерд
Нрав твой: кабаном трупобным
Выбесившись, белым овном
Ляжешь, кудри раздвоя.
Море: ярая бадья.

Доля, доля,
Крытый чан!
Море, море,
Что — очам
Выявишь? За белым тыном
Пены — что? Каков Афинам
Дар? Растерзанная ткань?
Доля: крытая лохань.

Доля, доля,
Тихий ткач!
Море, море,
Выше мачт —
Вал твой! Кулаком сведенным
То по всем своим поддонным
Бьет владыка Посейдон.
Доля: сжатая ладонь.

Доля, доля,
Длитель — доколь?
Море, море,
Всю то соль
Донную и всю то кипень
Пенную твою мы выпьем,
Выхлебам: кипень-смоль,
Доля: лютая юдожь.

Доля, доля...
Воля — где?
Море, море,
Что в ладье?
Крит ли первенцев вернул нам,
Или братственная урна:
Семи весен пеня — и дым
Семи юношей с восьмым.

Доля, доля,
Скрытый сплав.
Море, море,
Ниже трав —
Вал твой! На ручьи распалось.

Море! Море! Что за парус
Там, что ворон меж ветрил?
Горе! Горе! Черен!

В е с т н и к

Был —

Царь. Переполнен*)
Чаш скорби и мзги.
В ки — пящие волны
Пал царь со скалы.

Бе — ду издалече
Уз — ревши с высот,
Пал — сыну навстречу
С от — весных трехсот.

В ны — лу чадолюбья
И в пепле тщеты,
В че — тыреста глуби —
С трех — сот высоты.

Не орл быстролетен,
Царь крыл и ногтей —
То старец с трех сотен
Гра — нитных локтей.

Что яростный кричит —
В волн пенную шерсть —
Взмыл — первым да встретит
Сы — новнюю персть.

Не в яростном хоре
Су — деб и ветрил —
Не в море, а в горе
Се — бя утопил!

*) См. примечание на стр. 41.

В уст — собственной пене,
Кро — вавой кайме,
В век — собственной тени,
В недр — собственной тьме,

В убийственном слове
Ко — ротком: к чему?
В от — цовской любви
Без — дошном чапу.

Где пронасти клином,
Где пена ревет —
Ле — тящего принял
В грудь водоворот.

Х о р г р а ж д а н

Горе! Горе! С красных скал —
Горе! Горе! камнем пал

Царь наш. Наводный же площадь
Бессмыслих и безотчих
Стадо — без поводья!
Горе! Горе! Без царя!

Горе! Горе! Дважды нам!
Старого гремучий вал
Выхватил зеленокудрий.
Юного — слепая удаля
Чудищу швырнула в пасть.
Горе! Горе! С черным — спасти!

Коршунам — кровавый пир!
Горе! Горе! Дважды сир
Край наш, на куски искрошен.
Вместо пажитей роскошных —
Коршунов кровавый слет...
Горе! Горе! Море слез!

Горе! Горе! Кровавых кровь!
Мать бездетная, готова

Скорби черное убранство!
 Явственен — через пространства —
 Скорби веющий рукав.
 Ах, не черен он — кровав!

Прав — взмывающий с крутизн!
 Лучше б вовсе в эту жизнь
 — В кося правды не дондаться —
 Не рождать и не рождаться,
 И не знать, как востер свеж...
 Горе! Горе! Горе!

(Явление Тезей, в сопровождении девушек и юношей)

Тезей

Где ж

Лавры — победоносцу?
 Жив и несокрушим!
 Как по коврам пронесся
 По валунам морским —

Вождь ваш, с благою вестью:
 Вот она! Счетом семь
 Дев, с семерыми вместе
 Сими — в родную сень.

Целы и без изъяну —
 Что дерева весной!
 Чайных семь и жданных
 Семеро, я — восьмой.

Пал Минотавр, и вынес
 Взя! Кровяным бугром
 Пал! С Минотавром — Минос.
 Но — что за прием?

Что — овцы под крышу!*)
 Что — жены под щит!

При — ветствий не слышу!
 Иль море глушит?

Что — рыбины в пену!
 Что — ящеры в мох!
 От радости немые?
 Иль сам я оглох?

От радости слепы?
 Ведь вот она, стать
 Кра — са и укрепа
 А — фин. Или вспячь

Мне? Сызнова море
 Тре — возить кормой?
 Лишь сам себе вторю
 В сей предгромовой

Ти — ши. Непривечен
 Ни взглядом очес!
 Так вот она, встреча,
 Так вот она, честь,

Так вот оне, горсти
 Роз, лавры вершин
 Бой — цу-быкоборцу
 От вольных Афин!

В час скорби и вздохов
 Был скор мой булат.
 На дел моих грохот
 Не — мотствуешь, град?

На рук моих дело
 — Уж весть о быке
 Весь мир огрелся —
 Ни ветви в руке?!

Серд — ца без отъыва!
 Те — ла без сердец!
 Но — злейшее диво:
 Что — даже отец

*) См примечание на стр. 41.

На — встречу не вышел,
 На мышиц моих мошь
 Скло — пить свою ношу...
 Иль впрямь я безотч?

Афиняне, рдею!
 Лоб — обручем сперт!
 Скажите — Эгею,
 Что сын его...

Прорицатель

Мертв
 Царь. Не родиться —
 Вот, в царстве тщеты —
 О — слова.

Тезей

Убийца
 Дер — жавнаго?

Прорицатель

— Ты.

«Бык поражен из двух —
 Белый, белее пара —
 Парус». Так в отчий слух
 Слово твое унало.

«В пепле себя сокрыл —
 Черных, чернее вара
 Смольного, жди ветрил». —
 Ум твой какою чарой

Заворожен? Каков
 Змей у тебя под корнем?

Тезей

Дивною девой вдов,
 Изнеможа от скорби

Плыл. Когда свет не мил,
 Черное — оку мило.
 Вот почему забыл
 Переменить ветрило.

Хор юношей

В час осыпавшихся весен,
 Ран, неведомых врачам,
 Черный, черный лишь преносен
 Цвет — горюющим очам.

В час раздавшихся расселин
 — Ах! — и сдавшихся надежд —
 Черный, черный оку — зелен,
 Черный, черный оку — свеж.

Резвым агнцем белоруны
 Кто корабль пустить дерзнет,
 Коль в груди своей, как в урне,
 Вождь покойницу везет?

В час, как все уже утратил,
 В час, как все похоронил,
 Черный, черный оку — красен,
 Черный, черный оку — мил.

Мрак — дыхание без вздрога!
 Мрак — касание фаты!
 Как боец усталый — лога,
 Оку жаждет черноты.

В час распахившихся объятий,
 — Ах, с другим, невеста, ляг! —
 Черный, черный оку — виатен,
 Черный, черный оку — благ.

В час оставленных прибрежий,
 — Ран, не знающих врачей —
 Черный, черный лишь не режет
 Цвет — заплаканных очей.

В час как розы не приметил,
В час как сердцем поседел —
Черный, черный оку — светел,
Черный, черный оку — бел.

Посему под сим злорадным
Знаком — прибыли пловцы.
Пребеднейшей Ариадны
Все мы — черные вдовцы.

Все мы — черные нубийцы
Скорби, — стубленный дубняк!
Все — Эгея соубийцы,
И на всех проклятья знак
Черный...

Пророчатель

Чарой клянусь полдневной,
Небожителя — се — ревец!
Сын мой, кого прогневал
Из роковых божеств?

Муж, и разя, радушен,
Бог ударяет в тыл.
Верность — кому нарушил,
Сын, из бессмертных сил?

Перед какой незримой
Явственностью неправ?
Громы — с какой низринул
Из олимпийских глав?

Сын, неземным законом
Взыскан, — перстом сражен!
Ревность — какой затронул
Из олимпийских жен?

Высушенный опилон —
Муж, за кого взялись!
Мстительней олимпиек
Несть, и не мыслит мысль.

Взыщут, — осколок глинян,
Выклевнутый сосуд!
Сын мой, кому повинен
Из роковых?

Жрец

Несут
Тело. Водорослью овито.

Тезей

Узнаю тебя, Афродита!

Марина Цветаева.

Прага, октябрь 1924 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Стр. 8, строка 6 — слово *рев* прошу читать через простое е.

Стр. 10, последнее четверостишие — слово *версты* прошу читать через е две точки, слово *не* с ударением на е.

Стр. 14, строка 4 — ударение на *что*.

Стр. 56, строка 2 — слово *тверже* прошу читать через простое е.

М. Ц.

ВОССТАНИЕ *)

Лунная ночь застонала набатом, и волость понесла, как развожанная лошадь.

К церкви набегал хмельной народ. На паперти Борис Иванович махал руками и петушиным голосом кричал:

— Граждане и братья, наша партия, партия социалистов-революционеров, призывает....

— Долой!

— Не надо никаких ваших партий, хлеба не трогайте.

— Тише.

— Просим... Борис Иванович, валай.

— Будя, заслушались...

— Айда громить совет, — крикнул кто-то.

— Громить...

— Пошли-и-ии...

Митинг был сорван, и толпа, топоча и ревя, хлынула по ночи.

Гудел набат.

Совет разорвали на локутки. Злоба еще только в силу входила, каждому хотелось рвать-метать, и тогда вспомнили, что в Киватском конце стоит заготовительный отряд Прохоровской мануфактуры, бросились туда с топорами и кольями.

— Сдавайся, кармагалы.

— Выходи.

— Бросай оружие.

— Будя, попили-посели, и вам пришлось узлом к гузну.

Захваченный врасплох и перепуганный решительностью натиска, рабочий отряд сдался и перед правлением кооператива, где ночевал, выложил пулемет, винтовки и походную амуницию. За время

недельной стоянки отряд держал себя мирно, изголодавшаяся мастеровщина с охотой бралась за слесарную, жестяную, лудильную и всякую другую работу, а потому убивать их не стали, а легопько, для порядка, поколотив, заперли в холодный амбар.

Размахивая винтовками и воодушевляя себя стрельбой, мужики ходили селом, громко разговаривая и ругаясь. Всю ночь над площадью качались саженные костры: жгли волостную библиотеку и дела совета.

В Чистый Понедельник Хомутово прикрыла шайка дезертиров, за матку у них ходил Митька Кольцов. Рваные, одичавшие от постоянной тревоги, — всегда их кто-нибудь ловил, или они кого-нибудь ловили, чтобы убить, — с ободранными винтовками за плечами, они цепко, как репы, сидели на пугливых калмыцких лошадейках и горланили Яблочко. Все завидовали их лошадам.

Митька собрал тысячную сходку и долго возмущал народ.

На загоревшейся лошади, верхом и без шапки прискакал белоозерский прасол Фома Двурусный и стал просить у схода помощи: под Белоозеркой восстанцы больше суток дрались с карательным отрядом. Фома, страшно выкатывая глаза, рвал волосатую грудь, крестился на церковь, плакал и ругался отборной, сверкающей руганью.

— Бьют... Жгут... Не поможете — и вам завтра то же будет... Святая икона... Наряжай людей... Дай помочи, православные.

Хомутовская и Белоозерская волости рядом: переженились, перероднились, завязали кровь узлом. Помощь дать страшно и отказать в помощи нельзя.

Толпа галдела:

— Поможем, чем можем.

— Помочи, как не помочь, да ведь голыми руками не сунешься.

— Черти, дуrolомы!

— Старики, надо по-божески.

— Плетью обуха не перешибешь.

— Пускай молодые идут.

— Молодые...

— Беги, Липат, запрягай.

В помощь белоозерцам поскакал Митька со своими галманами, и еще набралось желающих подвод с полсотни. Васька Бухаров, парень ура да брось, есаул Митькин, был оставлен в Хомутово, получив от своего удалого начальника словесный приказ: «По-

*) Глава из повести «Страна Родная».

страдай-ка ты, Васька, наших коммунистов, пощекочи им пятки маленько, а за неисполнение настоящего в боевой обстановке, будь покоем, удавлю».

Набрал Васька людей подходящих, повел их по селу.

— Где, которые тут коммунисты?

— Вон крайняя изба Степки Ежика.

— Забегай с огорода, гляди, чтоб не утек, стерва.

— Врет, от своих пяток никуда не убежит.

Налетели, кувыркнули избу, ломали, колодили, рвали, самого Ежика вывели на улицу и убили тяжелым боем. Ликстану Дударю в распоротое брюхо набили ячменю; Поливана, захлестнув за шею вожжами макали в прорубь, макали пока он не испустил дух; Григорью Бондарю наколотили на голову железный обруч, у него вывалились глаза. Всех их выбросили на навозные кучи. Акимку Собакина нашли в погребе, в капустной кадлушке; рубил его артиллерийским тесаком сам Васька Бухаров, ровно по грязи прутом плепал, рубил, приговаривал: «Вот вам каклеты, а вот антрекот». Зарыли Акимку в неглубокую яму, он ночью отдышался и уполз домой. Прослыша про такую чепуху, прибежал к нему Васька и, сказав: «Ах ты, вонючка», — тем же тесаком отпилил Акимке голову напроць и зарыл его в глубокую яму.

Танек-Промез засел в бане с карабином и отстреливался целый день; вечером баню подожгли, но молодого кузнеца там уже не было, спустя неделю он объявился в дремучих Урайкинских лесах с партизанским отрядом. Все ругали его и восхищались им:

— Ну и лес, ну и собака...

Под Белоозерской советский отряд был перебит, хомутовцы вернулись с победой, таща за собой захваченных лошадей, пленных, пулеметы и своих раненых. Село встречало их с иконами, слезами и криками радости.

— Высыпал?

— Высыпали, сват, за милу душу.

— Попала собаке блоха на зуб.

— Почихают...

— Сила наша, мужик, он... его только растрави, мы тоже в зубы заглядывать не будем.

Пленных били всю дорогу, а в селе, окруженные воющей толпой, они ползали по кочкам, всем целовали ноги, клялись-божались, что их мобилизовали насильно, против крестьянского мира ни-

когда не пойдут, и выражали готовность бить комиссаров. Толпа билла их долго и жестоко, четверо кончились, остальных заперли в холодный амбар, и жалостливые бабы притащили им яиц и хлеба.

На селе много говорили о геройстве и удаестве Митьки, который первым бросился в атаку и зарубил двух пулеметчиков.

Кругом, через леса и степи, по всей крестьянской земле, деревня взвивалась на дыбы.

...Хле-е-е-аб,

разверстка-а-аа,

терпежу нашего нет.

Кругом, через леса и степи, бурно митинговали избы и выносили приговоры:

...Хлеб придержи-а-а-ать,

разверстка неправильна-а-аа

придержи-а-аать...

Хороводом кружил кровавый набат.

Из села в село, от дыма к дыму скакали ходоки. Церковные площади ломились от народа. Бородатые ходоки стаскивали шапки, кланялись миру на все четыре стороны.

На корию качались и трещали голоса.

В татарах появился седобородый праведник Ага Камиль Кафизов: неустанно разезжая по деревням и улусам, он славил Аллаха и его единственного пророка Магомета и призывал мусульман на борьбу с урусами. Праведника сопровождали правоверные всадники, коренные жители и кочевники, жаждавшие послужить Богу и пограбить. В дороге к ним приставали все новые и новые; раскачиваясь в самодельных седлах, они в яростном восторге распевали священные песни.

Дорога правоверных была пряма, как истины корана:

«Русский церыква — канчам».

«Шапка со звездам носишь — канчам».

«Кожаным шопам ходишь — канчам».

«В мучейкам *) служишь — канчам».

В деревне Зябборовке русскую учительницу разорвали лошадьми. В Кобельмах поймали двух красноармейцев, русского спекулянта и инструктора лесных заготовок, перевязали веревками, витыми из верблюжьей шерсти, разложили на улице, скакали по ним

*) В ячейке.

на тройках и, изрубив, бросили своим, вечно голодным собакам. В Джафаровской волости сожгли Сорокинские хутора, перебили старых и малых и угнали скот. От их басурманской лютости не было проходу ни пешему, ни конному.

Митька, к тому времени на с'езде пятнадцати мятежных волостей, выбранный главнокомандующим, вызвал есаула Ваську Бухарова и приказал ему:

— Даю тебе, Васька, Ново-Кандалинский крестьянский полк... Поезжай, пугни татарву, спокою от них, от чертей гололобых, не ту... Вон опять привезли Тамашевского мужика с перерезанным от уха до уха горлом.. Прижми ты им хвост, а за неисполнение настоящего в боевой обстановке, будь покоен, хлопну.

— Я их, тарарам иху мать, достигну, — сказал молодой есаул, играя желваками, — я им докажу, до второго пришествия помнить будут.

— Иди, скорей ворочайся.

— Иду.

Ушел, уехал, усакал Васька.

Митька сидел в штабе, за столом, застеленным картами, и торопливо, обливаясь, хлебал мясные щи: солил круто. Начальник штаба, Борис Иванович, оказавшийся кадровым офицером, вычерчивал на трехверстке флажки, кружки, крестики и докладывал своему главному о новостях.

—...сожжен Чагринский райпродком, под Марьевкой отбит гурт скота в шестьсот голов, восстали и прислали ходоков волости Фундуклеевская, Дурасовская, Старо-Фоминская, Преображенская и Мышастовская; вчера на рассвете в районе Кулявино-Васильевка уничтожен продотряд Сафронова; разослан срочный приказ, чтобы каждая волость выслала по два ходока на колчаковский фронт...

— Стой, — закричал Митька, вытирая рот и откладывая ложку, — какой приказ?

— Вы, Дмитрий Демьянович, сами вчера подписать изволили... Приказ номер пятый.

— Верно, — подтвердил сидевший на пороге с охотничьим ружьем караульный Гаврила Дюков, — был такой разговор в народе: послать делегатов на фронт.

— Ничего не помню, был я вчера сильно клюкпущи, — качнул Митька нечесанной башкой, — нам Колчак тоже не отец родной.

— Вы, видимо, не понимаете, Дмитрий Демьянович...

— Я все понимаю.

— Ну, вот, ходоков мы посылаем не к Колчаку, а на колчаковский фронт, дабы красные полки, как истинные сыны своего народа, помогли нам сейчас, а потом... потом мы и с Колчаком воевать будем, чего на него, на шкуру, глядеть.

— Ну, ладно, чорт с ними. Давай, разворачивай планы военных действий... Будем мы на город наступать, аль нет? Собрал ты мне, начальник штаба, людей, аль нет?

— Вот планы, — пачнулся Борис Иванович над картой, — планы нехитрые, осмелюсь вам доложить...

По волостям была объявлена мобилизация от восемнадцати до пятидесяти годов. Приказ вычитывался в церквях, на площадях и базарах. Был пущен слух, что ни клочка земли не будет вырезано тем, кто не пойдет воевать. Мобилизация за одну неделю дала свыше пятидесяти тысяч.

Кузницы работали без остановки, мобилизованные кузнецы ковали копья, дротики, крючья и багры, которыми и вооружалось чашанное воинство. Крючья и багры предназначались специально для стаскивания комиссаров с автомобилей. Из кладовок были извлечены дробовики и ружья, непригодность которых была очевидна. Кулугур Степан Гурьянов подарил еще его дедом выкопанную из земли пушку, на которой был выбит «1742 годъ».

Над уездом, из края в край, волной ходил народ, по дорогам металась раз'езды, скрипели обозы с фуражем, над деревнями стоял вой и плач, и от деревни к деревне скакали сотни подвод.

— Геей, чьи будете?

— Дальни.

— А все-таки?

— Глебовски.

— Ну как у вас?

— Да ничего.

— Крушите коммуны?

— Крушим.

— Далеко путь держите?

— В Хомутово.

— И мы в Хомутово.

— Та-ак.

В Хомутове гуляли дезертиры. Все село ходуном ходило от плюсу, реву и свиреного свисту:

На заре каркнет ворона,
Коммунист, ваводи курок.
В час последний похорона
Расстреляют под шумок.

Ой, доля
Неволя,
Глухая тюрьма...
Долина,
Осина,
Могила темна...

Митька, дурной и бледный от множества бессонных ночей, подогревал сердце пьянкой, плясал вместе со всеми и отчаянно орал, размахивая тяжелой гусарской шапкой:

— Все пожтем, покрошем... С нами Бог... Братва, Васька, я — командир крестьянского народа...

— Пей, гуляй, чтобы люди завидовали...

— Эх, городок, посчитаем мы тебе ребра, дай срок...

— Где мой оркестр, давай оркестр...

— Ээаа...

— Крой!

Грянул оркестр, пьяненькую избенку распирало от смеху.

Пришли старики, хмурые и сердитые, вызвали Митьку в сени, начали его урезонивать:

— Страм... Эдак народ мучится, эдака кругом страсть, а вы гуляете... Не дело, паренск, затеял, выбрали тебя не за тем... Поддержись, Митька, время сурьезно... Восстанцев наехало тыщ двадцать, ноге ступить негде от народу, все ждут твоего слова, а ты, сукин сын, в пьянство ударился...

— Простите, старики, Христа ради... Счас все сделаю... Я — командир крестьянского народа...

Забегал Митька в избу:

— Где начальник штаба? Где адъютант?.. Эй, брашкя, выходи, седлай коней... Слушай мой секретный приказ — идем в наступление на город... Где моя шапка?

— Ура-а-а...

— Даешь Клюквин!

— Крой, ребята!

Шумно задвигали столами, скамейками, разыскивая шапки, пояса, подсумки.

Чтой-то солнышко не светит,
Над головушкой туман,
Злая пуля в сердце метит,
Близок, близок трибунал...
Ой, доля
Неволя,
Глухая тюрьма...
Долина,
Осина,
Могила темна...

Улица была набита подводами, ломились саженные костры, ржали лошади. Мужичьи командиры, громко командуя, разбирали своих людей.

Артем Веселый.

К О Н Е Ц *)

Из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, из Шлиссельбурга в Динабург, из Динабурга в Ревельскую цитадель, из Ревельской в Свеаборгскую.

Узник седеет, горбится, зрение его слабеет, здоровье начинает изменять.

И все-таки он молод; время для него остановилось. Он читает старые журналы, он пишет статьи, в которых сражается с литераторами, давно позабытыми, и хвалит начинающего поэта, который уже кончил. Время для него остановилось. Он может умереть от болезни, может ослепнуть, но умрет молодым. Все те же друзья перед ним, молодые, сильные. Все тот же Дельвиг в его глазах, ленивый и лукавый, все тот же быстро смеющийся Пушкин и та же веселая, легкая и чистая, как морской воздух, Дуня.

Он не знает, что Дельвиг постарел и обрюзг, запирается по целым дням в своем кабинете, сидит там нечесаный и небритый и улыбается бессмысленно; что в тот миг, когда узник вспоминает беспечного поэта, — поэт этот встает, крихтя, с кресел, идет к шкапчику, достает оттуда вино и трясущимися руками наливает стакашки, говоря при этом старое словцо:

«Забавно».

И только когда приходит краткая весть, что умер Дельвиг, узник плачет и начинает понимать, что время за стенами крепости бежит и что молодости больше нет. Но в мыслях своих он хоронит молодого Дельвига, а не того обрюзгшего и бледного поэта, который на самом деле умер.

И узник попрежнему хочет свободы, он вовсе не боится того,

что за стенами крепости время бежит безостановочно и что, как только он переступит крепостной порог, все изменится.

Пастушает, наконец, этот день, и узник получает свободу — свободу жить в Сибири.

Начинаются последние странствования Кюхли: Баргузин, Акша, Курган, Тобольск.

2.

Он приезжает в Баргузин. В глазах у него еще стены, глазок, платформа, по которой он гулял, какие-то обрывки человеческих лиц и голосов. Он с усилием всматривается в бревенчатые домишки баргузинские. Идет, посерпывая по снегу и качаясь под тяжестью коромысла, румяная баба — к речке, колотить белье. Стоит лавочник пузатый на крыльце, смотрит вслед Вильгельму, заслонясь от солнца рукой. Какой-то чиновник, по форме почтмейстер, кажется, едет в розвальнях, а встречный мужик низко ему кланяется. Удивительный город, маленький, расбросанный, приземистый, как будто не дома, а серые игрушки.

Вильгельм рад. Нет стен, это самое главное. Поги слабы от тюрьмы и от дороги. Это пройдет. Запахнувшись в шубу, он ждет с нетерпением, когда же ямщик с зандевелой бородой подвезет его к избе брата. Миша живет в Баргузине, на поселении. Ссылным селиться в городе не позволяется, они живут за городом. Ямщик остановился у небольшой избы. Из трубы идет вверх столбом дым — к морозу.

У избы стоит черный человек в нагольном тулупе и сгребает снег. Лицо у него изможденное и суровое. Черная борода с проседью. Он смотрит недоброежелательно на Вильгельма из-за металлических очков, потом вдруг роняет лопату и говорит растерянно:

— Вильгельм?

Черный человек — Миша.

— Эх, борода у тебя седая, — говорит Миша, и в злых глазах стоят слезы. Миша ведет брата в избу.

— Садись, чай пить будем. Слава Богу, что приехал, сейчас жена придет.

Миша ни о чем брата не расспрашивает и только смотрит долго. Входит в избу женщина в темном платье, повязанная платком. Лицо у нее простое, русское, некрасивое, глаза добрые.

*) Из романа Тынянова «Кюхли».

— Жена, — говорит Миша, — брат приехал.

Мишина жена неловко кланяется Вильгельму, Вильгельм обнимает ее, тоже неловко.

— А дочки где? — спрашивает Миша.

— У соседей, Михаил Карлович, — говорит жена певучим голосом, хватает с полки самовар и уносит в сени.

— Добрая баба, — говорит Миша просто и прибавляет: — в нашем положении жениться глупо. Дочки у меня хорошие.

У Вильгельма странное чувство. Брат чужой. Строгий, деловитый, неразговорчивый. Встреча выходит не такой, о которой мечтал Вильгельм.

— Ты у меня отдохнешь, — говорит Миша, нежно глядя на брата. — Поживем вместе. После осмотришься, избенку тебе сложим, я уже и место присмотрел.

Входит в дверь какой-то поселенец.

— Ваше благородие, Михаил Карлыч, — говорит он и мнет в руках картуз, — уважаю вас очень, зашел к вам постырить.

— Какое дело? — спрашивает Миша, не приглашая поселенца садиться.

— Недужаю очень.

— Так ты в больницу иди, — говорит Миша сухо, — приду, тогда потолкуем.

Поселенец мнется.

— Да и финаг, ваша милость, хотел у вас занять.

— Нету, — говорит Миша спокойно. — Ни копейки нету.

Вильгельм достает кошелек и подает поселенцу ассигнацию. Тот удивленно хватает ее, благодарит, бормочет что-то и убегает.

Миша укоряет брата:

— Что-ж ты приучаешь их, начнут к тебе каждый день бегать.

3.

Весной Вильгельм начинает складывать из бревен избу. И что-то странное начинает твориться с ним. Он думал, что увидит брата и Пущина и к нему придет Дуня. Это представлялось самым главным в будущей жизни. А в этой жизни оказывается самым главным другое: мелочная лавка, которая перестает отпускать в долг, танцевальные вечера у почтмейстера, картеж по небольшой и

вошьские омули. Он больше не думает о Дуне. С ужасом он убеждается, что здесь какой-то провал, и не может объяснить в чем дело. В крепости образ Дуни был отчетлив и ясен, в Сибири он тает. Поэтому это? Вильгельм не понимает в чем дело, и теряется.

Жизнь идет, — баргузинская, дешевая. На вечерах у почтмейстера Артенова бывают важные люди: лавочник Малых, купец Дишкин, Лекарь Гольц. С женами. Весело с седыми волосами прыгать полку под разбитый звук клавиш прошлого столетия, неизвестно как попавшего в Баргузин. Весело вертеться с дочкой почтмейстера, толстенкой Дропюшкой. У нее калмыцкий профиль, она пищит, веселая, румяная. Вильгельму с ней смешно..

ПИСЬМО ДУНИ.

Дорогой мой друг.

Поговорим спокойно и, простите меня, немного грустно обо всем, что нам с вами сейчас важно. Ваши последние письма меня чем-то поразили, милый, бедный Вилли. Вы меня просите от души, — я в них не вижу вас. Ваши крепостные письма были совсем другие. Я догадываюсь: не нужно скрывать от себя, вы отвыкли от меня, от мысли обо мне. Что делать, молодость прошла, ваша теперешняя жизнь и мелочные заботы, верно, не легче для вас, дорогой друг, чем жизнь в крепости. Я не сетую на вас. Решаюсь сказать вам откровенно, мой милый и бедный, — я решила не ехать к вам. Сердце стареет. Целую ваши старые письма, люблю память о вас и ваш портрет, где вы молоды и улыбаетесь. Нам, ведь, уже сорок стукнуло. Я целую вас последний раз, дорогой друг, долго, долго. И больше не буду писать к вам — к чему? Е.

Вильгельм становится странно рассеян, забывчив, легко увлекается.

И в январе 1837 года у почтмейстера Артенова веселье, бал, кавалеры, потные и красные, в полъяна, танцуют, гремят каблукками, сам почтмейстер надел новый мундир и пафабрил усы. Дропюшка нашла себе жениха, выходит замуж за Вильгельма Карловича Кюхельбекера.

Вильгельм весел, пьян. Его поздравляют, а два канцеляриста

пытаются качать. В углу поблескивает металлическими очками Миша.

Вильгельм подходит к брату и с минуту молча на него смотрит.

— Ну, что, Миша, брат?

Миша говорит просто:

— Ничего, как-нибудь проживем.

Через месяц после свадьбы Вильгельм узнает, что какой-то гвардеец убит на дуэли Пушкина.

Нет друзей. В могиле Рылеев, в могиле Грибоедов, в могиле Дельвига, Пушкин.

Время, которое радостно шагало по Петровской площади и стояло в крепости, бежит маленькими шажками.

4.

Вильгельм заметался.

Та самая тоска, которая гнала Грибоедова в Персию, а его кружила по Европе и Кавказу, завертела теперь его по Сибири.

Он стал просить о переводе в Акшу. Акша маленькая крепостца на границе Китая. Живут там китайцы, русские промышленники, живут бедно, в фанзах, домишках. Климат там суровый, Нерчинский край.

У Вильгельма была семья, крикливая, шумная, чужая. Жена ходила в затрапезе, дети росли.

В Акше недолго прожили.

Раз Дросида Ивановна, смотря со злобой на бледное лицо Вильгельма, сказала:

— Ни полушки нет. Хоть бы удавиться, Господи. С китайцами жить, в обносках ходить. Проси, чтобы перевели куда. Нет здесь житья.

И Вильгельм запросил перевода в Курган Тобольской губернии. В самый Курган его жить не пустили, а разрешили поселиться в Смоленской слободе, за городом. Проезжая Ялуторовск, заехал он к Пуцину. У него были висячие усы, мохнатые, нависшие брови. При встрече они поплакали и посмеялись, но через день уже заметили, что говорить им не о чем и что они отвыкли друг от друга. Пробыл он у Пуцина три дня. После его отъезда Пу-

цин писал Егору Антоновичу Энгельгардту, дряхлому старику, пережившему одного за другим всех своих питомцев:

«21-го марта. Три дня прогостил у меня Вильгельм. Проехал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал меня стихами до нелзя; по правилу гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. По моему, эта новая задача Провидения, утронить счастье существ, соединившихся без всякой данной на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже первические припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества; а между тем баба боенуется на просторе; он же говорит: «ты видишь, как она раздражительна». Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем. Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко мне; но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противоположное. Если б вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления сенсации, то вы просто погибли бы от смеху, не смотря, что он был тогда на сцене довольно трагической и довольно важной. Может быть, некоторые анекдоты до вас дошли стороной. Он хотел к вам писать с нового места жительства. Прочел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило; он, бедный, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепостях и в Сибири. Не знаю, каково будет теперь в Кургане».

5.

Годы в Кургане.

Ну, что ж? Наступал конец.

Правый глаз его наполовину закрылся бельмом, он видел смутно, различал только цвета, правое веко все тяжело и опускалось. Вильгельм, когда хотел пристально всмотреться во чтонибудь, должен был пальцами приподнимать веко. Из Петербурга никто не писал. Мать умерла. Его забыли.

Дело было ясное, — жизнь кончалась. Он уже только для приличия перед самим собой ходил на огород, который стоил ему стольких трудов, — и, правда, ему все труднее стало нагибаться, — болела спина и плечи гнули к земле. Потом он махнул рукой и на огород. Дросида Ивановна возилась, покрикивала на ребятишек, судачила с соседками. Он и на это махнул рукой. Все было ясно: ни к чему была женитьба, ни к чему эта чужая женщина, которая ходит в капотах, зевает под вечер и крестит рот рукой, ни к чему земля, огород, его драма, которая могла бы честь составить и Европейскому театру, его переводы из Шекспира и Гете, которого он первым четверть века назад ввел в литературу русскую. Что же, — читать их дьячкову сыну, робкому юноше, который благоговел перед Вильгельмом, по кажется мало понимал? — ходить в гости к лавочнику Разгильдееву, играть по маленькой с Щепиным-Ростовским, тем самым, что когда-то вел москвичей на Петровскую площадь, а теперь обрюзг, опустился и попивает?

Нет, довольно.

А однажды Вильгельм, приподнимая левое веко, перечитывал рукописи из своего сундука, он сотый раз читал драму, которая ставила его в ряд с писателями европейскими, — Байроном и Гете. И вдруг что-то новое кольнуло его: драма ему показалась неуклюжей, стих вялым до крайности, образы были натянуты. Он вскопил в ужасе. Последнее рупилось. Или он впрямь был Тредьяковским нового времени и недаром смеялись над ним до упаду все литературные наездники?

С этого дня начались настоящие мучения Вильгельма. Крадучись, подходил он с утра к сундуку, рылся, разбирая тетради, листы, и читал. Кончал он чтение, когда перед глазами плыла вместо листов рябь с крапинками. Потом он сидел подолгу, ни о чем не думая. Дросида Ивановна к нему приставала:

— Что это ты, батюшка, извести себя захотел?

Она заботилась о нем, но голос у нее был крикливый, и Вильгельм отмахивался рукой.

— Ты ручкой-то не махай, — тянула Дросида Ивановна, не то обиженно, не то угрожая.

Тогда Вильгельм молча уходил, — к Щепину или, может быть, просто за околицу.

Дросида Ивановна отступилась.

А потом он как-то сразу бросил свои рукописи. Закрыл сундук и больше не глядел на него.

Раз Вильгельм засиделся у Щепина. Они вспоминали молодость, Щепин говорил о Саше, об Александре и Мише Бестужевых, Вильгельм вспоминал Пушкина. Они говорили долго, бессвязно, пили вино в память товарищей, обнимались. Когда Вильгельм возвращался домой, его прохватило свежим ветром. Тотчас он почувствовал, как ноги запыли, а сердце застучало.

— Дедушко, — окликнул его мальчик, который проезжал мимо на телеге.

Вильгельм посмотрел на него и ничего не ответил.

— Садись, дедушко, — сказал мальчик, — довезу тебя до дому. Я Панфиловский.

Панфилов был крестьянин — сосед.

Вильгельм сел. Он закрыл глаза. Его трясла лихорадка. «Дедушко» — подумал он и улыбнулся. Мальчик подвез его до дому. И дома Вильгельм почувствовал, что приходит конец. Высокий, сгорбленный, с острой седой бородой, он шагал по своей комнате, как зверь в логове. Что-то еще нужно было решить, с чем-то расчитаться — может быть, устроить детей? Он сам хорошенько не знал. Надо было кончить какие-то счета. Он соображал и делал жесты руками. Потом он остановился и прислонился к железной печке. Ноги его не держали. Ах, да, письма. Нужно написать письма, сейчас же. Он сел писать письмо Устенке: с трудом, принадавая головой, разбрызгивая чернила и скрипя пером, он написал ей, что благословляет ее. Больше не хотелось. Он подписался. Потом почувствовал, что писать вовсе не хочется, и с удивлением отметил, что не к кому.

Назавтра он хотел подняться с постели и не смог. Дросида Ивановна встревоженно на него посмотрела и побежала к Щепину. Щепин пришел, красный, обрюзгший, накричал на Вильгельма, что тот не хлопчет о переводе в Tobольск, сказал, что на днях приедет в Курган губернатор и сел писать прошение. Вильгельм равнодушно его подписал.

И, правда, дня через два губернатор приехал. Докладную за-

писку о поселенце Кюхельбекере губернатор представил генерал-губернатору. Генерал-губернатор написал, что не встречает со своей стороны никаких препятствий о переводе больного в Тобольск, и представил записку графу Орлову. Граф Орлов не нашел возможным без предварительного освидетельствования разрешить поселенцу пребывание в Тобольске, а потому просил генерал-губернатора, по медицинском освидетельствовании, больного уведомить его о своем заключении.

Вильгельм относился к ходу прошения довольно равнодушно. Он лежал в постели, беседовал с друзьями. Часто он звал к себе детей, разговаривал с ними, гладил их по головам. Он заметно слабел.

13-го марта 1846 года он получил разрешение ехать в Тобольск, а на следующий день приехал в Курган Пушкин. Увидев Вильгельма, он сморщился и нахмурил брови, быстро моргнув глазом и сурово сказал прыгающими губами:

— Старина, старина, что с тобой, братец?

Вильгельм приподнял пальцами левое веко, взгляделся с минуту и улыбнулся:

— Ты постарел, Jeannot. Вечером ко мне приходи. Поговорить надо.

Вечером Вильгельм выслал Дросиду Ивановну из комнаты, устал детей и попросил Пушкина запереть дверь. Он продиктовал ему свое завещание. Он диктовал спокойно, ровным голосом. Потом сказал Пушкину:

— Подойди.

Старик наклонился над другим стариком.

— Детей не оставь, — сказал Вильгельм сурово.

— Что ты, брат, — сказал Пушкин, хмурясь, — в Тобольске живо вылечишься.

Вильгельм спросил спокойно:

— Поклон передать?

— Кому? — удивился Пушкин.

Вильгельм не отвечал.

«Ослабел от диктовки», — подумал Пушкин, «как в Тобольск его такого везти?».

Но Вильгельм сказал через две минуты твердо:

— Рылееву, Дельвигу, Саше.

6.

Дорогу Вильгельм перенес бодро. Он как будто даже поздоровел. Когда встречались нищие, упрямо останавливал повозку, развязывал кисет, и к ужасу Дросиды Ивановны давал им несколько медяков. У самого Тобольска попалась им толпа нищих. Впереди всех кубарем вертелся какой-то пьяный оборванный человек. Он выделывал ногами выкрутасы и кричал хриплым голосом:

— Шурьян-камад, сам прокурат, трах-тарарах-тарарах.

Завидев повозку, он подбежал, стащил скомканный картуз с головы и прохрипел:

— Подайте на пропитание мещанину князю Сергею Оболенскому. Пострадал за истину от холоуев и тиранов.

Вильгельм дал ему медяк. Потом, отъехав верст пять, он задумался. Он вспомнил розовое лицо, гусарские усики и растревожился.

— Поворачивай назад, — сказал он ямщику.

Дросида Ивановна с изумлением на него поглядела.

— Да ты что, батюшка, рехнулся? Поезжай, поезжай, — торопливо кивнула она ямщику, — чего там.

И в первый раз за время болезни Вильгельм заплакал.

В Тобольске он оправился. Стало легче в груди, даже зрение как будто начало возвращаться. Вскоре он получил от Устиньки радостное письмо: Устинька хлопотала о разрешении приехать к Вильгельму. Осенью надеялась она выехать.

Вильгельм не поправился. Летом ему стало хуже.

7.

Раз пошел он пройтись и вернулся домой усталый, неживой. Он лег на лавку и закрыл глаза. Слабость и тайное довольство охватили его. Делать было больше нечего, все, повидимому, уже было сделано. Оставалось лежать. Лежать было хорошо. Мешало только сердце, которое все куда-то падало вниз. Дросида Ивановна хранила в соседней боковушке.

Потом ему приснился сон.

Грибоедов сидел в зеленом архалуке, накинутом на тонкое белье, и в упор, исподлобья, смотрел на Вильгельма пронзительным взглядом. Грибоедов сказал ему что-то такое, кажется, незначущее. По-

том слезы брызнули у него из-под очков, и он, стесняясь, повернул голову в бок, стал снимать очки и вытирать платком слезы.

— Ну, что ты, брат, — сказал ему покровительственно Вильгельм и почувствовал радость. — Зачем, Александр, милый?

Потом ему стало больно, он проснулся, тело было пустое, сердце жала холодная рука и медленно, палец за пальцем, его вывобождала. Отсюда шла боль. Он застонал, но как-то неуверенно. Дросида Ивановна спала крепко и не слышала его.

...Русый, курчавый извозчик вывалил его у самого Синего моста в снег. Надо было посмотреть, не набился ли снег в пистолет, но рука почему-то не двигалась, снег набился в рот и дышать трудно... — Разговаривать вслух запрещается, — сказал полковник с висячими усами, — и плакать тоже нельзя. — Ну? — покорно удивился Вильгельм, — значит, плакать тоже нельзя? Ну, что же и не буду.

И он внял в забытие.

Так он пролежал ночь и утро до полудня. Уже давно хлопотал около него доктор, за которым помчалась с утра Дросида Ивановна, и давно сидел у постели, кусая усы, Пушин. Вильгельм открыл глаза. Он посмотрел плохим взглядом на Пушина, доктора, и спросил:

— Которое сегодня число?

— Одиннадцатое, — быстро сказала Дросида Ивановна. — Полегчало, батюшка, немного?

Она была заплаканная, в новом платье.

Вильгельм пошевелил губами и снова закрыл глаза. Доктор заливал ему в рот камфару, и секунду Вильгельм чувствовал неприятное чувство во рту, но сразу же опять погружался в забытие. Потом раз он проснулся от ощущения холода: положили на лоб холодный компресс. Наконец, он очнулся. Осмотрелся кругом. Окно было медное от заката. Он посмотрел на свою руку. В руке была зажата гонимая восковая свечка.

Он выронил ее и понял.

В ногах стояли дети и смотрели на него с любопытством, широко раскрытыми глазами. Какие они бледные и худые! Он мигнул Дросиде Ивановне. Та торопливо сморкнулась, отерла глаза и наклонилась к нему:

— Дрошюшка, — сказал Вильгельм с трудом и понял, что нужно скорее говорить, не то не успеет, — поезжай в Петербург; — он пошевелил губами, показал пальцем на сундук с рукописями и без-

звучно досказал: — это продашь — там помогут — детей определить надо.

Дросида Ивановна торопливо качала головой. Вильгельм пальцем подозвал детей и положил огромную руку им на головы.

Больше он ничего не говорил.

Он слушал какой-то звук, соловья, или, может быть, ручей. Звук тек, как вода. Он лежал у самого ручья, под веткою. Прямо над ним была курчавая голова. Она смеялась, скалила белые зубы и, шутя, щекотала рыжеватыми кудрями его глаза. Кудри были тонкие, холодные.

— Надо торопиться, — сказал Пушкин быстро.

— Я стараюсь, — ответил Вильгельм виновато, — видишь. Пора. Я собираюсь. Все некогда.

Сквозь разговор он услышал как-бы женский плач.

— Кто это — да, — вспомнил он, — Дуня.

Пушкин поцеловал его в губы. Легкий запах камфары почувствовался ему.

— Брат, — сказал он Пушкину с радостью, — брат, я стараюсь.

Кругом стояли соседи, Пушин, Дросида Ивановна с детьми.

Вильгельм выпрямился, его лицо безобразно пожелтело, голова откинулась.

Он лежал прямой, со вздернутой, седой бородой, острым носом, поднятым кверху, и закатившимися глазами.

Ю. Тынянов

МОСКВА ПОД УДАРОМ *)

5.

Где же они, — сереброусые и седоусые дни?

Далеки!

Солнечное время; снежишки сбежали в два дня; уж отмазались двери; профессор, надев плоскополую шляпу, террасою в садик ходил: пошуршать прошлогодним проростом, листвою перепрелой и серой, которая в солнце казалась серебряной, где уже полный пенечек промшел, где уже обнаружались сохлины под водоронной, еще сыревшей промшем дождя и пятном снеготопилин, пускающих из-под себя лепетавшие, полные отблесков, струи — под склон; где лежала дровина, — полено к полену — с корою сырою и отставшей: узор обнаружить (в ней червь, древоточец, знать жил).

На дровину вскарабкался, как показалось профессору издали, малый глупыш в неприятной, кровавого цвета кофтенке, кричавшей под солнцем, под ним, подобравши рукой свою юбку, в подол набирая дрова, загагания Дарьюшка; там, за забориком, мимо него промелькала весенняя, голубоперая шляпка (весной появлялись двуперые шляпы); по небу летели сквозные раздымки; и небо просиялось там сквозь раздымки.

Профессор подставил свой лоб под припек; он припек любил без затылки; знойное место себе выбирал; и сидел, из лица сделав морщ.

Тут окликнули.

Он сиганул через компаты и очутился в передней: прищурил глаза; и — увидел: стоит долгоухий японец, задохлец лимонно-оливковый, в черном во всем, выдается плечом надставным, черным стриженным волосом усиков и волосатыми вместо бород-

ки под очень сухою губою, промаслившись жестковолосым прочесом прически, рукой поправляя очки, сквозь которые черные пуговицы сосредоточенно смотрят, как будто они пред собой увидали священнейший лозунг.

Профессор, как Томочка-пес, сделал стойку — с готовностью кинуться: взлаем; японец присел, чтобы пасть.

— Чем могу служить?

Мелкоглазый японец заскакал, как будто слова подавал он с поливкой — «с и с и» да «с и с и»; он страдальчески так выговаривал русские буквы; напряглась шея; и не выговаривал «ер».

— Я из Жапан илисол!

— ?

— Я писал с Нагасаки, что сколо плиду к фам: из Жапан.

— А с кем же имею честь я? — не бросал своей стойки профессор.

— Я есть Исси-Нисси.

Вот кто!

Теперь знал, что оливковый этот задохлец, стоявший пред ним, — разворотчик вопросов огромнейшей, математической важности, двигатель мысли, которого имя гремело во всех частях света в кругу математиков: имя громчей Ишикавы *); профессор стал вдруг просиявшим морщаном, блеснувши как молнией, очками, — ну, точно стоял он в лучах восходящего солнца:

— Как-с?.. Право, — считаю за честь... Из Японии?.. К нам?.. — протопырил японцу он обе ладони.

Японец, прижав к ним, нырнул перегибчивой шеей под носом профессора, руку взял с задержью, точно реликвию; дернул и твердо и четко; подшаркнул: отшарком отнесся к стене, оторвавши ладонь; ведь понятно: профессор, который ему представлялся в стране Восходящего Солнца литым изваянием Будды, стоял перед ним, «не как лозунг «К о л о б к и ц», — стоял как «В а п - В а н ы ч». «Ван Ваньча» он и разглядывал — с пристальной радостью.

Да, — гляди в корень: в груди — разворох; галстух — набок; манишка — промячена; выскочил — чорт дери — хлястик сорочки; жилет не застегнут; уже из последней брошюры он повял: открытие близится в мир через этот промяченный хлястик.

И — на-бок все галстухи!

*) Отрывок из романа того же названия.

*) Известный японский биолог.

Да, — в Нагасаки еще раскурял фамилам Исси-Нисси Ивану Ивановичу: три панегирика тиснул ему в нагасакеком научном журнале; себя же считал вполне самоуверенно шествующим за Иваном Ивановичем — той же научной стезею.

«В а н-В а л ы ч» подшаркивал.

— Как же-с, — читал с удивлением, читал-с, — в «К о н ф е р е н с е н» — о ваших трудах... Удивлялся... Пожалуйте-с!

Жестом руки распахнул недра дома, введя в кабинетик, откуда он тотчас же выскочил.

— Знаешь ли, Вассочка, — там Исси-Нисси стоит — дело ясное: из Нагасаки. Так нам бы ты чаю — ну там... В корне взять — знаменитость!

Любил, побратавшись с учеными Запада, он прихвастнуть русской статью:

— Вы — да... Мы — у нас: в корне взять, — русаки!..

Приглашал отобедывать их он русацкими блюдами: квасом, ботвиньями и поросятами с кашей; когда-то дружил он с Леже, как потом приударил за Подем Буайе, в его бытность в Москве. И теперь предстояло все это: братанье, турнир математики и, наконец, громкий спор: о Японин и о России:

— Вы — да: вы — япошки... Мы, чорт побери, — русаки!

Предстояло: награв тумаками японца, торжественно мир заключить:

— Впрочем, светоч науки — один, так сказать!

Ветерок потянул из открывшейся форточки; и слышался: тонкий, щеглячий напев.

— Азиатский ученый!

6.

Прицелились в двери: Надюша и Дарьюшка.

— Вот он...

Японец.

— Сюсюка, картава...

— Лядящий какой.

— Недоросток.

Японец с лицом цвета мебельной ручки (олифой пролился) сидел, наготове вскочить; и вскочивши, — пасть ниц, точно в

идольском капище — перед литым изваянием Будды; профессор же носом развешивал мнения, щекою гасился, ключик волоса, из них строя ерши; и, бросаясь от шкапчика к полке, выщипывал он за брошюровкой брошюрку: «О наибольшем делителе», «Об инвариантах», О символе «с» в «I» и в «фи».

Подносил Исси-Нисси:

— Вот-с: я написал...

— Вот-с...

— И вот-с, вот-с...

Японец привскакивал: благодарил:

— Я ус это цитал...

А профессор, довольный, хлопывал вздохом свое:

— Есть у вас аритмологи?

— Есть!

Нисси спрашивал тоже:

— А есть ли тлады по истолики мацемацицески знани?

— А как же, — Бобынин почтеннейший труд написал!

И блаженствовал носом с японцем: вот чорт побери, — не японец, а — клад; безоглядно летели в страну математики: мохрый профессор с безмохрым японцем:

— Да, да-с, — математика, в корне взять, вся есть наука о функциях, но, что бы там ни сказали, — прерывных: прерывных-с! А... а..., сударь мой, непрерывные, то-есть, такие, в которых прерыв совершается в равные, так сказать, чорт дери промежутки — прерывны: прерывны-с! Они — частный случай...

— Как фи плоплосали в блосюле о метод...

Профессор подумал:

— И это он знает: и вовсе пустяк, что словами ошибся.

«Япошк у» смеясь трепанул по плечу:

— Вы хотели сказать «н а п и с а л и я»; «п л о ш а т ь» — «фе-лер махен».

Япошка, конфузясь, краснел:

— Ничего-с, ничего-с...

Подбодривши надглагом, приподнял, стал взбочь и подвел его к полочкам:

— Есть у меня тут... — совсем мимоходом расшлепнул брошюровкой он научипку (таскались к нему из угла)... — Вот вам Поссе...

Японец разглядывал Поссе.

— А вот вам Лагранж...

— Вот Коши, Миттах-Лефлер, — расфыркался в вытинках, — Клейн.

И японец уже веселился глазами над Клейном: с и с и да с и с и:

— Дело ясное, — да-с — он добряш: зуб со свистом...

И на-те наткнулись на спорный вопрос!

Вейерштрасса профессор назвал декадентом; японец — уперся: он чтит Вейерштрассера; профессор поднялся нагрубнувшем носом, с тяжелым раздолбом пройдясь; он — сердился; он — фыркался; не понимает японец:

— Вы, батюшка, порете чушь: эти, как их, — модели пяти измерений; они шарлатанство-с! Еще с Ковалевской, Софьей Васильевной, мы: вы — туда-же-с...

То было назад — сорок лет: Исси-Нисси в то время еще голоном мальчиком ползал вокруг Фузи-Ямы: что, право!..

Японец, продрихнул веками, — Кашеем сидел: и молчал.

Василиса Сергеевна вошла — оторвать друг от друга:

— Пожалуйте: чай пить.

— Пожалуйте, милости просим, — опять суетился профессор, забыв Вейерштрасса. — А после мы, батюшка, с вами посмотрим Москву; да, — я вас поведу; для нас русских, Москва, — так сказать...

Тут — представьте — японец не выпыхнул от радости: он — потемнел; он, признаться, едва лишь ввалился в Москву, предварительно ровно четырнадцать суток промчавшись в экспрессе, едва он стоял на ногах; а тут — с места в карьер!

А профессор с пропиркой тащил его к чаю; ведь — случай единственный; поговорить-то ведь не с кем; из всех математиков, разве десяток, рассеянный в мире, мог быть ему в уровень, Нисси — включался в десяток; и — вот он; профессор же был ворун.

Пролетели в столовую — лбами в косяк: бум, бух, бряк!

Карандашик упал.

Друг перед другом стремительно сгизились на подкаракушки, чуть не ударившись: лбами о лбы; и сидели, ловя карандашик: профессор — орлом; Исси-Нисси — корякой такой сухоякой (дошечкою задница); он и схватил: будто это был нежный цветок, подносимый стыдливой невесте, стыдливо поднес карандашик профессору:

— Не ожидал-с!

Не японец, а — мед!

Исси-Нисси уселся за стол: с дикой скромностью; он приналадил к слову и с завизгом им говорил про Японию; в звуке словесном был прогнус; сидел, наготове вскочить перед каждым, а был знаменитым: гремел на весь мир.

— Вы скажите нам — что, как: какие там люди?

— Жапаны.

— Какие там моды?

— С Амелики.

— Что вы!

— И с Лондон...

— Какане дома?

— В Жапан... — длил он словами, ища выраженья.

И — прытко запрыгал словами, найдя выраженья:

— Нелься констлуил, как в Москва...

— Констлуил — что такое?

— Да строить, маман, — к о н с т р у и р: совершенно же ясно.

— Пу да — почему же?

Искал выраженья:

— Там элда: тлясется.

— Что?

— Элда: на что все стоит — сказал с задержью, свесив беспомощно руки (на сгибени пальцев — предлинные, желтые, свежесмоленные ногти, не наши, а — дальневосточные).

— Что это «элда» — мизюрилась Наденька, щелкая празднично фисташками. — А, да — доняла: «элда» значит земля: это он о земле....

Азиат!

— Да, вы — бедный народ!

— Ну-с — поднялся профессор — сидите, а я пойду, в корень взять, перед прогулкой соснуть — минут на десять... Нет-с, вы сидите — почти что прикрикнул на Нисси, увидев, что тот поднялся. — Я вас, батюшка, не отпущу: покажу вам Москву-с...

Бедный: эти последние дни так замучили мысли, что он за японца схватился, чтоб с ним подрастаться; он — заслуженный профессор, «и ш е п о л ь н ы й» там член, академик, почетный

член общества, прочая, прочая, прочая — он был подпуган; гремел на весь мир, а боялся — Мандро.

Где закон, охраняющий ценную жизнь замечательной этой машинки природы? И есть ли закон, если жизнь этой личности определяется сетью ничтожных по ценности, страшных по цели интриг: ведь Ивана Ивановича, как национальную, даже как сверхнациональную ценность, должны бы заключить в семибашенный замок из кости слоховой, таскать на слонах окружив самураями: математически богдыхан, далай-лама, Микадо!

Так думаем вовсе не мы, — Исси-Нисси...

А он, между нами сказать, — под оглоблями бегал: дела-с!

Василиса Сергеевна скрылась.

— Хотите, пройдемте-с по садику?

Наденька с Нисси — прошли; над просохом серебряным встали:

— Здесь Томочка-нисиик наш: похоронили его...

Колебались причудливым вычертом тени от еучьев; и первая, желтозеленая бабочка перемелькнулась с другою — под солнцем: приподпере-подпере-пере — пошли перемельками; быстрым винтом опустились, листом свои крылья сложили.

И листьями стали средь листьев.

— Вам папочка нравится? — Надя спросила.

Японец, добряш, — просиял:

— Осень, осень!

Профессор Коробкин был идиолом для Исси-Нисси: приехал устроить ему превосходное калище он; в этом калище видел Ивана Ивановича твердо на камне сидящим, на корточках, твердо литые два пальца поставившим перед литой, златой мордой: в халате златом!

Азиат!

Щебетливые скворчки вдруг обозначились: в кустиках: а сквозь орнамент суков прогрустило апрельское небо: в расперушках белых.

8.

Профессор схватил плоскополую шляпу и в шубу медвежью впикинулся (зачем не в пальто?) с рукавом перепродраным (что же не подошли?): под руку подпавшу японца; из двери с ним выскокнул взбось; тартарыкнув по скользким ступенькам, почти что свалился с японцем на полупроталый ледок.

Здесь опять отвлекусь рассуждением.

Катаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним младенцем, под поканье очень опасных коньт, — как-то зря: в за-седаньях, на кафедрах, — рыба в воде: все движения — ловки, своевременны, стильны, изящны: а здесь, среди прохожих, кубарики эти — нелепее вертятся: только одно повреждение — себе и другим.

И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слоп на спине, — применение предметов, полезнейших в сфере одной, — бесполезное в сфере, ну, скажем, гулянья: такой точно вид, как, опять-таки скажем, термометра, употребленного при ковырянии носа орудием расковырянья: термометр — ломается; нос — окровавится колким осколком стекла; ртуть — просыплется; ни — ковыряния носа, ни — температуры! А, впрочем, коль нос ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и термометр.

Можно с большой осторожностью, — даже с ученым пойти: прогуляться.

Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспевал; в его жестах была непонятная задержка: наверное, двигался так манекен.

За забориком — издали цели:

На улице нашей

Живет карлик Яша.

Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг просочилось солнце сияющим и крупнокапельным дождем; и обозначился: мокрый булыжник.

— Арбат-с!

— По Арбату проехался Наполеон, да — бежал, чорт дери....

— Мы Москву ему в нос подпалили! — показывал он свое своеумие русского духа.

Таким разгуляем пагал, молодая всем видом.

— Артур бы не сдали-с: извольте видеть, — тут Стессель... Один Кондратенко русак, да его разорвало гранатой... А то бы — он вас...

— У нас тозе золдат: холосо...

Но профессор нахмурился: не понимает японец!

Последний оглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.

Постояли под Роголем: свесился носом; прошлись по Воздвиженке; тут подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профессор сказал с наслаждением:

— Кремль-с!

— Кремлевские стены...

Не видя, что Нисси оливковым стал и давно уже пот отирал, он тащил его дальше:

— Музей исторический: великолепное здание!

Японец чеснул загогулиной тросточки в Думу:

— Не это-с, а — то-с... Не туда-с... Как же это вы, батюшка: это же — Дума: Музей исторический — то-с!

Но японцу не нравился стиль: и профессор сердился:

— Японка!

— Завидует!

Был Исси-Нисси в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке; готический стиль ему нравился; русский — не нравился.

Встала слепительность: в синешполую твердь:

— Храм Спаситель!

Не видел он в жестах умеренных поползновенья на что-то японца:

— Зайдем?

И — зашли:

— Это вот Богоматерь, — с Младенцем: картина прекрасная, очень...

— Видал Лафазль...

— Верецагин писал...

И, не давши опомниться — в купол: перетом:

— Саваоф!.. Потрясающий нос — в три аршина, а кажется маленьким...

Головы оба задрали: и долго смотрели — молчком:

— Нос — с профессора Усова списан: не с Павла Сергееча списан, а — дело ясное: списан с Сергей Алексееча, автора — да-с — монографии «Единорог: носорог»...

А на скверике кусты вспучились, бледные, — добелу: перепучились чуть желтизной: там — зелени из бледнорозовых, бледносерпневых почек.

Прошлись вдоль реки.

На реке появились весной рыболовы с закинутой удочкой: вот

прооркнет рыбок, — поплавок серебродрогнет, взлетит: только червь извивается: отлетела струей серебробокая рыба; юрнула и — взвеселилась темной спинкой в зеленой водичке; а наискось, рябозеленосерой, зубчатой стеною Кремлевскою — башни: прохожее облако, белый главач, зацепилось за цепкую башню; и, став брадачем, отцепилось, теряясь краями.

Профессор увидел: вот — Федор Иванович Пяткин сидит, как и в прошлом году, — тот, который простуживает, тот, который с Надюшей встретясь, поставил ее на сквозняк и рассказывал что-то, предлинное очень, до... флюса, — тот самый, который зимой позапрошлой с Иваном Ивановичем встретившись, за руки взял, с ним ушел на лавочку, в снег, и рассказывал что-то, предлинное очень; и после подвел его под лошадиную морду, взмахнул в разговор: лошадь — вскинулась: в глаз просверкала подкова: и все — испугались, а Федор Иванович, — тот еще более: Федор Иванович Пяткин, дендролог, профессор в отставке, — у Храма Спасителя жил: и — под мост ходил рыбу удить.

Надо правду сказать, что профессор забыл про японца; устал, призамок: отбратался!

— Ну — вот-с и Москва: город древний...

— Мое вам почтение...

— Пожалуйте как-нибудь запроста к нам...

И пошел себе прочь: с помахиванием рук.

И стремительно прочь от профессора ноги несли самодергом японца — в «Отель - Националь», чтобы пасть замертво: в сон.

Вот мораль: не ходите осматривать с крупным ученым достопримечательностей городских; Москва — древний весьма замечательный город.

А — что же в итоге? Кубарики...

Вечер стеклил.

И по небу неслись ветрянки: разорвинки облак; и — чуть прокололись звездочки, чтоб к ночи разинуться; был на реке — светоход; — воды дернулись ветром; на них испорчалось вдруг отражение месяца; после мелькач исчезающих бабочек ясно сбежался.

И вот: отражением месяца сделался вновь.

Андрей Белый.

РОССИЯ

I.

УКАЗ

1710 г.

Стоглав (1551 г.)—уложение все-Русии со «страхом Божиим», «часом смертным» и запрещением колбасы сожжен вместе с протопопом Аввакумом (1681 г.), и на пожарище стал Петр (1682 г. со *сво-ей волей*: пропустя Аввакумову Россию «через живой огонь» строить свою гранитную Россию. Память о Петре — его зовет русскому народу — что еще живее? — наши дни! — с грозой, круто.

«Смотреть тебе на заставе накрепко и со всяким спасением и быть безодходно денно и ночно!»

«А ежели кто каким способом в города Московской губернии приедет или пройдет через заставу, а опосле пойманы будут, и таких вешать!»

«А ежели ты будешь смотреть неопасно и оплошкою своею кого пропустишь, и тебе за то плочено будет тож!»

В начале осени 1710 случилось поветрие в Инсарском уезде в селе Большом Чамбаре, а позже в Торжке и на Хотеловском яму. О Чамбаре доносит Петру ландрихтер Петр Кикин, а о Торжке тверской воевода Иван Кокошкин. На это последовал указ — «по грамотам из Розряду за подписью дьяка. Степана Алексеева в Серпуховской уезд на станцию, что под селом Тешиховым московскому дворянину Гавриле Прокофьевичу Бакееву: какие принять карантинные меры, чтобы не занести заразу в Москву и Петербург. (Принисал Вадлий Кирьяков; правил Михаила Хрущов).

Основанием для указа:

I. Письмо Петру воеводы Кокошкина (2. 10. 1710) по письму из Торжка коменданта Петра Коробина (7. 8. 1710):

«что в Тоджку многие помирают смертоносною язвою, а преж де той учинилось на Хотеловском яму».

II. Грамота из Розряда в Серпухов за приписью дьяка Ивана Ульянова (30. 9. 1710); в ней указ из Адмиралтейского Приказа в Разряд (8. 9. 1710), в указе письмо ландрихтера Петра Кикина Государю (8. 9. 1710) по письму инсарского коменданта Алексея Зиминского (23. 8. 1710), которого «словесно извещал» в Приказной избе на Инсаре подъячий Инсарской площади Иван Максимов (14. 8. 1710), а Ивану Максиму в селе Большом Чамбару сказали сотник Кирило Семенов и староста Лаврентий Дмитриев о товарищи (1. 8. 1710) :

«волею Божиею учинилось моровое поветрие и многие люди померли скоропостижною смертию и ныне мрут непретанно, а здоровых людей не оталось и тридцати человек».

Карантинные меры : засесть засеку, поставить караулы на заставах говорить с приезжими через «живой огонь, вытерши из сухого древа», письма у курьев принимать издали, распечатав, держать на ветре часа по два, потом окуривать можжевельником, а самих курьев держать дней по семь и по десять, а прочих спрашивать (допрашивать) через огонь и «распросные речи» в трех экземплярах в Розряд —

«кто и какого чину и какими дорогами ехал или шел и давно ли из Торжка и с Инсары и про моровое поветрие где что слышал и давно ль из Торжка или с Инсары?»

Письмо московское: ва (во), р-о-зряд, станци-ы-ю, двор-епину, нын-я-шнем, Кор-а-бик, К-а-кошкин, из Тор-ш-ку, н-п-неши-е-го, ко(а)мендант, преж, Адмираельский приказ, Дмитр-е-в, М-о-ксимов, Зиминск-о-й, учинилось, бли-с-ко, велен-а, Санк-Питер-бурх, посыл-а-к, остан-о-вливать, изд-о-ли, р-о-спечатав, запечат-о-в, ч-е-са, из тех жа, дорог-о-мн, ш-о-л, к-о-кими, что слыш-е-л, лутчих.

Дороги: большие, проезжие, проселочные.

(Петр — 1682-89-1725 г.).

Ва 1710 году октября въ 2 день, по указу великого государя царя і великого князя Петра Алексѣевича, всея великия и малыя и бѣлыя Росіи самодержица, и по грамотамъ из Розряду — за приписью дьяка Степана Алексѣева — в Серпуховской уѣздѣ на станцію, что под селомъ Тѣпиховымъ, московскому дворянину Гавриле Прокофьевичу Бакѣеву —

смотреть тебѣ на заставе накрепко и с великимъ опасениемъ и быть безодходно денно и ночно! —

для того в нынѣшнемъ 710-мъ году сего октября въ 2-мъ числѣ вѣдомо великому Государю учинилось по писму из Твери воеводы Ивана Какошкина: что де сего сентября 7-го числа писал к нему ис Торшку комендат Петръ Корабин, —

« что де в Торшку многие помирають смертносною язвою, а прѣж де той учинилось на Хотѣловскомъ яму » —

да в нынѣшнемъ же 710-мъ году сентября въ 30 день в грамоте великого Государя из Розряду — за приписью дьяка Ивана Ульянова — в Серпухов писано: сентября въ 8-мъ числѣ нынѣшняго 710-го году в указе великого Государя из Адмиралтеского Приказу в Розряд писано — сентября въ 8-мъ числѣ к великому Государю писал в Приказ Адмиралтескихъ дѣл ландрихтер Петр Кикин: августа в 23-мъ числѣ писал к нему с - Ынсары камендат Алексѣй Зиминской, — августа ж де 14-го дня на Инсаре в Приказной избѣ извѣщал словесно Инсарской плотицы подячей Иванъ Моксимовъ, — посылаи де он был по наказу в - Ынсарской уѣздѣ для ево, Государева дѣла, і в селѣ де Большомъ Чанъ-бору, Моча то ж, сказывали ему, Ивану, сотникъ Кирило Семенов да староста Лаврентей Дмитревъ с товарищи:

« что де августа въ 1-го числа волею Божиею учинилос в том селѣ моровое повѣтріе и многие де люди померли скоро-постижною смертию и ныне мрутъ непрестанно, а здоровыхъ людей не осталось и тритцати человекъ, » —

и при нем де, Иване, в ночи умерло человекъ з десять; и по той ево, Алексѣевой, описке Зиминского писал он к нему, Алексѣю:

чтоб он вкругъ вышеписанного села Чанбара версты по двѣ или по три велѣлъ засѣсть засѣлку и поставить крѣп-

кие короулы, и с - Ынсары и с - Ынсарского уѣзду ни для какихъ дѣл никуда никого б пропускать не велѣл, и велѣл около Инсарского уѣзду по всемъ дорогамъ поставить крѣпкіе короулы, приходящихъ и проѣзжихъ никого б близко пропускать не велѣл, а естли кто на заставы приѣдетъ, и с тѣми велѣл говорить издали чрез живой огонь, вытерши из сухова дерева, и с писемъ на заставахъ не чрез живой огонь отнюд принимать не велѣлъ, и чтоб с Москвы и з иныхъ мѣстъ курьеры и они хто в Санкѣ-Питер-бурхъ і в Нарву і во Псковъ і в Новгород і в - ыные города чрез Торжок и с - Ынсары инзарцовъ и с иныхъ городовъ с - Ынсары проѣзжихъ людей отнюдъ к Серпухову и к Серпуховскому уѣзду не пропускать и никакихъ посылаекъ не посылать;

и по сво, великого Государя, указу по тѣмъ вѣдомостямъ велена: с Московской губернии в городѣхъ і в уѣздехъ на болшихъ и на проѣзжихъ и на проселочныхъ дорогахъ и по речкамъ на перевозахъ поставить крѣпкіе заставы, и на тѣхъ заставахъ смотрѣть того накрѣпко, чтоб никакова человекъ ни съ чѣмъ исъ Санкѣ-Питер-бурха и с тамошнихъ мѣстъ чрез Торжокъ к Казану, а с - Ынсары инсарцовъ і с иныхъ городовъ с - Ынсары к Серпухову и к прочимъ городамъ Московской губернии не пропускали; а курьеровъ, которые будутъ у застав из вышеписанныхъ городовъ, останавливать и писма у нихъ принимать издоли и, распечатавъ, держать на вѣтре часа по два и по три, а потомъ окуривать можжевельникомъ и присылать зъ заставы к Москвѣ, запечатовъ, съ-воими послонными, которыхъ для токихъ посылаекъ по нѣсколку нарочно имѣть, и с приѣзжими оныхъ отнюд не пропускать, а тѣхъ приѣзжихъ курьеровъ отпускать назад, не мешковъ ни часу; а которые гораздо с нужными писмами от Ивана Какошкина ис - Ынсары и с иныхъ тамошнихъ мѣстъ присланы у нихъ будутъ, писма принимать и присылать к Москве, а ихъ у заставъ держать дней по семи или по десяти, и ежели в токое время болѣзни на нихъ не явитца, тогда ихъ принимать; а буде опричь оныхъ курьеровъ кто к тѣмъ заставамъ ис тѣхъ жа или из другихъ мѣстъ приѣдетъ или придетъ, и тѣхъ людей у тѣхъ заставахъ содержать и спрашивать чрез огонь:

« хто и какова чину и откуда и кокими дорогами ѣхалъ или шол и давно ль ис Торшка и с - Ынсары и про моровое повѣтріе гдѣ что слышел и давно ль ис Торшка или с - Ынсары? »

и тѣ ихъ роспросы рѣчи, переписывая на первую и на вторую и на третью бумагу, прислать в Розрядъ же, а

тѣхъ людей чрезъ заставы отнюдь никого не пропускать; а ежели кто ис Торжку или с - Ынсары или с тамошнихъ мѣстъ какимъ способомъ в города Московской губерни приѣдетъ или пройдетъ чрезъ заставу, а опослѣ пойманы будутъ, и татихъ вѣш а т ѣ ; а ежели ты будешь сморѣть неопасно и оплюшкою своею ково пропустити, и тебѣ за то плочено будетъ тожъ;

и о всемъ тебѣ, московскому дворенину, чинить по сему великого Государя указу с великимъ опасениемъ, а для караулу и посылку взять тебѣ, дворенину, на ту заставу в томъ Серпуховскомъ уѣздѣ близъ той заставы в монастырскихъ и в помѣщичьихъ и в-отчинничьихъ селехъ и деревняхъ крестьянъ челоѣвъ пят и больши самыхъ лутчихъ людей, чтобъ в томъ быю мочно кому вѣрить.

Приписаль Василей Кирѣяков.

Справилъ Михайла Хрущов.

II.

ПАСПОРТ

1819 г.

В Стоглаве гл. 91-ая: «Божественное писание заповедало есть, удалитися отъ крови и удаленины, и отъ блуда, неции убо угождения ради чрвного, кровь коего любо животного, хитростию некако сотворяютъ спедно, еже платодетъ колбасы, и тако кровь ядятъ». И за это наказание: «аще есть причетникъ, да извержется; аще мирский человекъ, да отлучится».

Авдотья Наумова, вневская, крепостная нянька Волконскихъ, «мирский человекъ» — всю дорогу, какъ села в Одессѣ и до самого Ливорно колбасой питалась (ну, ничего нѣтъ больше!) великий грехъ приняла на душу. Но за то и насмотрелась: Москва-река тамъ широкая, не оглянешь, а другой разъ смотришь, по берегу гляди, думаешь, картошка, аи виноградъ! Очень боялась потерять паспортъ: листище вот! в ладонку не зашьешь да и сгибать не велено, носи в рукахъ — «печати повредить можно». Авдотья Наумова не грамотная, но люди читали: и чего-чего поненаписано! и про орденъ и про бриллиантовые звезды, графъ Ламжеронъ, членъ Вейс, кавалеръ Иванъ Видманъ, экзекуторъ Лозовецкій, статскій советникъ Манчаки

и, должно быть, самый надъ всеми главнеющий — Деслюнис! и все они обязаны еѣ, няньку Авдотью, два года безъ задержки вездѣ пропускать и во всякомъ дѣлѣ оказывать бла-го-во-леніе и вспомо-же-ніе!

Вотъ она, какая — Авдотья Наумова! Ну, Богъ проститъ: безъ хитрости она болабсу ела, да и не сладко на чужой землѣ — за два-то года благоволенія! — и за челоѣка тебѣ не считаютъ, а в роде какъ чурка.

По Указу Его Величества Государя Императора

Александра Павловича
Самодержца Всероссийскаго

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляется чрезъ сіе всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что показательница сего *Генераль Маіорши Княгини Зенеиды Волконской крестьянка Тульскаго Губерніи Веневскаго уѣзда изъ села Урусова Авдотья Наумова отправляется чрезъ Портъ Одесскій въ Ливорно и въ разныя мѣста Италіи срокомъ на два года*. Того ради всѣ высокія Области приглашаются по состоянію чина и достоинства, кому сіе предъявится, Наимѣе же воинскими и гражданскими управителямъ поставляется въ обязанность означенную *крестьянку Авдотью Наумову*, какъ *пынѣ изъ Россіи идущую*, такъ и потомъ въ Россію возвращающуюся не токмо свободно и безъ задержанія вездѣ пропускать, но и всякое благоволеніе и вспоможеніе оказывать. Во свидѣтельство того и для свободнаго проѣзда, данъ сей паспортъ отъ *Херсонскаго Военнаго Губернатора* съ приложеніемъ Его Императорскаго Величества печати. Въ *Одессѣ Мая 27 дня 1819 года*.

(Черная орловая печать): «Его Императорскаго Величества Печать».

Его Императорскаго Величества Всемилостивѣйшаго Государя моего Генераль отъ Инфантеріи въ свитѣ Его Величества, Херсонскій Военный Губернаторъ, управляющій по Гражданской части въ Губерніяхъ: Херсонской, Екатеринославской и Таврической, Одесскій Градоначальникъ, Черноморскихъ казачьихъ войскъ и пограничной стражи главный Начальникъ, Орденовъ: Св. Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго украшеннаго бриллиантами, Св. побѣдоносца Георгія большаго Креста 2-й степени, Св. Анны 1-й степени, Австрійскаго ордена Маріи

Терзии 3-го класса; Королевства Французского Св. Людовика; Прусских Черного и Красного Орла большого Креста; Королевства Шведского Меча 1-й степени; Иоанна Иерусалимского и Американского Синсинатуса Кавалеръ; имѣющій золотую Шпагу съ надписью за храбрость, Медали: за штурмъ Имамилской и за 1812-й годъ.

Графъ Ланжеронъ

Сей паспортъ въ Одесской Портовой Таможнѣ явленъ и въ Книгу подъ N 166 записанъ Мая 29 д. 1819 года.

Членъ Вейсъ

№. 2444

Означенную въ семъ паспортъ Авдотью Наумову пропустить чрезъ Карантинъ на Судно шхипера Андреа Турчиновича и на ономъ изъ порта выпустить; учинена сія помѣта въ Одесской Карантинной Конторѣ Юня 4 д. 1819-го года.

Товарищъ въ Карантинѣ Надворной Советникъ и Кавалеръ Иванъ Видманъ, Экспедиторъ Ловозецкій.

Transl.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät
Alexander des Ersten
Selbstherrschers Aller Reusser
ec- ec. ec.

Allen und jeden, denen daran gelegen, wird hiemit kund und zu wissen gethan, dass Vorzeiger — dieses — Es ergeht deshalb an alle hohe Mächte, und an alle u jede, welche Standes und welcher Würde sie auch seyn mögen, denen dieses vorzuzeigen ist, das Ersuchen, unsern Kriegs- und Civil-Beamten aber wird zur Pflicht gemacht, gedacht — sowohl auf — gegenwärtigen Hin-als Rückreise nach Russland nicht nur frei und ungehindert passiren, sondern auch allen geneigten Willen und Beistand wiederfahren zu lassen. Urkund dessen und zu — freien Reise ist — dieser Pass durch den — von — unter Seiner Kaiserlichen Majestät Insiegel ertheilet worden — den — 181 —

N 500.

Сей паспортъ въ Россійской Министерской Его Императорскаго Величества въ Константинополь Канцеляріи явленъ и при отъѣздѣ означенной во ономъ крестьянки Авдотьи Наумовой моремъ въ Ливорно ей возвращенъ съ сею надписью. Морская язва въ здѣшней Столицѣ и въ окружности продолжается. Пера. Юня 26-го дня 1819 г.
Статскій советникъ Манчаки

(Накладная орловая печать)

Visto il presente in questa Imp-le Russa Consolare G-le Cancellaria di Smirne ed in seguito restituito all'esibitrice che parte per Livorno. Smirne li 19 Agosto 1819 A. V.

Il Console G-le S. Deslunis

(Накладная орловая печать): «Печать Константинопольской Канцеляріи»

N 977

V. alla Polizia d'Acquapendente li 18 Marzo 1820 Roma pago Guerra

(Черная печать): «Polizia di Acquapendente delegatine apostolica.»

No. 21-do 109 Visto nel Consolato Generale Pontificio in Toscana buono per Roma Via di Terra passando per Firenze. Livorno li 20 marzo 1920

Il Console Generale

Conte Maggior Marchio

(Красная печать): «Consolato Generale Pontificio in Toscana. Livorno.»

Livorno 20 Marzo 1820. Visto buono per Roma.
Pipiez

(Черная печать): «Governo di Livorno.»

V alla S. Frediano di Ferenze ad 21 Marzo 1820
Bacy

Firenze li 24 Marzo 1820. Visto buono per Roma solo per il Viaggio.

Borce

(Красная печать): «Granducato di Toscana Affari esteri.»

Visto buono alla nunziatura di Ferenze per Roma li 24 Marzo 1820.

Valentini

(Красная сургучная печать)

Visto alla Dogana di G. Contesso. Li 28 Marzo 1820 Cornevali
S.

Алексей Ремизов.

«ЗАВЕТЫ»

памяти

Леонида Михайловича
Доброуравова

1887 — † 26.5.1926.

Доброуравов выступил в канун войны с Замятиным и Вяч. Шишковым: Замятин — «Уездное», Шишков — «Тунгусские рассказы», Доброуравов — «Новая бурса». (Шишков и «Новая бурса» печатались в «Заветах» у Р. В. Иванова-Разумника, 1913 г.).

«Новая бурса» сразу заняла место в истории русской литературы: после «Бурсы» Помяловского первое и единственное «Новая бурса» Доброуравова. Доброуравов сделался известным писателем и не по газетам (свои хвалят своих или по каким «политическим» соображениям), а действительно: не было семинариста в Петербурге, да и не только в Петербурге, все читали «Новую бурсу».

У Шишкова большой материал — 20 лет жизни в Сибири, не в ссылке, а доброй волей на работах — Алтай и тайга, сибирские промышленники и разбойники, вот что его привлекало изобразить, он и исполнил — много чего написал и в больших размерах, но первые короткие его рассказы в «Заветах» о странных людях — тунгусах с их полу-речью (диной или детской), с их кривыми движениями (как во сне: идут не улиткой, а кругами через заборы — так вернее!) — это лучшее Шишкова, это — настоящее.

У Замятина материал — «уездное»? — нет, его собственная голова, а средство: слова — игра в склад и лады.

Чехов завершил «интернационализм» русской прозы или, как тут говорят, «космополитизм»: начал Пушкин (Пушкин «прорубил окно в Европу»), расцвет — Тургенев (между прочим, Достоевский рекомендовал Тургеневу обзавестись телескопом, чтобы, сидя в Париже, наблюдать жизнь в России, а

так как жизнь и мысли связаны со словом, то, значит, телескоп и на слова!), конец этому интернационализму — Чехов (достаточно взглянуть на портрет: и это пенснэ со шпурком и записная книжечка!). После Чехова — «плеяда» Горького: тут или, как выразился один «поэт» про «Что делать?», «трактат-роман» (дело почтенное и педагогически очень полезное) или *беллетристика* (то же вещь необходимая в общезнании: читают, обсуждают, спорят); эта беллетристика, конечно, за подписью, но по существу безымянная: все пишут одинаково — одними и теми же словами, одним складом, с одними оборотами и сравнениями (Леонид Андреев жаловался: «как начну писать, лезет в выражениях одна пошлость!»), иногда очень даже «красиво», попадается и неподдельный «пафос» и искренняя страстность, и всегда все понятно написано — по правилам «грамматически», что без труда переводимо на все европейские языки, хотя в этом и нет нужды (во Франции, например, больше тысячи томов в год выпускается такой беллетристики), правда, скучновато, (одни пространные описания природы чего стоят!), но читается легко (а это-то и нужно) и легко забывается — «беллетристика»! И в то же время, с концом, интернационализма, началась работа над словом по «сырому материалу» и опыты над словом и «русским» складом (как и всегда не от чистого места, в прошлом были примеры: Пушкин — «Балда», «Вечера Гоголя, Лесков»). А началась эта работа с первой революцией, можно даже обозначить место: круг Вячеслава Иванова. (Когда ипобудь историки литературы выяснят огромное значение этого учнейшего человека!) И в канун войны в этой «национальной» работе одно из первых мест — Хлебников и Замятин. А от Хлебникова — весь «футуризм», Маяковский (с традицией Ивана Осипова), и кто еще не знаю (телескопом не обзавелся!), но чувствую, есть и должно быть. Один «дурак второго сорта» — (употребляю и совсем не в обиду философскую терминологию Льва Шестова, по-шестовски: дураки бывают двух сортов, первого сорта — это «Дурак», а второго сорта — это «дурак под Дураком») — так вот этот «дурак под Дураком» потом уже в самый разгар революции, (урвав посевы), признался мне, что уважать (признавать) начал Замятина, когда в войну, живя в Англии, Замятин написал

повесть из английской жизни «Островитяне», а что до тех пор, состоя редактором «передового» (левого) журнала, он, «дурак второго сорта», в течение нескольких лет, все, что было близко к «Уездному» или другим подобным образцам, безжалостно «бросал в корзину», а присылался такой материал из самых отдаленных медвежьих (неожиданных!) углов России и, к великому огорчению, «по многу». «Второго сорта!» не понял (да так пошестовски ему и полагается, а то как же?), не почувал («редактор!») — в самом деле, не из ж... же вышла вся современная русская (глубоко национальная) проза, Леонов и другие, — не понял, что начиналась не какая-нибудь местная работа, не петербургская выдумка и сумасбродная затея, а что-то гораздо большее — русское — какой-то сдвиг, поворот — революция! Да, это была революция — еще с революции 1905 года. Революция — завет: прошлое «сделанное» — все, что живо-пламенно, все равно, интернациональное и такое из беллетристики не разрушать ни под какую руку — только дурашливый хозяин в революцию коверкает машины и разрушает «налаженный аппарат» каких-нибудь очень полезных хозяйственных учреждений только потому — «революция!», «старый режим!» или еще как. Нет, не на смарку, а кроме того, ведь «слово!» — а слова, как звезды —

и звезда с звездой говорит —

Доброправов — материал еще больше, чем сибирского у Шинкова: Доброправов — сын священника, учился в Петербургской Духовной Семинарии, по дому — связи с духовенством и притом высшим: архиерей, митрополиты, синодские чиновники, Победоносцев, Саблер. Вот что должен изобразить Доброправов и в этой особенной обстановке — церковь, церковная служба, тут ему и книга в руки — в литургике познания его были огромны, бывал он по монастырям и в кельях и в архиерейских покоях.

После «Новой бурсы» (отдельным изданием в 1914 г.) Доброправов выпустил книгу рассказов «Горький цвет» (рассказы 1910-1915г.) и написал целый ряд больших пьес.

У Доброправова был хороший голос баритон — дружил с Шалининым. Пристрастие к пению при исключительном даре — к опере, за душой богатейший материал — архиерей, митрополиты, пестрые мантии, митры в драгоценных камнях, панатии, усыпанные бриллиантами, наперенные кресты, звезды, золотые и серебряные ризы, лампы, архиерейский хор, колокола — Доброправов сам

ходил как в мантии Святейшего, а его речь — из Оперы (Шалинин!). Таким представлялся он мне, когда я читал его рассказы о царе Сауле — очень величественно и красиво.

А тут Замятин: «красиво?» — «опера?» — — ?

— Если есть что-то самого порочного в литературе, это «красивость»; это какой-то словесный разврат.

— Но это нормально, эта «красивость»!

— Да, конечно. Не даром есть спрос и восхищаются и этим оценивают: «изящно», «красиво». Да, это нормально.

— А что нормально, имеет право быть (так, стало быть, по природе!). И почему «порок» и «разврат»? Имеет право и бредет, как деторождение («прямое назначение женщины дети!»), как лад и строй соловья, живописные ландшафты, приятная, ласкающая и убаюкивающая музыка или как «трагедия» — — — из-за «женщины».

— Но есть же разница между соловьем и человеком, между кошкой и женщиной. И ведь тут тоже природа «эта разница», а она есть. «Музыка планет!» что в этой музыке от девятой симфонии?

— Да ничего, наверно.

— Вот! — — и в человеке ничего не может быть от соловья и в женщине от кошки... Один мудрец сказал, что приглашать к себе на обед, это все равно, как пригласить в отхожее место рядышком испражняться. И я думаю, индус прав: неловко! Как-то неловко тоже читать, когда описывают, как какой-нибудь герой романа «гибнет» из-за «женщины», неловко же слышать «красивые» и «изящные» обороты речи, вообще неловко это «нормальное». А я согласен, это всегда будет, только — — —

Кроме рассказов и пьес, Доброправов писал стихи — под графа Алексея Константиновича Толстого, под былинны.

— А ведь былины — — — эта слащавая подделка 18 века, пичкали нас во всех хрестоматиях с приготовительного класса, настраивая ухо на какой-то не русский «красивый» лад!

Вот он и призадумался.

И одно время, я не знаю, я не видел прилежннее ученика: с каким старанием и терпеливо он сверял в рукописях поправки; он знал на память целые страницы из Лескова —

— Подражать можно и следует для науки, чтобы самому, проделав всю работу, догадаться, в чем де-

до — для чего напр. у Лескова какие-то «созвучные» слова: «Марья Амуровна», «просить прощады»; или контрасты: кабаки и вот мысль: ехать в родильный дом! или начинается в прошедшем и неожиданно перебивка — настоящее! — как спохватился или со стороны кто.

Из «Соборян» и «Полунощников» Доброправов читает без книги, а сидит писать и эта самая мантия Святейшего на плечах его, как живое к живому, и губы катушкой, вот запоеет, как Шаляпин, — не то «Борис», не то «Хованщина»!

Доброправов был настоящий писатель. У всякого есть какая-нибудь особенная склонность: один строить любовь и все что-нибудь мастерит, другой путешествует, третий, хлебом не корми, про политику, четвертый мечтает, а вот понадается, не оторвешь от бумаги, возьмет перо и так оно у него, как само ходит — такая склонность была писать у Доброправова. Во время войны он писал роман из студенческой жизни — 30 листов! Это очень поразило Горького: в наше время такой размах! У Доброправова был размах Чернышевского. Из «студенческой жизни» — это так, упражнение; в конце войны он приступил, наконец, к своему заветному — затеял роман (размер — 50 листов!): архиереи, митрополиты, мантии, митры, золото, драгоценные камни, лампы, колокола — и назвал «Черноризец». (Название удачное — «по контрасту»; впоследствии переименовал: «Князь века» — «по оперному»). Несколько глав он читал мне. Особенно «Всенощная» — такого никто не использовал: «всенощная»! — до ощущения ладана и чувства «подъема», когда на Великом выходе запоют «Величание» — сначала клир, потом певчие —

*Величаем Тя, Пресвятая Дево,
Богоизбранная Отроковице — —*

В революцию (1917) Доброправов забросил «Черноризца», а в 1920 г. уехал из России: поехал проводить мать, сестер и брата — «вернусь через месяц!» да там и застрял, рукопись осталась неопеченной.

Осенью 1924 г. Доброправов появляется в Париже. Я очень обрадовался — «вот, думаю, теперь и помереть не страшно, Доброправов не бросит, похоронят!» — «и справку какую по церковной истории или в службе, Доброправов скажет!». «Новая бурса», журнал «Заветы», Р. В. Иванов-Разумник, Шишков, Замятин — я напомнил о «Черноризце». И секретарь «Заветов» С. И. Постников пишет ему из Праги о «Черноризце». «Рукописи нет — где-нибудь в Петербурге, и должно быть, пропала на квартире — надо все заново!» Но это надо. Ведь это то, что он должен сделать и единственный, кто может сделать.

Доброправов занялся «Черноризцем». И, как когда-то в «Заветах», приходил читать. Называлось «Князь века», не «Черноризец».

Тогда Доброправову было 30 лет и у него был хороший голос баритон, а теперь под 40 и голос пропал. Я слушал, но поправлять не мог — в 40 не переделываются. «Мантия Святейшего!» — или никогда не сбросить? Или возстанавливать — тоже ничего не выйдет? Там был «Черноризец», теперь «Князь века» — «беллетристика» — очень красиво — какие эпитеты, образы! —

— Беллетристика — вещь в общечитании очень нужная и полезная. Пока женщины будут рождать детей, и «герои» погибать из-за «женщины», а «героини» краситься (украшаться) для «героев», пока будут устраиваться (и всуеяз!) публичные обеды, пока будет такое «ненормальное» и т. д. и т. д., как же без беллетристики? «Князь века» — книга имела огромный успех и здесь в зарубежном исчастье и там, на родине, в России — но ведь я то хотел другого — и пусть никакого успеха! — такой ведь особенный материал — — и ведь никто больше не может, не знают такого — — «Мертвые души» не беллетристика, «Полунощники» не беллетристика, можно сколько угодно читать и никогда не скучно. А «беллетристика» на раз. Во второй раз не возьмешь. Нельзя «перечитывать».

— Ну хотя бы раз!

— И о большем нам нечего думать. В самом деле, все литературное поколение после Гоголя, Толстого-Достоевского, Лескова — все мы — ведь второй сорт и вот нисколько не прибавили в книжную русскую казну.... разве наши пожелания....?

Про свои пожелания я мог говорить Доброправову, но встречаться в «Князя века» я не мог, — теперь уже не 50 листов, а говорилось о 30. Все-таки 30, это — я даже себе представить не могу. Одно только, чтобы закончил. А то все отдельные главы, и не поймешь, не то из середины, не то из конца...

А потом вдруг Доброправов исчез. И в последний год был у нас раза два. Я понял, хотя и боялся себе сказать: «Черноризца» он не пишет! И все как-то отводило от этого разговора. Доброправов рассказывал советские анекдоты:

«Ленин помер, а дело его живет!» (записка, оставленная ворами в ювелирном магазине).

«Русская колония празднует свой праздник!» (ответ иностранцу, что значит звонят колокола в Москве на Святой).

«Авторская скромность». (Надпись на деньгах).

И странно, рассказывал он очень просто, безо всякой «мантии» и ни одного «оперного» оборота.

Нынче на Пасху — 1 мая — забрались мы в церковь спозаранку. Пугали нас: трамвай в 8 прекратится и народу найдет, затолкают. Вот мы с 8-й и стали. Стою и дремлю и озноб — будет жарко, нечем дышать, вот наверху окно и отворено. Так — идешь по Никольской, а у Пантелеймона стоят по стене, ждут: мол, мол, привезут! — стою и жду. В церковь зашел Доброправов: к плащенице приложиться и свечку поставить. — Он был очень болен: крупозное воспаление легких, недавно из больницы. Но выглядел ничего — очень только бледный — а нарядный такой. Я свое: о «Черноризце». Но он рукой так — переносил поправил.

«Ну что нового на Олимпе?»

«Мне — на счет «Олимпа» — !? — и прошу: собрать бы те главы «Черноризца», что он написал, — и мне дайте, я придумаю!» И простились.

В последний раз. На Преполовение (среда 4-ой недели) помер: недели не пролежал, «вдруг одно легкое истлело» — скоротечная чахотка!

А когда он приехал в Париж, к кому я только ни приставал: «послушайте «Черноризца» Доброправов прочитает!».

«Какой Доброправов?» (а были: «какой Тихонравов?» — вижу, никто не знает!).

«Доброправов, автор «Новой бурсы» (нет, не слышали! — Разумник Васильевич, Доброправов помер!), автор «Новой бурсы», родной брат Левитова (с его «белой дорожкой», отрывшейся ему весной!) Слещова (с его «фе-фе-фофем»), Николая Вас. Успенского (с жестокими рассказами и жесточайшим концом: в Москве зарезался) русский из русских — — ».

Алексей Ремизов.

7.6.26.

БЕЗ ДОГМАТА

1.

Как это ни странно, но русские люди до сих пор чрезвычайно мало думают о смысле русской революции, вернее сказать: совсем не думают. Ведь нельзя же, в самом деле, считать умственной работой наивные попытки применить к русским событиям схемы французской революции с тем, чтобы говорить и гадать о «русском термидоре», о «русском бонапартизме», радоваться, когда удастся найти хотя бы отдаленное подобие, и за пределами «похожего» ничего не понимать и не видеть. — Аптекарьское занятие! Многие считают его «социологией» и даже наукою. Его бы и совсем отождествили с наукою, если бы не мешали другие схемы. — Немцы Виндельбанд и Г. Риккерт решили, что история не повторяется, а Риккерт присоединил к этому еще утверждение, будто историческое знание заключается в создании и группировке исторических фактов путем «отношения к ценности» неопределенного, бесконечно многообразного и бессмысленного эмпирического материала. Придумали даже особое слово: «идиография» (т. е. «описание частного»), и, прицепив этот ярлычок к истории, успокоились в сознании своей «научности». Вѣрили, что таким образом нашли смысл истории, хотя на деле ее обесмысливали, ибо смысл оказывался не смыслом самой действительности, а смыслом или, вернее, домыслом и притворством «историка». Несомненный и никем не отрицаемый факт неразрывной связи познаваемой исторической действительности с познающим ее историком подменили чисто теоретическим и абстрактным построением, именно — ложным утверждением, что познающий создает познание и познаваемое. На место правильного понимания исторического источника, как остатка и пережитка прошлого, более

того — как самого этого прошлого, хотя и данного нам стяженно и убедленно, выдвинулись ошибочные понимания его, как **следа**, оставленного прошлым на чем-то ином, или как **повода** к построению субъективных образов и воображаемых процессов, соответствия коих тому, что действительно было, установить нельзя, ибо данность действительного прошлого заранее отвергается. Вот уж, в самом деле, «бытие определяется сознанием». К сожалению только, скрывающееся за этим хилым, хотя и самолюбивым субъективным сознанием «бытие» на проверку оказывается совсем не бытием, а ненужным измышлением художочной мысли. Право, надо благодарить марксистов: они не дают забыть о бытии, упорно твердя, что им определяется сознание.

Итак, можно отметить два главных течения историко-философской мысли: «социологическое» или научно-обобщающее («номотетическое») и научно-индивидуализующее или идиографическое. Оба обесмысливают историческую действительность и исторический процесс; первое — тем, что оставляет вне поля своего рассмотрения все конкретно-индивидуальное и уходит в область абстрактных общих формул, второе же — тем, что отвергает не только «общее», а и самую историческую действительность, как таковую, и заменяет ее произволом субъективных построений... «Безжизненная схематичность» и «беспринципный субъективизм»: так можно определить основные пороки обоих течений. При всем том мы не отрицаем, что и в «социологизме» и в «идиографизме» искажаются весьма жизненные тенденции. Смысл и значение этих тенденций вскрыты в нашей «Философии Истории», которая пока остается недоступной большинству современников автора. Но не об этом сейчас речь; и оба направления в данной связи важны для нас лишь как симптомы упадка историзма. По той же причине поучительны и своеобразны их взаимопереплетения. Несомненно, что своею установкою на конкретно-индивидуальное (не своим субъективизмом или своею беспринципностью) идиографизм действительно историчен. Без конкретно-индивидуального, единичного и неповторимого истории нет. Именно потому мы и воспринимаем «исторический» роман Л. Толстого, как в величайшей степени неисторическое произведение. У автора «Войны и мира» просто не было органа для восприятия «исторического», т. е. специфичности прошлого, и, может быть, вообще чужого. Напрасно его ученик и подражатель будет помогать делу путем

словечек, стилистических закорючек и цитат. Всякая его цитата будет неуместною, хотя бы на волосок, а в этом волоске, в этом неуловимом восприятии специфического весь секрет историка. Не только обширнейшие и точнейшие знания, даже гениальное дарование, как у самого Толстого, не смогут слепого сделать зрячим; и самые «подлинные» цитаты и точные пересказы будут звучать фальшиво. Я готов выдать тайну такого не-исторического историка-романиста. — Его всегда занимает сходство с настоящим, отождествляемое им с «жизненностью». Если же при этом он еще ушиблен «идиографизмом», — он постарается принять позу скептического созерцателя. Пожалуй, подобная поза лучше, чем изливающийся в форму «исторического» романа метафизический блуд.

Боюсь читательского недоумения и искудования. — Стоит ли говорить о второстепенных и потому не заслуживающих наименования писателях, когда поставлен такой важный вопрос, как историзм? — К сожалению, не только «стоит», а и необходимо. Ведь прежде всего очень симптоматично, что наша литература едва ли может похвалиться подлинно историческим романом, если только не считать «Капитанскую Дочку». Это свидетельствует о длительном отсутствии вкуса к истории и понимания истории, а обилие **мнимо**-исторических произведений может лишь содействовать нашему анти-историзму. Не надо преуменьшать воспитательную роль изящной исторической литературы. Не из учебников, «книг для чтения» и университетских курсов приобретаются первые исторические впечатления, а именно из рассказов, повестей и романов. Таким образом, так называемая «историческая» изящная литература является не только симптомом анти-историзма и анти-национализма, но еще и средством их насаждения. Нам здесь существенна лишь симптоматичность факта. И право, перелистав историческую художественную литературу для подростков и взрослых, невольно задаешь себе вопрос: «а есть ли историзм и в специальной исторической литературе? свойственен ли он самим историкам, или же и они так же равнодушны к существованию исторического, как и русское общество в целом?» Идиографизм не помог писателям, избравшим исторические сюжеты, понять, что такое русская история, хотя именно в описании **частного** ему бы, казалось, и место. Впрочем, они, может быть, только сейчас о нем узнают. Но помог ли он историкам? способствовал ли росту исторического понимания у них? На все эти вопросы, пожалуй,

и совсем не ответишь без предварительного определения, хотя бы и самого общего, того, что такое историзм.

2.

Историзм прежде всего определяется чутьем и чуткостью к единственности, неповторимости и специфичности прошлого. Вместе с тем это прошлое воспринимается, как нечто из себя самого развивающееся, как обладающее диалектикою своего развития и органически целостное. Оно, далее, не оторвано от окружающего, не отвлеченно, а сращено со всем и непрерывно со всем связано, органически продолжаясь в самом настоящем. Можно поэтому исторически воспринимать и понимать и настоящее, которое не лежит за пределами истории. Именно потому у всякого настоящего есть **свое** прошлое, и один и тот же исторический факт являет разные свои стороны в зависимости от того настоящего, в связи с которым он рассматривается. Ибо всякий факт бесконечно многообразен заключает в себе бесконечное множество возможностей, которые уясняются и осуществляются лишь в последующем развитии. Этим объясняется **исторически-общее**, под которым надо разуметь не что-то отвлеченное, замкнутое в себе и в качестве такового повторяющееся, но — некоторый **основной** факт в раскрытии разных своих возможностей. Таким основным фактом является, например, революция, т. е. процесс перерождения государственности; разные же стороны революции обнаруживаются в революциях английской, французской, русской и тем позволяют понять (но не в отвлеченной формуле выразить), самое революцию, как один из основных фактов. И если социализм ошибается, отождествляя исторически-общее («основное») с отвлеченно-общим, т. е. уподобляет историческое естественно-научному, то идиографическое направление грешит отрицанием исторически-общего («основного»).

Вникая во внутреннюю связь и связность всех исторических явлений, что ярче всего обнаруживается в упомянутых сейчас «основных» фактах (в исторически-общем), мы понимаем, почему историк усматривает в прошлом не только «корни» или «начала» настоящего, но и само настоящее. Это неизбежно и нужно, однако это становится вредным и неисторическим занятием, как

скоро за настоящим в прошлом не усматривается специфичность самого прошлого и задача сводится к отысканию отвлеченно-общих формул. Вполне, с другой стороны, понятно, что полная конкретность немислима, если остается в пренебрежении момент национальный. Подлинный историзм всегда национален: как в том смысле, что воспринимает развитие культуры в неразрывной связи с развитием наций, так и в том, что он и «всемирную» историю понимает по отношению к народу историка и к миссии этого народа. В отрыве от национальной проблемы историзм вырождается в модное недавно у нас «ретроспективное мечтательство», причем часто в самой национальной истории внимание сосредоточивается не на своем, а на заносном, например — для истории русской — на быте, костюмах и зданиях 18-го в., на успехах европейского просвещения и т. д. Неудивительно, что расцвет историзма всегда связан с подъемом национального самосознания.

Итак, основным признаком историзма является сознание специфично-неповторимого в его связи и единстве с целым, а специфическое необходимо предстает и как национальное. Всего этого, однако, еще мало. Всякое историческое явление укоренено не только в национальном целом и не только в целом человечества, но еще и в сфере абсолютно значимого. Национально-культурное бытие получает смысл и оправдание лишь в том случае, если оно осуществляет абсолютно-ценную миссию; всякий момент развития приобретает смысл лишь чрез связь с этою миссией. Именно здесь источник учения об исторических идеях, односторонние и суженно выражающего историзм. И здесь же последнее объяснение связи между развитием историзма и развитием национального самосознания. Ибо здоровое и сильное национальное самосознание всегда определяется абсолютно значимыми и абсолютно оправдываемыми идеями, а идеи абсолютно значимые необходимо и историчны. И если подлинный и развитой историзм всегда национален, то и расцвет национального самосознания всегда выражается в некоторой новой историософской концепции. Такая концепция, освещающая и осмысляющая все прошлое, не является чем-то предопределяющим и роковым, связывающим свободное целополагание и свободную деятельность. Ведь она осмысляет все прошлое из настоящего и содержит в себе это настоящее со всею его свободною устремленностью к создаемому им будущему. Момент свободного творчества настолько мощен, что преодоле-

зает даже ложные историософические концепции. Так революционеры, исповедывающие марксистскую веру и, следовательно, признающие лишь необходимый, незыблемый, законом предопределенный ход развития, не замечают вопиющего противоречия между их верою в необходимость и их свободной деятельностью. Они проникаются пафосом творчества, хотя и мнимого, и воодушевлением борьбы.

3.

Не следует считать историзм качеством, присущим лишь историку-специалисту или даже только достигающим высшего своего развития лишь в историке-специалисте. Занятия историей, конечно, predisполагают к историзму, но историк может и совершенно им не обладать. В эпохи национального упадка он чаще всего и остается чуждым историзму, увлекаясь социологическими схемами или погружаясь в специальные изыскания, с общими историческими идеями и проблемами не связанные. Собираатель исторических источников, издатель-редактор их, библиограф, архивист и т. п. не обязательно обладают историческим чутьем и, как таковые, еще не в праве притязать на историзм. Даже автор специальной монографии или общего курса не необходимо является историчным, хотя бы он и был превосходным историком-ученым. Все это — банальные истины; но о них приходится настойчиво говорить, так как никто их в серьез не принимает. Именно потому от специалиста-историка ожидают ответов на те вопросы, на которые бы должны и могли отвечать сами. Почтительно склоняются перед его «научностью», не понимая, что «научность» по нынешним временам неизбежно ограничивается узкою специальностью и что всплывающие вопросы шире всякой «научности». Но надеяться в данном случае на специалиста-историка тоже самое, что воздерживаться от решения вопросов о бытии Божьем, бессмертии души, нравственно-религиозной деятельности и т. д. в надежде на «авторитетное» решение философа. Оттого то и случается, что в качестве философа (хотя бы и под иным наименованием) выдвигают Бухарина, а в качестве историка — Рожкова.

Историзм не постоянное свойство народа. Есть эпохи исторические и не-исторические, причем расцвет истории, как специфической науки, не всегда совпадает с первыми, хотя чаще

всего ими обуславливается и за ними следует. Историзм зарождается, когда в народе, т. е. в лучших выразителях его, пробуждается и стремится себя высказать национальное самосознание. Оно находит себя и свой язык в новой историософской концепции, содержащей те идеалы или цели, которые свободно себе ставит народ, и из них осмысляющей его прошлое. Эта концепция — конечно, если она органична и действительно народна, — не прошлое определяет будущим и не будущее прошлым, но раскрывает с большою или меньшею ясностью и полнотою сверхвременный идеал и сверхвременное существо народа. Она выражает природу народа, но природа здесь не необходимость и предопределенность, а сама свободная воля народа, осуществляющая себя во всей его истории. Когда русский человек говорит: «Коммунизм не соответствует духу русского народа», или: «Реставрация императорской России невозможна», он не покорно склоняется перед приятною или неприятною для него необходимостью, а либо думает: «Я вместе с моим народом не хочу коммунизма и реставрации», либо отрекается от своего народа. Конечно, сверх того он может еще и ошибаться (хотя и не в приведенных двух случаях).

Новая историософская концепция естественно увлекает и специалистов-историков. Они начинают ее развивать и обосновывать на историческом материале, устранять неизбежные наивность и недостаточность первой ее формулировки; и, таким образом, историзм проникает в сферу истории-науки. Во всяком случае, новая концепция становится и для специалистов-историков тем центром, около которого начинает обращаться их специальная работа. Они или защищают и раскрывают зародившиеся идеи, или борются с ними во имя других идей, либо во имя беспринципной научности. И долго еще после первой и пламенной идеологической борьбы поставленные ею проблемы остаются средоточием собственно-исторической работы. Так, русская историография до сих пор все еще не исчерпала и до конца не уяснила славянофильской проблемы о смысле реформ Петра.

Автор не хочет умалять значение исторической науки и таким образом ставить себя в положение не помнящего родства. — У исторической науки свои специальные задачи. Ее работа нужна и для историософских построений. Но надо ясно сознавать границы специальности, т. е. не требовать от историка-специали-

ста, чтобы он обязательно обладал историософским мирозерцанием и являлся высшею апелляционной инстанцией во всех спорах о верности и ценности той или иной историософской концепции. Это не его дело; и это может быть его делом лишь постольку, поскольку он — больше, чем специалист-историк. Если он сам притязает на роль верховного авторитета во имя своей «научности», надо ему напомнить о границах его специальности и деликатно «поставить его на место». Необходимо отделаться от гипноза научности (т. е. всегда — ограниченной специальности), который уже привел к нелепой вере в рефлексологию и марксизм. Отсюда не следует, что кто-нибудь, кроме историка-специалиста, может вполне конкретизировать и обосновать историософскую концепцию и что его критика не имеет существенного значения. Развитие историософии можно определить, как борьбу между интуитивной историософией и исторической наукою. Только в процессе этой борьбы и может историософская система приобрести полную ясность и обоснованность.

4.

Первые признаки русской историософии появляются в XVI веке — в послании инок Филофея Василию III, в распространении идеи «Русского Царства», как «Нового Израиля», в целом ряде религиозно-национальных легенд и преданий. Но только в XIX в., у славянофилов русская историософия выходит из мифологической формы и выливается в наукообразную систему идей. Славянофилы выдвинули Православие, как само вселенское христианство, и русский народ, как преимущественного исповедника и носителя его. Они попытались вскрыть в русском национальном укладе проявление основ Православия, усматривая их в отражающих догму «соборности» своеобразных взаимоотношениях между индивидуумом и целым, между «землею»-народом и властью, в специфичности правосознания, в крестьянском «мире». Тем самым определялось отношение России к инославному Западу; сначала — внутри самой России. Практически эта последняя проблема приняла форму оценки Петровской Реформы, оценки критической, но по замыслу славянофильства совсем не всецело отрицательной, и привела к борьбе с идеологами западной

культуры, как культуры единственной и универсальной. В аспекте «всеобщей» истории противопоставление России Европе необходимо и естественно вылилось в форму обще-исторической концепции, которую набрасывал уже А. С. Хомяков, упрощенно высказал Данилевский и еще более упростил, но вместе и видоизменил и обогатил К. Леонтьев. Православная Россия предстала, как особый религиозно-культурный мир со своими особыми задачами и со своею особою обще-человеческою миссией. К несчастью, русское национальное самосознание расплылось у большинства славянофилов в панславизме, главным образом, думаем, потому, что жизненные задачи России были основательно забыты и затемнены европеизовавшеюся империею и единственною точкою приложения для национально-русской политики казался славянский вопрос. Эта ошибка славянофилов, оплодотворившая, впрочем, «славяноведение» (В. И. Ламанский), была исправлена впервые указавшим на значение туранства К. Леонтьевым, все-таки славянофилом, но исправлена для судеб славянофильства слишком поздно.

Русские западники, сами имевшие за душой очень мало своего, да и этим немногим владевшие вопреки своему западничеству, сделали все возможное, чтобы уличить в «неоригинальности» своих врагов — славянофилов. Аргумент, уместный в устах славянофилов, оказался направленным именно против них и притом как упрек, хотя для нападавшего западника он должен бы, казалось, звучать похвалою. В атмосфере инсинуаций и поверхностного зубокальства появилось и утвердилось даже в учебниках обвинение славянофилов в «шеллингизме». Но достаточно ли это до сих пор импонирующее обвинение для того, чтобы отрицать национальное существо славянофильской идеи? Во-первых, установление сходства и сродства еще недостаточно для установления зависимости. Во-вторых, нет никакой нужды отрицать гениальность Шеллинга и Гегеля и утверждать, что оба они только заблуждались и фантазировали, а ничего истинного и абсолютно значимого так и не видели. Подобные утверждения совершенно не согласуются с духом историзма. В-третьих, нет вообще ни одного исторического явления, которое бы не стояло в связи с другими, не «влияло» и не испытывало влияний. Весь вопрос не в том, «влияла» ли германская философия на славянофилов, а в том, являются или нет славянофильские идеи, подобно

западническим, простым повторением западно-европейских. Отрицательный же ответ на этот вопрос неизбежен. — Славянофилы отталкивались от немецкого идеализма. В борьбе с ним они усматривали и его правду, и его ошибки, и свои новые и конкретные принципы. Они усваивали методы европейского философствования, но от этого не становились менее оригинальными, чем комбинируя идеи Декарта и Юма Кант или воспроизводивший мысли Дунса Скота Декарт. Такова была судьба русского самосознания, что оно вынуждено было выражать себя на уже готовом чужом языке, а создание своего языка предоставить будущему. Это ясно понимал не кто иной, как И. В. Киреевский, когда он обращался к изучению свято-отеческой литературы.

Как бы то ни было, развитие русской историософии пошло по пути, намеченному славянофилами; и мы затруднились бы найти в русской литературе какую-нибудь ценную историософическую концепцию, кроме славянофильской. И не случайно в период оживления нашего национального самосознания рано умерший русский мыслитель В. Ф. Эрн, произнес знаменательные слова: «Время славянофильствует». Нам, конечно, известно применение к истории России теории родового быта. Но разве это историософская концепция, а не внешняя прилагаемая к русской истории, и к тому же довольно бледная схема? Можно ли назвать именем историософии искания на Руси феодализма, связанные с именем Павлова-Сильванского, обобщающая книга которого, по справедливому замечанию его учителя и одного из крупнейших русских историков С. Ф. Платонова, «ниже ее автора»? Или «Очерки русской культуры» Милюкова? Или общие обзоры Рожкова и Покровского, который, впрочем, поталантливее Милюкова или Кизеветтера? Вне славянофильского построения не было и нет никакого. Из этого, впрочем, не следует, что славянофильская концепция достигла достаточного развития, получила обоснование и вышла из стадии первичной интуиции. Русская историческая наука уклонилась от того задания, которое поставило перед нею устами славянофилов русское национальное самосознание. Она, конечно, вовлекла в сферу своего рассмотрения отдельные проблемы, выдвинутые ими; но она просто прошла мимо системы их идей, как таковой. Этим мы несколько не желаем умалить специальные заслуги исторической науки в России. Мы лишь констатируем разрыв между нею и национальным само-

сознанием, ее самозамыкание в сфере своих специальных интересов. Поэтому мы и не находим в ней синтетического построения. Потому подростящее поколение, которое настроено национальнее, чем его отцы и деды, должно либо испытывать разочарование либо хвататься за марксистскую макулатуру.

5.

Здесь невольно всплывает имя В. О. Ключевского. Из двух «общих курсов» Русской Истории, которые должны быть признанными за лучшие, курс С. Ф. Платонова до сих пор остается в форме авторизованных автором записей его лекций и дает наиболее объективное и критическое изложение того, что сделано русской исторической наукой. Такова цель профессора и автора, не притязающего на историософское построение. Курс В. О. Ключевского, несомненно, уже проникнут синтетическим устремлением. В нем автор хочет дать связную и стройную систему, с первых же «лекций» ограничивая и определяя свою задачу и ясно давая почувствовать ее конструктивность. К тому же и по типу своего исторического мышления Ключевский прежде всего синтетик и конструктивист. Уступая Платонову в четкости мысли и глубине анализа, Ключевский обладал исключительной чуткостью к специфичности прошлого и ярким ощущением исторической стихии. И если он часто отделялся от проблемы красочной, но туманной метафорой или острым словом, то мало областей русской истории, где бы его необыкновенное историческое чутье не позволило ему показать новые пути или по новому осветить старые. Влияние Ключевского в русской историографии трудно преувеличить, чему не мешает то, что теперь, после трудов петербургской школы и, главным образом, А. Е. Преснякова, многие существенные для него построения нужно считать ошибочными. Но Ключевский же сумел пробудить интерес к русской истории в широких кругах общества. И тут ему помог его исключительный изобразительно-художественный талант, который сказывался преимущественно в сфере устного слова. Один из лучших русских стилистов, Ключевский отделял свои лекции до мелочей, но благодаря гениальному дарованию актера умел их повторять из года в год, как новые, как только что

рождающиеся, и оставлять в слушателях неизгладимое впечатление. Только слабая доля этого впечатления могла быть воспроизведена печатно. С чисто «профессорским» дарованием Ключевского связаны и специфические его недостатки, смягченные автором в редактированных им первых четырех томах «Курса», неприятно-явственные в записях, изданных Я. Л. Барсковым (в V т.).

Мы не хотим здесь касаться Ключевского как историка-ученого. Перед нами другой вопрос, более общий и не менее важный. — Если от кого либо можно было требовать историко-софской концепции, так именно от Ключевского. Удовлетворяет ли он нас в этом отношении? дает ли он удовлетворяющий нас ответ на задание русского национального самосознания? развивает ли славянофильскую систему или противопоставляет ей новую?

В свое время русское общество было неприятно поражено тою оценкою Александра III, которую дал Ключевский. А ныне всякому должно быть ясным, что не общество ошибалось. Очевидно, историк России плохо понимал ее современность. Славянофилы и Ф. И. Тютчев в свое время оценивали Николая I несравненно трезвее. Легко себе представить, какое впечатление на слушателей производили и каким успехом пользовались даваемые Ключевским и частью сохранившиеся в печатном курсе хлесткие характеристики императриц и императоров. Студенты радовались, находя в них «научное» обоснование их революционной ненависти к русскому правительству и осуждение русской современности. Правительство настораживалось и посматривало на популярного профессора с подозрением. Профессор же смешивал науку с публицистикой, часто и совсем неуместной. Нередко он в прошлом критиковал настоящее, и не потому, что знал о чем-то лучше. К чему эта суммарная характеристика маленьких немецких принцев и принцесс в связи с Екатериной II, характеристика близкая к шаржу? или ничего не дающая характеристика ее религиозного воспитания? К чему гражданская скорбь в форме варианта Соловьевского изречения по поводу эпохи Алексея Михайловича: «не успели еще завести элементарной школы грамотности, а уже поспешили устроить театральное училище»? Обидно и стыдно сказать, но — лицо крупнейшего русского историка искажается ехидною улыбочкою поповича-нигилиста.

Все это мелочи, скажут нам, искусные ораторские или лек-

торские приемы для того, чтобы удержать внимание слушателей. — Не думаю. И случайно ли, является ли только техническим приемом обличительное направление, господствующее в «Курсе»? Мастерски излагая крестьянский вопрос, автор сосредоточивает внимание на ошибках и неудачах правительства и забывает сказать о том, сколько положительного эти ошибки и неудачи все-таки давали. Сопоставьте спокойное и обстоятельное изложение академ. Платонова в его новой книге «Москва и Запад» с соответствующими страницами Ключевского. Вам тогда удастся уловить односторонность второго, едва ли искупаемую блеском художественной формы. Право, читателю «Курса» остается непонятным, как могло создаться Московское Государство и как оно могло удержаться и пережить «Смуту», если все было так плохо и грубо. Это не субъективное впечатление. — Сам автор нередко довольно низко оценивает русскую культуру с высоты европейской. Так, он подчеркивает «византийско-церковную черствую обрядность», хотя в лоне этой обрядности росли и жили и Дионисий, и Ртищев, и Неронов, и Аввакум. «Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас было совсем не так» (лекция XL), как будто с горечью замечает автор. Но мы то знаем, что такое европейское (коммунистическое) уравнение, и готовы прибавить: «Слава Богу, что не всегда у нас было так, как в 1918 — 1920-х годах». «Сословия различались не правами, а обязанностями, между ними распределенными». Разве это плохо? разве это хуже, чем трафарет европейского индивидуализма, по меньшей мере столь же одностороннего? Обличая земские соборы с европейско-демократической точки зрения, Ключевский пишет: «Как могли сложиться такие условия, откуда было вырасти таким понятиям на верхневолжском суглинке, столь скупо оборудованном природой и историей?» (л. XL). И он склонен видеть, миссию России в том, что мы «спасали европейскую культуру от татарских ударов», «оберегали тыл европейской цивилизации» и несли «сторожевую службу» (ч. III, стр. 491 сл. изд. 1923 г.).

Неужели только в этом наша миссия? — Лестно для русской «жертвенности», которая довела русских людей до попытки превратить Россию в опытное поле для коммунизма, но не лестно для нашего национального самосознания. Но верно ли? И не по разному ли понимаем мы миссию? Для Ключевского «основная

задача» местной, т. е., в частности, русской истории, сводится к «познанию природы и действия исторических сил в местных сочетаниях общественных элементов» (ч. I, стр. 23). Местная история, по его мнению, — подготовительная стадия для общего социологического построения. Миссия народа кажется ему эпифеноменом национального самосознания, который он наблюдает, не вдаваясь в рассмотрение его смысла и значения (стр. 14). Иногда, правда, слова его звучат несколько иначе (стр. 39), но до признания абсолютного смысла и значения миссианской идеи он никогда не доходит. Да и не может дойти. Ведь он всегда и во всем оставался типичным релятивистом, уклоняясь от всяких вопросов об абсолютном. Он, скажут, отличал их от науки. Ну что же? — Тем хуже для науки. Вот один пример — рассуждение в пользу понимания житий святых, как поэтического творчества. — «В каждом из нас есть более или менее напряженная потребность духовного творчества, выражающаяся в наклонности обобщать наблюдаемые явления. Человеческий дух тяготеет к хаотическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений, скучает непрерывно льющим их потоком; они кажутся нам навязчивыми случайностями и нам хочется уложить их в какое-нибудь русло, нами самими очерченное, дать им направление, нами указанное. Этого мы достигаем посредством обобщения конкретных явлений. Обобщение бывает двойное. Кто эти мелочные, разбитые или разорванные явления объединяет отвлеченною мыслью, сводя их в цельное мирозерцание, про того мы говорим, что он философствует. У кого житейские впечатления охватываются воображением и чувством, складываясь в стройное здание образов или в цельное жизненное настроение, того мы называем поэтом» (Л. XXXIV, ч. II, стр. 312).

Если так, то понятно, почему Ключевский «методологически» сосредоточивается на политических и социально-экономических процессах, относя «идеи» к «области индивидуального», почему он — как, впрочем, и большинство русских историков, — историю духовной культуры из «Курса» своего исключает. Он обращается к ней лишь для того, чтобы дать одну из своих блестящих, но по преимуществу современно-полемических характеристик или чтобы мимоходом объяснить «духовную цельность древне-русского общества» греческим влиянием, а не природою самого этого общества. Но если все влияние, да влияния, — где

же само испытывающее влияние? Мы считаем «методологическое» (на самом деле не только методологическое) самоограничение Ключевского «понятным». — Взятая сама по себе сфера социально-экономических отношений — преимущественная сфера всяческого релятивизма. А что касается до сферы политической, так автор берет ее вне ее абсолютных оснований, суживает ее до проблемы внешней организации власти и к идее государственности чувствителен менее, чем Карамзин.

Приведем несколько примеров. — Благодаря односторонней характеристике Киевского периода (очередной порядок княжеского владения) теряется идея государственного единства русской земли, как и государственное значение Церкви. С другой стороны, за счет той же государственной идеи преувеличены вотчинные моменты в Северо-восточной и в московской Руси, остро воспринимаясь автором еще и потому, что он сопоставляет до-Петровскую Русь с теоретическими построениями юристов XIX в. Только недостаточною чуткостью к проблеме русской государственности можно объяснить невнимание к выводам «Очерков истории Смуты в Московском государстве». В России же после Петра остается нераскрытым государственный смысл периода временщиков, во время которого слагался новый правящий слой. Даже мимоходом брошенная глубокая и плодотворная мысль о связи освобождения крестьян с развитием бюрократии должного развития не получает.

Итак, даже у Ключевского нет историософской идеи и развитой общей концепции. Занимая одно из первых мест среди мастеров русской исторической науки, и он принадлежит прошлому, и он не может стать опорным пунктом для вновь пробуждающегося русского самосознания. Оно же, как и в эпоху славянофилов, все еще задает свои проблемы русским людям и русским историкам. Историки изменились, вступив в обладание непредставимым в эпоху славянофилов историческим материалом и доведя до высокой степени совершенства и точности технику своей науки. Но усложнилась и проблематика национального сознания. К основным славянофильским проблемам присоединяются новые. Проблема «Россия-Европа» через проблему «Россия-Азия» расширяется в идею России-Евразии, как особого культурного мира и особого континента. А в связи с этим само национальное сознание получает новый смысл, уже не позволяющий сопостав-

лять это сознание с ограниченным и местным национализмом Европы. Оно раскрывается как единство невиданного по своему протяжению и размаху культурного мира, культуры-материка и сказочного государства. С другой стороны, небывалый революционный процесс ставит проблему новой России, как ее общечеловеческую историческую миссию. Ибо нельзя судить по ложным предчувствиям и блужданиям русского коммунизма. Но, внимательно всмотревшись в его судьбы и его влияние, уже можно судить о том, что будет, если распыляемые в нем величие и мощь направятся на свою подлинную, коммунизмом искажаемую цель.

Л. П. Карсавин.

Париж.
1926, октябрь.

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Извинения автора

Читатель: Опять! Как можно ставить такую бездарную тему? Вы возражаете традиции толстых журналов 90-х годов. Неужели с вас мало возов бумаги, исписанных народниками и марксистами?

Автор: Вы могли бы прибавить к ним и Александра Блока. Не говорит ли вам это имя о том, что мы имеем здесь дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего?

Читатель: Но откуда ваша уверенность в том, что после стольких почтенных предшественников вам удастся сказать новое слово?

Автор: Это не сомнение, просто счастливая позиция. Я хочу сказать: наше общее историческое место. Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество — видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Мы — пусть пигмеи — вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может-быть, высота креста, на который поднята Россия... Наивным будет отрицать все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, как целина, ждущая плуга. Что ни тема, то испочатые золотые россыпи.

Читатель: Гм, вот не подумал бы, читая весь тот вздор, который пишут о России люди, ущемленные революцией.

Автор: Да, ущемленные... Те, что не хотят видеть. Простите за несколько классических сентенций: истина открывается лишь бескорыстному созерцанию. Очищение от стра-

стей — необходимое для нее условие. — И прежде всего, от духа злобы.

Читатель: Посмотрим, насколько вам это удастся. Мне это кажется даже чем-то бесчеловечным.

Автор: «Человек есть нечто, что должно быть преодолено». Еще одна цитата.

Читатель: Допустим, но все-таки ваша тема... Она уже потому мне представляется дикой, что революционная Россия изжила противоположение интеллигенции и народа. Правда, в значительной мере, ценой уничтожения интеллигенции. Эта тема русской историей уже исчерпана.

Автор: Вот это именно мне и хотелось бы исследовать.

More Scholastico

Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, это слово, т. е. понятие, обозначаемое им, существует лишь в нашем языке. Разумеется, если не говорить об *intelligentia* философов, которая для Данте, напр., значила приблизительно то же, что «бесплотных умов естество». — В наши дни европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но не удачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем.

Правильно определить вещь — значит почти разгадать ее природу. В этом схоластики были правы. Трудность — и немалая — в том, чтобы найти правильное определение. В нашем случае мы имеем дело с понятием историческим, т. е. с таким, которое имеем долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно создано не потребностью научной классификации, а страстными — хотя идейными — велениями жизни. В этой жизни полны определенного и трагического смысла нелепые на Западе антитезы: «интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы должны исходить из бесспорного: существует (существовала) группа, именующая себя русской интеллигенцией, и признаваемая за та-

ковую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывавшейся над своеобразием своего положения в мире: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем «истории русской литературы», «русской общественной мысли», «русского самосознания» много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции, в одном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция автентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буддийской церкви, например, если будем игнорировать церковную литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется слепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое-чем он прислушается и к голосу противников, взор которых обострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не то, самое главное, что составляет природу вещи — ее *essentia*.

Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы сразу же убеждаемся, что он не способен подарить нам готового, «канонического» определения. Каждое поколение интеллигенции определяло себя по своему, отрекаясь от своих предков и начиная — на десять лет — новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила себе она сама, в вечной жажде самосожжения.

«Incende quod adorasti. Adora quod incendisti.»

Завет св. Ремигия «сикамбру» (Хлодвигу) весьма сложными литературными путями дошел до «Дворянского Гнезда», где в устах Михалеви́ча стал исповедью идеалистов 40-х годов.

И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

За идеалистами — «реалисты», за «реалистами» — «критически мыслящие личности» — «народники» тож за народниками — марксисты — это лишь один основной ряд братоубийственных могил.

Но, отрицая друг друга, отрицая даже «интеллигенцию», как таковую (марксизм), братья-враги одинаково видели ее: живую, историческую личность в ее скитальчестве от Новикова и

Радищева до наших дней. Во всех «историях» русской интеллигенции мы встречаем одни и те же имена. Несогласные в определении понятия, канонические авторы, согласны в его объеме. Из объема мы и должны исходить. Для исторического понятия объем не произволен, а дан. Признаки определения должны его исчерпать, не насилуя, как платье, сшитое по мерке. Попытаемся установить этот объем, ощупью, примеряя и исключая то, что не является русской интеллигенцией.

Прежде всего, ясно, что интеллигенция — категория не профессиональная. Это не «люди умственного труда» (*intellectuals*). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже профессоров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интеллигенции ощущает себя почти, как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписанный кодекс — чести, нравственности, — свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как интеллигенция связана с классом работников умственного труда.

Что же, быть может, интеллигенция — избранный цвет этих работников, людей мысли по преимуществу? И история русской интеллигенции есть история русской мысли, без различия направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, Победоносцева, Козлова, Федорова, Каткова, — беря наудачу несколько имен в разных областях мысли.

Идея включить Феофана Затворника в историю русской интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на народную жизнь было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из кумиров русской интеллигенции.

Попробуем сузиться. Может быть, еп. Феофан, Катков и Победоносцев не принадлежат к интеллигенции, как писатели «реакционные», а интеллигенцию следует определять, как идейный штаб русской революции? Враги, по крайней мере, единодушно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и считают возможным ее уничтожение — не мысли же русской вообще, в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была гото-

ва смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря уже о том, что очень значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут быть причислены к революционерам славянофилы? И еще: заметьте, с какой нежностьюистики русской интеллигенции говорят о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи «Бородинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все прощают — и не только, как временное падение, искупленное сторицею. Нет, при всем своем политическом пафосе, русская интеллигенция проявляла иногда и бескорыстие, умела ценить героическую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Умела ценить идеализм, как таковой. — Да, но не всякий. И не всякого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофилов, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печерина, Вл. Соловьева, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева — как богословов, — уж, конечно, не по пристрастию к католичеству.

Есть в истории русской интеллигенции основное русло — от Белинского, через народников к революционерам наших дней. Думаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное место. — Никто, в самом деле, столько не философствовал о призвании интеллигенции, как именно народники. — В этот основной поток втекают разные ручьи, ничего общего с народничеством не имеющие, которые говорят о том, что интеллигенция могла бы идти и под другими знаменами, не переставая быть самой собой. Вдумаемся, что объединяет все эти имена: Чаадаева, Белинского, Герцена, Писарева, Короленко — и мы получим ключ к определению русской интеллигенции.

У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику и общественное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагасом к жизни, как ее норма и канон: Эта «идея» не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба,

рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, поражаемых матерью-землей. Афины против Геи — в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской трагедии, т. е. трагедии русской интеллигенции.

Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Они не вымышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, подслушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (Страхов). Постараемся раскрыть их смысл. Идеинность есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость (знаменитое определение Михайловского). Последняя является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинной философской *ratio*. К чистому познанию он предъявляет, по истине, минимальные требования. Чаше всего он берет готовую систему «истин», и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость — этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии. Догмат определяет характер поведения (святости), но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, освящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Такая система обыкновенно неспособна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системой догм, и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а буквальная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся мучениками.

«Беспочвенность» вытекает уже из нашего понимания идейности, отмежевывая ее от других, органических форм идеализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лишь более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму, уже несовместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отрыв становится срывом, который грозит каждому поколению русской интеллигенции, — не одним шестидесятникам. Срыв отчаяния, безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когда

идея, висящая в воздухе, уже не поддерживает падающего, уже не питает, не греет, и становится видимо для всех призраком.

Только беспочвенность, как идеал (отрицательный), объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по своему, тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский, и множество других. Все они почвенники, — слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонтьеву войти в Пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой — демоном, а не святым, — чем этим гуманнейшим русским людям: здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Вл. Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно «беспочвенной почве»: вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности.

Так, примеряя одно за другим памятные имена русской культуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интеллигенции подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и раскрывая друг друга, они дают необходимое и достаточное определение: русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.

В дальнейшем мы делаем попытку, в размышлении над общезвестными процессами русской истории, дать посильный ответ на вопросы: как возможна интеллигенция, в указанном понимании, когда она возникла в России и может ли она пережить революцию?

История русской интеллигенции есть весьма драматическая

история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог — и даже два.

ПРОЛОГ В КИЕВЕ

Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или с потопления Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для трагедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая связь. Принятие христианства варварским народом всегда есть акт крутой и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилась и германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов. У нас процесс истребления славянской веры, повидимому, протекал даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитивнее германского. Призвание варягов — иначе, иноземное завоевание, кладущее начало русской государственности, — тоже не наш лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национально чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это не помещало пришельцам и на Западе и у нас быстро раствориться в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственный характер варяжских экспедиций на Русь не столь резко выражен, подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начальной легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемных сторожей на службе городских республик.

Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли — по крайней мере, на памяти истории — как сила чуждая, против народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мнихи» древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее интеллигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, а вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность... Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Они были учителями, признанными, хотя и не всегда терпеливыми. При всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жестоких нравов, церковный проповедник далек от сознания пропасти, отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой живет русская интеллигенция середины XIX века.

Киевская культура аристократична. Она не питается народным творчеством. Она излучается в массы из княжеских теремов и монастырей, и хотя рост ее в народной среде протекает страшно медленно, но органично и непрерывно. Конечно, это только прививка на грубом славянском дичке, но он весь перерабатывается под действием прививки. И эта органичность вполне понятна. Новое не ложится поверхностным слоем, «культурным лоском», поверх старого быта. Оно завоевывает прежде всего сердцевину народной жизни — его веру. Здесь нет сомнений и разлада. Суеверия, обвивающие веру, не разлагают ее. И вера освящает всю культуру, всю книжную мудрость, которая идет за ней.

Византинизация русской жизни, конечно, не закончилась в Киеве. Массы, быть может, лишь к XVII веку органически, в своем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и княжеские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой» Царегородского дворца. Так отголоски церемониала Константина Багрянородного докатились до черных курных изб Заочья и Заволжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, поражают нас на русском Севере строгостью быта, аристократической утонченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» обхождения.

И все же именно в Киеве заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих пор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того, в нем всегда видели наше великое национальное преимущество, залог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду славянскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше коренное отличие, в самом исходном пункте, от латинского Запада. На первый взгляд, как будто, славянский язык церкви, облегчая задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчужденной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но какою ценой? Ценой отрыва от классической традиции. Великолепный Киев XI-XII веков, восхищавший иноземцев своим блеском и нас изумляющий остатками былой красоты, — Киев создавался на византийской почве. Это, в конце концов, греческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной культуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, философская, литературная традиция Греции отсутствует. Переводы,

наводнившие древне-русскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного: проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древней церкви осталась почти чуждой Руси. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (VI-VIII), монахи читали Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читали римских историков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключом — латынью — чтобы им отворились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура — задолго до Возрождения.

И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить, как дар («а прочее приложится»), научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но за то эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, рождался университет, — в «Золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, — ничего, кроме подвига пещерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, так о й летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.

Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ, (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский язык гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это, ведь, тоже потому, что на нем, и только на нем говорил и молился русский народ, не сбываясь на чужую речь, и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры) находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).

Все это так. Но этот великолепный язык до XVIII века не был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский язык, несмотря на обилие

иностранных терминов, лишен некоторых основных слов, без которых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостями» и «воззрениями» — мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого. А за органичность древней Руси — глубоким расколом Петербургской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции.

Монах и книжник древней Руси был очень близок к народу, — но, пожалуй, чересчур близок. Между ними не образовалось того напряжения, которое дается расстоянием и которое одно только способно вызывать движение культуры. Снисхождению учителя должна отвечать энергия восхождения — ученика. Идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы. Это как движение жидкости по трубам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда достигается непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по слову Данте:

Tutti tirati son e tutti tiranu —

«все влекутся и все влекут».

Русская интеллигенция конца XIX века столь же мало понимала это, как книжники и просветители древней Руси. И как в начале русской письменности, так и в наши дни русская научная мысль питается преимущественно переводами, упрощенными компиляциями, популярной брошюрой. Тысячелетний умственный сон не прошел даром. Отрекшись от классической традиции, мы не могли выработать своей, и на исходе веков — в крайней нужде и по старой лени — должны были хватать, красть (*compilare*), где и что попало, обкрадывать уже нищую Европу, отрекаясь от всего заветного, в отчаянии перед собственной бедностью. Не хотели читать по гречески, — выучились по немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Липпертов. От киевских предков, которые, если верить М. Д. Приселкову, все воевали с греческим засильем, мы сохранили ненависть к древним языкам, и, лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его «вершками», засыхающей ботвой.

ПРОЛОГ В МОСКВЕ

Москва для нас имя, покрывшее всю северную Русь. В нее как в озеро, во внутреннее море (вроде Каспия) вливались все ручьи, пробившиеся в северных мшистых лесах. Теперь мы знаем,

что главное творческое дело было совершено Новгородом. Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии, и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское, или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом, который отныне неизгладим в хоре народов-ангелов. Мы знаем с недавних пор, где нужно слушать этот голос. В церковном зодчестве, деревянном и каменном, в ослепительной новгородской иконе, в особом тоне святости северных подвижников. Без ложной гордости мы говорим теперь о гениальности древнего русского искусства и не колеблясь отдаем ему предпочтение перед искусством западного средневековья и Возрождения. Не столь явен для всех голос святости. И это отчасти потому, что расслышать его отчетливо удастся лишь в XIX веке. Святые, современные или почти современные нам, конечно восходят в самом типе своей праведности к древне русской традиции духовной жизни, как архангельские деревянные церкви, строенные десятилетия тому назад, уходят в новгородскую древность. Иначе и быть не может. Иначе — откуда? Откуда цветение православной культуры в уже чужеродной, враждебной ей среде, если не на старой почве, на крепких корнях?

Но самая постановка этого вопроса возможна лишь благодаря страшной немоте древней Руси. Она так скупа на слова и так косноязычна. Даже образы своих святых она не умеет выразить в их неповторимом своеобразии, в подлинном, русском их лике, и заглушает дивный колос плетелами переводного византийского красноречия, пустого и многословного. Не в житиях находим ключ к ним, а в живой, современной, часто народной (даже апокрифической) традиции.

Ююкийный князь Е. Н. Трубецкой, плененный северно-русской иконой и открывшимся ему за ней миром духовной жизни, характеризовал ее, как «умозрение в красках». В красках, в сложных и мудрых композициях новых икон (особенно в начале XVI века) Русь выражала свои глубокие догматические прозрения. Только в красках умела она повествовать о некогда живом, именно русском культе святой Софии. Но ведь «умозрение» открывается в слове. В этом его природа — природа Логоса. Отчего же софийная Русь так чужда Логосу? Она похожа на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может

повествовать о них только знаками. А ее долго считали дурочкой только потому, что она бессловесная!

И замечательно — этот паралич языка еще усилился со времени ее бегства с просторов Приднепровья. Уже не сказать ей Слова о полку Игореве, не составить Повести временных лет. От новгородско-московских столетий нам осталась почти одна публицистика, отрывочный младенческий лепет, который говорит лишь об усилиях осознать новый смысл или, чаще всего, недуги государственного и церковного бытия. Не умножился скудный запас книг, спасенных в киевском разорении. И еще дальше отодвинулся культурный мир, священная земля Греции и Рима с погребенными в ней кладами. А удачливый и талантливый Запад, овладевший их наследством, повернулся к Руси железной угрозой меченосцев да ливонцев, заставив ее обратиться лицом к Востоку. На ближнем Востоке не было культур и не было еретических соблазнов. Но на Востоке были пространства, подобные пустыням, зовущие и коварные, шаг за шагом увлекающие в даль, не дающие остановиться, обстроиться, возделывать родную землю. Начинается еще не законченная история бродячей Руси, слержанной от расползания тяжелой рукой Москвы. Прощайте, северные, святые безмолвия! Начинается:

«Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма»...

Тяжек был для Руси ее первый «счастливый» дар, дар первоучителей словенских; еще тяжелее оказался дар второй: пространство. Но эта тема — пространства (колонизации) — давно осознана и разработана русскими историками.

Культура северной Руси в зените к началу XVI века. Дальше уже начинается склон. XVI век — это декаданс, хотя и утонченный, ее живописного мастерства; XVII — уже чрезвычайное огрубение. Города, цветущие в XV-XVI веках, хиреют в XVII, вместе с богатством и предприимчивостью былых Садко и Афанасиев Никитиных. Закрепощается народ к земле, все население к службе и тяглу. Гибнут остатки мирского самоуправления. Грубеет и тяжелеет быт, оплотневает, словно, действительно, пропитавшись татарской, степной стихией. Само православие начинает ощущаться, как стояние на уставе, как быт, как «обрядовое исповедничество».

Конечно, рисовать два столетия Москвы, как сплошной упадок, несправедливо. Нельзя закрывать глаза на подвиг создания

великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, которые живы в узах сыромятных ремней. Но страшно, что эти силы громче всего говорят о себе — в бунте: Ермак, смута, Разин, раскол! Как не поразиться, что единственный великий писатель московской Руси — мятежный Аввакум! Москва полнокровна, кряжиста, если говорить о ее этнических силах. Но уже развивается старческий склероз в ее социальном теле. Такая юная годами, она видимо дряхлеет в XVII веке, и дряхлость ее сказывается во все растущем общественном недомогании, в потребности общих перемен и вместе с тем неспособности органически осуществить их. Государственное бытие становится невозможным в примитивно варварских формах, но силы инерции огромны, быт свят, предание и православие одно. Со времени Грозного оборона государства во все растущей мере зависит от иностранцев. Немецкая слобода, выросшая в Москве, стоит перед ней живым соблазном. Как разрешить эту повелительно поставленную судьбой задачу: усвоить немецкие хитрости, художества, науку, не отрекаясь от своих святынь? Возможна ли простая прививка немецкой техники к православному быту? Есть люди, которые еще в наши дни отвечают на этот вопрос утвердительно. Но техника не падает с неба. Она вырастает, как побочный плод, на древе разума: а разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно здесь, в «словесной», разумной ее части, должно быть заполнено чем-то. В десятилетие и даже в столетие не вырастает национальный разум. Значит, разум тоже будет импортироваться вместе с немецкими пушками и глобусами. Иначе быть не может. Но это страшно. Это означает глубокую деформацию народной души, вроде пересадки чужого мозга, если бы эта операция была возможна. Жестоко пробуждение от векового сна. Тяжела расплата — люди нашего поколения ощущают это, как никогда. Но другого пути нет. Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в истории России и русской интеллигенции.

Интеллигенция? Знаете ли, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе были отправлены за границу — в Германию, во Францию, в Англию — 18 молодых людей. Ни один из них не вернулся. Кто сбежал неведомо куда, — спился, должно быть, — кто вошел в чужую жизнь. Нам известна карьера одного из них — Никанора Олферьева Григорьева, который в Англии стал

священником реформированной церкви и даже пострадал в 1643 году от пуритан за свою стойкость в новой вере. Не будем торопиться осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую тюрьму. Но нас все же поражает эта легкость национального обезличения: раствориться в чужеземной стихии, без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее! Этот факт сам по себе обличает породившую его культуру и грозно предупреждает о будущем.

За ним идут другие. Не привлекательны первые «интеллигенты», первые идейные отщепенцы русской земли. Что характеризует их всех, так это поверхностность и нестойкость, подчас моральная дряблость. Чужая культура, неизбежно воспринимаемая внешне и отрицательно, разлагала личность, да и оказывалась всего соблазнительнее для людей слабых, хотя и одаренных, на их несчастье, острым умом. От царя Димитрия (Лжедмитрия) к кн. Ивану Андреевичу Хворостинину, отступившему от православия в Польше и уверявшему, что «в Москве народ глуп», «в Москве не с кем жить», — к Котошихину, из Швеции поносившему ненавистный ему московский быт, — через весь XVII век тянется тонкая цепь еретиков и отступников, на ряду с осторожными поклонниками Запада, Матвеевыми, Голицыными, Ордыными-Нащокиными. Чья линия возьмет верх? Мы уже — задним числом, конечно, — пытались показать неизбежность революционного срыва. Раскол был серьезным доказательством неспособности московского общества к мирному перерождению. В атмосфере поднятой им гражданско-религиозной войны («стрелецких бунтов») воспитывался великий Отступник, сорвавший Россию с ее круговой орбиты, чтобы кометой швырнуть в пространство.

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Действие первое.

По настоящему, как широкое общественное течение, интеллигенция рождается с Петром. Конечно, характеристика «беспочвенности» не применима к титану, поднявшему Россию на своих плечах; да и «идейность» не выражает пафоса его дела — глубоко практического, государственного, коренившегося в исто-

рической почве и одновременно в потребностях исторического дня. Но интеллигенция — детище Петрово, законно взявшее его наследие. Петр оставил после себя три линии преемников: проходимцев, выплеснутых революцией и на целые десятилетия заполовивших авансцену русской жизни, государственных людей — строителей империи, и просветителей-западников, от Ломоносова до Пушкина поклонявшихся ему, как полубогу. Восемнадцатый век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Беспочвенность рождалась из пересечения двух несовместимых культурных миров, идейность — из повелительной необходимости просвещения, ассимиляции готовых, чужим трудом созданных благ — ради спасения, сохранения жизни своей страны. Понятно, почему ничего подобного русской интеллигенции не могло явиться на Западе — и ни в одной из стран органической культуры. Ее условие — отрыв. Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наши дни в странах пробуждающегося Востока: в Индии, в Турции, в Китае. Однако, насколько мы можем судить, там нет ничего и отдаленно напоминающего по остроте наше собственное отступление: нет презрения к своему быту, нет национального самоуничтожения — «мизопатрии». И это потому, что древние страны Востока были не только родиной великих религий и художественных культур, но и глубокой мысли. Они не «бессловесны», как древняя Русь. Им есть что противопоставить европейскому разуму, и они сами готовы начать его завоевание. Пожалуй, лишь Турция, как более бедная мыслью (если не смешивать ее с арабским миром Ислама), готова идти в отрицании своего быта и веры по стопам русских вольтерьянцев. И здесь причина одна и та же.

Сейчас мы с ужасом и отвращением думаем о том сплошном кошунстве и надругательстве, каким преломилась в жизни Петровская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своего главы и независимости. Епископские кафедры раздаются протестантствующим царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолизам. К надругательству над церковью и бытом прибавьте надругательство над русским языком, который на полстолетия превращается в безобразный жаргон. Опозорена святая Москва, ее церкви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка обстраивается немецкими палатами и церквями никому неизвестных,

календарных угодников, политическими аллегориями новой Империи. Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализациями России, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко шенкам до льва. И провалившаяся у них «живая» церковь блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия обезвредить и обезличить национальные силы православия.

Не знаю, было ли все это неизбежно. Неизбежны ли самоубийственные формы опричины Грозного, коммунизм большевистской революции? Откуда эта разрушительная ярость всех исторически обоснованных процессов русской истории? Они протекают с таким «запросом», что под конец не знаешь — и через столетия не знаешь: — что это, к жизни или к смерти?

Петру удалось на века расколоть Россию: на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества) — та пропасть, которую пытается завалить своими трупами интеллигенция XIX века. Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой, — национальной. Школа и книга делаются орудием обезличения, опустошения народной души. Я здесь не касаюсь социальной опасности раскола: над крестьянством, по безграмотности своей оставшимся верным христианству и национальной культуре, стоит класс господ, получивших над ним право жизни и смерти, презиравших его веру, его быт, одежду и язык и, в свою очередь, призираемых им. Результат получился приблизительно тот же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением подлающих неизбежному обрусению.

Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра? Империю, созданную им: этот огромный дом народов, на четыре моря, на шестую часть земного шара, где в суровой школе зрели для творческого пробуждения многомиллионные пласты европейско-азиатской целины? Где русский гений впервые вышел на пространства всемирной истории, и с какой силой и правом утвердил свое место в мире! Петербург с кольцом своих резиденций — единственный в мире город, трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию, и тяжесть материков плывет,

как призрачная флотилия, в туманах с легкостью окрыленной мысли. Отречемся ли мы от развенчанного Петербурга перед вновь торжествующей Москвой?

Людям, которые готовы проклясть империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово, только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой и Достоевский немислимы без школы европейского гуманизма, как немислим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия.

Как примирить это с нашей схемой сосуществования двух культур? Для всех ясно, что эта схема откровенно «схематична». Действительность много сложнее, и даже 18 век и русское барство, особенно в нижних слоях его, много народнее, чем выглядит на старинных портретах и в биографиях вельмож. Не все получали свой последний лоск в Версале. В саратовских и пензенских деревушках — я говорю о дворянстве (см. у Вигеля) — XVII век затянулся чуть не до дней Екатерины. Обе культуры живут в состоянии интра-молекулярного взаимодействия. Начавшись революционным отрывом от Руси, двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения. Переменяясь реакциями, но все с большей ясностью и чистотой звучит русская тема в новой культуре, получая водительство к концу XIX века. И это параллельно с неуклонным распадом социально-бытовых устоев древне-русской жизни и выветриванием православно-народного сознания. Органическое единство не достигнуто до конца, что предопределяет культурную разрушительность нашей революции. Ленин, в самом деле, через века откликается Петру, отрывая или формулируя отрыв от русской культуры впервые к культуре приобщающихся масс.

Вглядимся в интеллигенцию первого столетия. Для нас она воплощается в сонме теперь уже безымянных публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, которые, сплотившись вокруг трона, ведут священную борьбу с «тьмой» народной жизни.

ни. Они перекликаются с Вольтерами и Дидеротами, как их венецианская повелительница, или ловят мистические голоса с Запада, прекраснодушествуют, ужасаются рабству, которое их кормит, тирании, которой не видят в позолоченном абсолютизме Екатерины. Над этой толпой возвышаются головы истинных подвижников просвещения, писателей, уже рвущихся к народности, Фонвизинных, Новиковых, масонов. — Ломоносов и Державин вообще перерастают «интеллигенцию». — Но что единит их всех, так это культ империи, неподдельный восторг перед самодержавием. Нельзя забыть, в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие делала общее дело с монархией. Выражаясь упрощенно, она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825-1881) и, наконец, с народом против царя (1905-1917). В пышных дворцах Екатерины, в Царском Селе поэты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследников Петровых еще не разошлись. Лавр венчает меч, Державин поет Потемкина, и все на коленях перед Фелицей. Никакой финиш не претит, как не кажется льстивой в наши дни в России дифирамб пролетарской музыки. Гармония между властью и культурой, как во дни Августа и Короля-Солнца, ничем не нарушается. Интеллигенция, оторванная от народа и его прошлого, не порвала связей со своим классом и с царем (царицей). Здесь ее почва, суррогат почвенности; только через самодержавие она связывается с историческим потоком русской жизни.

АРБАТ

Действие второе

Между Царским Селом и Арбатскими переулками, новой резиденцией русской интеллигентской мысли, маленькая интермедия на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г., почти незаметное в политической истории государства Российского, неизгладимая веха в истории русской интеллигенции. Здесь совершается ее отрыв от самодержавия, отныне и навсегда она покидает царские дворцы.

В оценке этого тяжелого для обеих сторон разрыва нельзя забывать, что интеллигенция начала XIX века осталась верной себе и традиции Петра. Не она первая изменяет монархии, монархия изменяет своей просветительной миссии. Перепуг Екатерины,

Шешковский, гибель Радищева и Новикова — в этом русская интеллигенция исповица. Она с ужасом встретила восстание крестьянства при Пугачеве, и безропотно смотрела на его подавление. Отвечать ей пришлось за французских якобинцев да за дурную совесть Екатерины. Интеллигенция простила ей все и в светлые дни Александра боготворила ее имя. С Александром интеллигенция всходит на трон, уже подлинная, чистая интеллигенция, без доспехов Марса, в оливковом венке. Этот кумир, обожаемый, как ни один из венецносцев после другого Великого Александра, — заключит, над трупом своего отца, безмолвный договор с молодой Россией: смысл его был в хартии вольностей, обеспечивавших дворянство, только что перенесшее режим Павла. Этому договору Александр изменил, и всю жизнь сохранял сознание своей измены. Потому и не мог карать декабристов, что видел в них сообщников своей молодости. Не личный страх определил измену Александра — за корону, за власть, — но все же страх: страх перед свободой, неверие в человека, неверие в свой народ. В реакции он остался таким же оторванным от национальной и религиозной жизни народа, каким был во дни свободолюбивых иллюзий. Отметим: русская монархия изменяет Западу не потому, что возвращается к Руси, а потому, что не верит больше в свое призвание. Отныне и до конца, на целое столетие, ее история есть сплошная реакция, прерываемая несколькими годами половинчатых, неискренних реформ. Смысл этой реакции — не шлодотворный возврат к забытым стихиям народной жизни, а топтание на месте, торможение, «замораживание» России, по слову Победоносцева. Целое столетие безверия, уныния, страха: предчувствие гибели. В самые тихие «бытовые» годы Николая I, Александра III, все усилия и весь строй государства ориентированы на оборону от призрака, от тени Банко. Пять виселиц декабристов — это «кормчие звезды» Николая I, пять виселиц первомаковцев освещают дорогу Александра III. Русская монархия раскрывает в этом природу своей императорской идеи: «не царство, а абсолютизм». Ключ к ней на Западе, как и ключ к идеологиям русской интеллигенции. Революция во Франции убила абсолютизм просвещенный, и реставрация могла на несколько десятилетий оживить абсолютизм охранительный. Русский абсолютизм повторил, симпатически, этот излом, не имея своей революции, и этим самым создал карающий призрак революции.

Декабристы были людьми XVIII века по всем своим полити-

ческим идеям, по своему социальному оптимизму, как и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция. Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не зачинатели нового. Вдумываясь в своеобразие их портретов в галлерее русской революции, видишь, до чего они, по сравнению с будущим, еще почвенны. Как интеллигенция XVIII века, они тесно связаны со своим классом и с государством. Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что прежде всего офицеры русской армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом 12 года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей. В их лице сливаются две линии птенцов гнезда Петрова: воинов и просветителей. На них в последний раз в истории почил дух Петра.

Неудача их движения невольно преломляется в наших глазах его утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская. Не нам решать этот вопрос. Против обычного — и в революционных кругах — понимания говорит весь опыт восемнадцатого века.

Крушение западных идеалов заставляет монархию Николая I ощупью искать исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит формулу реакционного народничества: «православие, самодержавие и народность». Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего народен. Православие в виде отмеренного компромисса между католичеством и протестантством, в полном неведении мистической традиции восточного христианства; самодержавие, понятное, как европейский абсолютизм, народность, как этнография, как московские вариации в холодном классицизме Тона, переживание Хераскова в Кукольник: не вполне обрусевший немец на русской государственной службе, имя которому легион, именно так только и мог понимать Россию и ее национальную традицию.

Это был первый опыт реакционного народничества. С тех пор мы пережили еще русский стиль Александра III и православную романтику Николая II. Нельзя отрицать, что к XX веку познание России делает успехи, но вместе с тем глубокое падение культурного уровня двора, спускающегося ниже помещичьего дома средней руки, делает невозможным возрождение националь-

ного стиля монархии. Она теряет всякое влияние на русское национальное творчество.

Однако, нельзя забывать, что именно в Николаевские годы в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его социального крушения, складывается, до известной степени, национальный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времени Отечественной войны, и дворянство ближе подходит к быту, языку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно национальной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксакова, Лескова, Мельникова, Толстого... О, конечно, это почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальная традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт, в котором еще живет народ, делается предметом пристального и любовного изучения. Иногда кажется, что барин и мужик снова начинают понимать друг друга. Но это самообман. Если барин может понять своего раба (Тургенев, Толстой), то раб ничего не понимает в быту и в миру господ. Да и барское понимание ограничено: видят быт, видят психологию, но того, что за бытом и психологией — тысячелетнюю традицию, религиозный мир крестьянства — «христианства» — еще не чувствует.

Но не забудем — и это основной, глубокий фон, на котором разворачивается новая русская история — что существует церковь, прочнее монархии и прочнее дворянской культуры, церковь, связывающая в живом опыте молитвенного подвига десять столетий в одно, питающая народную стихию, поддерживающая холодно-покровительственное к ней государство, — и что церковь именно в XIX веке обретает свой язык, начинает формулировать догмат и строй православия.

И вот, среди этой общей тяги к почвенности, к возвращению на родину, заражается русская интеллигенция новой формации, предельно беспочвенная, отрешенная от действительности и зажигающая в катакомбах «кружков» свою неугасимую лампаду. Она просто не заметила св. Серафима, она не принимает православия постных щей и «квасного» патриотизма. Ее историческая память, как и память царя, подавлена кровью мучеников: Радищевых, Рылеевых. Характерен самый уход из бюрократического Петербурга в опальную Москву, где в барских особняках Поварской и Арбата, вслед за фрондирующими вельможами XVIII века, появляются новые добровольные изгнанники: юные, даровитые, полные духовного горения, — но почти все обескровленные.

С пламенностью религиозной веры, какой мы не видим у просветителей старого времени, и в которой улавливаются отражения религиозной реакции Запада. юные философы утверждают на Шеллинге, на Гегеле, как на камне вселенской церкви; диалектически выводят из «идеи» весь мир данного и должного, «рефлектируют», созерцают, разлагают, — и все для того. чтобы в конечном счете связать себя новым моральным постулатом: найти внутренний подвиг, дать обеты, навсегда преодолевающие мир пошлой действительности. С этим миром интеллигенцию 30-х и 40-х годов связывает еще одна непорванная нить: культура класса, дворянский быт, в котором она живет, еще не рефлектируя над ним, ибо он сливается для нее, как и все конкретное, в голом понятии действительности. Идейность этих десятилетий не могла уже быть превзойдена: это эссенция абстрактной веры. Но на пути беспочвенности предстоял еще один тягчайший подвиг.

Каковы смысл и ценность этого идейного отшельничества? Когда власть отрекается от своей культурной миссии, интеллигенция возжигает очаг чистой мысли. Именно в эти годы она осваивает самые глубокие и сложные явления европейской культуры; место поверхностного «просвещения» прошлого века занимает немецкая философия и гуманистическая наука. Этим заканчивается европеизация России, начавшаяся с париков и бритых бород и завоевывающая теперь последние твердыни разума. Здесь, в 30-е и 40-е годы, рождается русская наука — прежде всего историческая и филологическая, — которая к концу века импортирует и Западу. Только здесь дано культурное завершение дела Петра, и вместе с тем достигнут предел законной европеизации. Дальнейшее западничество русской интеллигентской мысли будет бесплодным и косным тверждением задов.

От Шеллинга и Германии к России и православию — таков «царский путь» русской мысли. Если он оказался узкой заросшей тропинкой, виной был политический вывих русской жизни. Бурное разложение дворянской России требовало творческого руководства власти. Монархия, поглощенная идеей самосохранения, становится тормазом, и политически активные силы, которые некогда окружали Петра, теперь готовятся к борьбе с династией. А в этой борьбе славянофилы не вожди, и не попутчики. Их мир действительности, по которому они тоскуют, — в романтическом прошлом, в Руси небывалой; от России реальной

их отделяет анархическое неприятие государства. В этом их право на место в истории русской интеллигенции. Но поскольку они находят или осмысливают для себя Церковь, они приобретают, в свернутом состоянии, всю Россию, прошлую и настоящую, — ту, которая уже уходит, но не ту, что рождается в грозе и буре. Утверждаясь на ней, они уходят от русской интеллигенции, которая, однако, любовно хранит память о них, почитая своими за общие ратения в катакомбах, за отрешенность идейного подвига, хотя он и выводит их из подземелий на бытовую русскую почву.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ

Действие третье

Вполне мыслимо было бы выводить родословную семидесятников непосредственно от людей сороковых годов: представить Белинского и Герцена спускающимися в народ и концентрирующими в социализме свою политическую веру. Но русская жизнь смеется над эволюцией и обрубаёт ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить. Таким издевательством истории было вторжение шестидесятников.

Все, что имели сказать поповичи, было, в сущности, уже сказано дворянской интеллигенцией. Поколение отрешенных гегельянцев сделалось родоначальником русского либерализма и даже западного консерватизма (Чичерин, Катков), но самые яркие его представители кончали свой век с евангелием материализма и социализма. Оно послушно повторило процесс разложения левого гегельянства в антропологии Фейербаха и католического романтизма в сенсуализме утопистов. Этот перелом падает на 30-е годы, и еще не изучен во всех подробностях. Повидимому, Герцену принадлежит активная роль соблазителя. Во второй половине 30-х г.г. он уже покончил с философским идеализмом, проповедует физиологию и обращает в свою веру Белинского и Бакунина. Разрыв с Грановским, который не хочет отказаться от бессмертия души, — но дело Герцена выиграно. Попав на Запад в 1847 г., он переживает революцию 48 года, в качестве законченного и страстного социалиста французской школы.

Но дворянство социально разлагается, — оно не в силах пережить «эмансипации» и теряет культурную гегемонию. Разночинцы вытесняют его с командующих высот, но принимают часть его

духовного наследства. По самой природе своей, они должны были поддержать интеллигентскую, а не почвенную мысль, традицию западничества, а не славянофильства. Сами они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского «прогресса». Идеи западников они сообщали грубость мужицкого слова, до нельзя упростили все, и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 г. В рабоче-крестьянской молодежи наших дней мы вправе видеть тот же психологический тип, что в разночинцах 60-х годов, с соответствующей поправкой на уровень. Недаром старые большевики воспитывались на Писареве, который к началу XX в. переживает в революционных кругах настоящее воскресение.

Старая традиция и старый уровень русской культуры не гибнут с этим нашествием варваров. Пережив тяжелые для них 60-е годы, они продолжают расти и крепнуть преимущественно в почвенных, «реакционных» направлениях русской мысли. Вместе с тем линии русской интеллигенции и русской культуры все более расходятся. К XX в. это уже две породы людей, которые перестают понимать друг друга. Но их духовная значительность и культурный уровень обратно пропорциональны исторической действительности. Нужно ли повторять, что здесь мы занимаемся только «интеллигенцией»?

Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их отрицанием отходит на задний план идейность, и на сцену на короткий момент выступает чистый «нигилист». То что литературно его представляет дворянин Писарев — безупречный джентльмен — может быть понято только в свете семидесятского народничества. Интеллигентные дворяне отныне увлекаются потоком разночинцев, а не обратно, как было хотя бы с Белинским в 40-х годах.

Повидимому, нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком,

оголенном мышлении — чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души. По крайней мере, русские художники всех направлений, от Тургенева до Лескова, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигилистом, Толстой прошел мимо него только потому, что не нашел в своей палитре подходящих красок: он не умел смеяться и не любил малевать чорта.

Не трудно показать, и много раз показана — отрицательная связь, существующая между духом русского православия и нигилизмом. Отсутствие мира гуманистических ценностей, среднего морального царства, делает богоотступника уже не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа идет прежде всего из семинарий. Недавно мы познакомились и с патриархом этих взбесившихся бурсаков, развращавшим еще в 40-е годы юного Фета: с жутким Иринархом Введенским. Но, конечно, демоны шестидесятников не одни «мелкие бесы» разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям — и готовность отдать за них жизнь; маска цинизма — и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомерная — сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей — разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни — таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания, в которую нам не мешает вглядываться пристальнее: в ней ключ к бескорыстному героическому большевизму «старой гвардии».

В анархизме 60-х годов еще нет политической концентрации воли. Поскольку он отрицает царизм, он становится родоначальником русской революции. И в историю ее он вписывает самую мрачную страницу. «Бесы» Достоевского родились именно из опыта 60-х годов; по отношению к 70-м они являются несправедливой ложью. 60-е годы: это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3.000.000 голов, идеализация Разиновщины и Пугачевщины, ужасное, дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин — бессознательно, быть может, — учится организационному и тактическому имморализму.

Это второе по времени освобождение «бесов», скованных веригами православия. Всякий раз взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным. И вдруг этот

бесовский маскарад, без всяких видимых оснований, обрывается с началом нового десятилетия. 1870 год — год исхода в народ. Неожиданный, изумительный подвиг, аскетизмом своим возвращающий нас в Фиваиду, или, по меньшей мере, в монтанистскую Фригию, совершается теми тысячами русских юношей и девушек, которые воспитаны на Писареве и Чернышевском, на Бокле и Бухнере, иные побывали в коммунах, и по основам мировоззрения мало чем отличаются от нигилистов. Вот уж подлинно: чистым все чисто. Но откуда же взялись девственники и мученики в этом аду, от которого они даже не отрекаются?

И здесь доля вины за эту апорию падает на схематичность нашего изложения: нам пришлось многое упростить, выпустить связующие нити, идущие от 40-х годов к 70-м; не нашлось места Добролюбову, человеку типично переходного времени (50-е г.г.), обойдены народолюбивые тейлени «Современника», гражданская муза Некрасова. Все это почки 70-х г.г., в век Базарова. Да и Чернышевский не то же, что Писарев, — хотя, впрочем, менее всего семидесятник.

Но как ни раздумывай в поисках корней народничества, оно необъяснимо до конца, как всякое религиозное движение: это взрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии, почти незаметной для глаза в латентном состоянии. Ее можно угадывать в неистовстве Белинского, в тоске Добролюбова, в идеологическом аскетизме 40-х годов. И все же: перед нами стихийное безумие религиозного голода, не утоленного целые века.

Идейный багаж юных подвижников невыразимо скуден; отправляясь в пустыню, они берут с собой, вместо евангелия, «Исторические письма» Лаврова: так и спят на них, положив под изголовье. За это евангелие и идут на смерть, как некогда шли люди за сугубое аллилуйя. Святых нельзя спрашивать о предмете их веры: это дело богословов. Но читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, любви всепрощающей — к народу, предающему их, — нельзя не воскликнуть: да, святые, только безумец может отрицать это! Никто из врагов не мог найти ни пятнышка на их мученических ризах.

За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных со-

циалистов обратиться к искусству 70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников — всюду возносится сорванная с киота икона Христа: Крамской, Polenov, Ге, Некрасов, К. Р., Надсон, не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловеченный, слишком нежный, может раздражать людей консервативной церковной традиции. Но еще больший вопрос, чей Христос ближе к Подлиннику.

В одном своем автобиографическом произведении Михайловский вспоминает о сильном впечатлении, какое на него, юношу, произвела картина Семирадского: — «Суд над христианами при Нероне». Характерно, что он, не колеблясь, почувствовал: христиане — это мы. А наших гонителей, жандармов, прокуроров, надо искать среди язычников.

Атеисты-народники отзываются о Христе всегда с величайшим уважением. Они проникнуты сознанием, что социализм обосновывается в христианской этике.

Д. С. Мережковский с большой убедительностью вскрывал христианские черты в творчестве Некрасова и Глеба Успенского. Их можно восстанавливать по скудным библиографическим фрагментам, какие нам остались, и для многих революционеров той эпохи, — конечно, не для всех. Ни в ком, быть может, они не поражают так, как в Александре Дмитриевиче Михайлове, великом организаторе «Народной Воли». Тот, кто читал его удивительное письмо к родителям после смертного приговора, скромное и благородное, трепещущее любовью и радостным ожиданием казни, тот не забудет имени Христа, завершающего его, завершающего всю жизнь человека. Этот дворянский сын, такой нежный, преданный сын (террорист урывает дни для свидания со стариками), юный красавец с холмоной русой бородой, впоследствии неумолимый конспиратор, «дворник», кого любили и боялись все в партии, — проходил свою народническую Фиваиду на Волге, в старообрядческом селе. Конечно, нелепые идеи о потенциальной революционности раскола привели его сюда. Он живет около года в крестьянской избе среди верующих людей, подражая им во всем, часами простаивая на молитве, с лестовкой в руках, отбивая поклоны... Об успехах, даже о попытках пропаганды с его стороны мы ничего не слышим; но в Саратове он признается товарищам, что находит особое удовлетворение в этой жизни. Что же, это

удовольствие актера, хорошо вошедшего в роль? Нелепое предположение для Михайлова. Пусть, почти наверное, Михайлов не был христианином, тем более церковным — он должен был находить в душе отклик этому православному быту, заражаться чужой верой, — и, во всяком случае, чтить ее.

Религиозный ключ к народникам и народолюбцам дает не только имя Христа, но и особое отношение к мученикам раскола. Когда в Шлиссельбурге другая праведница, более сурового склада, Вера Николаевна Фигнер, получила возможность читать книги, она вспоминает, что ничто так не потрясало ее в русской истории, как образы боярыни Морозовой и протопопа Аввакума. Через 200 лет мученикам двуперстия откликаются мученики социализма. Это дает право понять природу нового движения, как христианской секты, сродной тем, что возникли на почве раскола, бегунам, беспоповцам, взыскующим града, с эсхатологической устремленностью, с жадной огненной смертью.

Движение, в идее утверждающее крайнее западничество, разоблачает себя, как русская религиозная секта. Да, это уже не борьба за дело Петрово... Аввакум — против Петра, воскреснув, расшатывает его империю. Каким тонким оказался покров европейской культуры на русском теле! Ведь, это уже не всякая дворянская школа. Розночинство берет немецкое «последнее слово», на медный пятак. Его хватает ровно настолько, чтобы опустошить русские мозги, но оно бессильно перевоспитать «натуру». Запад дает, как некогда «жиловство», новые символы и догматы. Но идолам молятся, как иконам, по православному.

И вдруг — с 1879 г. — бродячие апостолы становятся политическими убийцами. Они объясняют это сами своим политическим опытом, поумнением. Историком новое безумие может показаться горше первого. Но объяснение правильно: это срыв эсхатологизма. Царствие Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже 9 лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Помните, у Гаршина, красный цветок, в котором для безумного сосредоточилось мировое зло? Как нынешние апокалиптики видят в большевизме воплощенного антихриста, так народолюбцы увидели его в царе.

Эти страшные годы борьбы не прошли для них бесследно, не могли не запятнать их голубиной чистоты. Партия террористов уже со всячинкой. Среди нее уже работают провокаторы. Один

из предателей после 1 марта всходит вместе с героями на эшафот. Не гнушаются ложью, и принимают сотрудников из III отделения. Дисциплина, моральные требования очень высоки: но ищут доблести солдата, а не христианских добродетелей. Вероятно, многие сорвались и погибли в этом бесчеловечном деле. Но другие донесли до эшафота или сохранили на четверть века в каменных мешках Шлиссельбурга сердце, полное веры и любви. Митрополит Антоний видел их и благословил в 1905 г.

Но кровь не прощает. Мученики, становясь палачами, обречены на гибель. Поколение, вынесшее, как свой цвет, как чистейшую жертву, — цареубийц, должно погибнуть и без преследований правительства. Отметим для многих, оставшихся в живых, религиозный исход. В 70-е годы «маликовцы», Н. В. Чайковский, Фрей... В 80-е годы толстовцы. Другие, «рenegаты», среди них загадочный Лев Тихомиров, редактор «Народной Воли», — кончают православием.

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Действие четвертое.

Люди 40-х годов и народники 70-х представляют крайние вершины русского интеллигентского сознания. Дальше начинается распад этого социологического типа, идущий по двум линиям: понижения идейности, возрастания почвенности. Русская интеллигенция агонизирует долго и бурно: она истекает кровью в настоящей, не умоэротической ужас, народной революции. Интеллигенция принадлежит к тем социальным образованиям, для которых успех губителен; они до конца и без остатка растворяются в совершенном деле. Дело интеллигенции — европеизация России, заостренная, со второй половины XIX века, в революции. Победы революции наносят поэтому интеллигенции тяжкие раны. Вот даты их: 1 марта 1881 г., 17 октября 1905 г., 25 октября 1917 г. Из них уже первая смертельна. На 1 марта, если не по времени, то по существу, русская мысль (не интеллигентская, а русская), ответила явлением Толстого и Достоевского. По разному, но с одинаковой силой они отрицают западнический идеал интеллигенции и делают возможной строительство русской культуры на древней, допетровской почве. Интеллигенция была смущена, но не смогла ответить отлучением.

Она приняла в себя сильно действующий, хотя и медленный яд, который через четверть века начал видимо разлагать ее сознание. Но количественно, в культурной работе России интеллигенция преобладает — по крайней мере, до первой русской революции.

Она не может умереть, потому что дело, которое она себе поставила, сначала, как апокалиптический идеал, чем дальше, тем больше становится русским государственным делом. Дворянская Россия с 1861 г. безостановочно разлагается. Самодержавие не в силах оторваться от дворянской почвы и гибнет вместе с ней. Замороженная на 20 лет Победоносцевым Россия явно гниет под снегом (Чехов). Интеллигенция права в своем ощущении гнилости 80-90 годов, хотя духовно, в глубине национального сознания, эти годы, как часто годы реакции, были, быть может, самыми плодотворными в новой русской истории. Но общественное тело явно требует хирурга. Революция, убитая Достоевским в идее, оправдывается уже политической необходимостью. Отсюда воскресение революционного идеала и движения в конце 90-х годов.

Жизнь интеллигенции этих десятилетий, расплюсченной между молотом монархии и наковальней народа, ужасна. Она смыкает свои бездейственные ряды в подобие церкви, построенной на крови мучеников. Целое поколение живет в тени, отбрасываемой Шлиссельбургской крепостью. Оно подавлено идеей мученической смерти: не борьбы, не подвига, не победы, а именно смерти.

«О, зачем не лежит твой истерзанный труп
Рядом с нами, погибшими братьями?».

терзает себя Якубович, поэт-каторжник, идейный наследник Народной Воли.

В сущности, настоящим гимном русской революции была не бездарная Лавровская марсельеза, а похоронный марш:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу...»

И даже в новом революционном приливе 1900 годов демонстрации студенческой молодежи чаще всего связаны с похоронами: Шелгунова, Михайловского, Бунакова, кн. С. Н. Трубецкого... И как настоящие политические демонстрации, первомайские

и другие, они всегда безоружны, их смысл всегда в избииении — нагайками, шашками — беззащитных, несопротивляющихся людей. Это всегда жертва, и не бескровная; единственная, но глубокая политическая идея ее: из крови мучеников восстанут новые борцы.

Новых идей до появления на сцену марксизма не поступает; их боятся, как ереси. Весь смысл этой секты в хранении чистоты и «заветов». Кодекс общественной этики вырабатывает мелочную систему запретительных норм, необходимых, чтобы сохранить дистанцию перед врагом, с которым нет сил бороться. Враг этот откровенно — русское государство и его власть. Умственный консерватизм навсегда остается главным признаком идейно-чистой, пассивно-стойкой русской интеллигенции в ее основном, либерально-народническом русле.

Для России и эта формация людей не бесплодна. Вытесненные из политической борьбы, они уходят в будничную культурную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссе, школ и больниц. Вся земская Россия создана ими. Ими, главным образом, держится общественная организация, запускаемая обленившейся, упадочной бюрократией. В гуще жизненной работы они понемногу выигрывают в почвенности, теряя в «идейности». Однако, остаются до конца, до войны 1914 г., в лице самых патриархальных и почтенных своих старцев, безбожниками и анархистами. Они не подчеркивают этого догмата, но он является главным членом их «Верую». Душа этой религии, впрочем, не в догмате: она в жертве, которая составляет неотъемлемую основу народнического мировоззрения.

Революционная лава, остывая в земском, трудовом народничестве, принимает облик демократического либерализма. Социализм, если не линяет до утопии, то отодвигается в туманное будущее. Семидесятники ненавидели либерализм, который, ответившись от идейного ствола 40-х годов и окрыленный, было, коротким десятилетием реформ, питается всего больше модной англо-манией. Остывшие народники конца века могли уже подать руку конституционалистам английской школы. Такова формула будущей партии «Народной Свободы». Но либерализм не создает ни одной новой идеи; он несет вместе с народничеством вахту у знамени «хранимых заветов».

Появление марксизма в 90-х годах было настоящей бурей

в стоячих водах. Оно имело освежающее, озонирующее значение. В марксизме недаром получают крещение все новые направления — даже консервативные — русской политической мысли. Это тоже импорт, разумеется, — в большей мере, чем русское народничество, имеющее старую русскую традицию. Но в научных основах (все-таки научных!) русского марксизма были моменты здорового реализма, помогшие связать интеллигентскую мысль с реальными силами страны.

Россия, под победоносцевскими льдами, социально переродилась. Новые классы, — рабочие, промышленники — приобщаясь к «просвещению», начинают реальную, а не утопическую классовую борьбу. Плеханов оказался пророком: рабочий был той точкой опоры, куда должен быть приложен революционный рычаг. Пролетарий, оторванный от народной (т. е. крестьянской) почвы, сам сделался почвой, на которую мог осесть революционный скиталец. Русская социалдемократия, несомненно, самое почвенное из русских революционных движений. В нем, практически, профессионалы революции, путем радикального упрощения своего интеллигентского сознания, сливались с верхушкой «сознательных пролетариев», образуя не новую интеллигенцию, а кадры революционных деятелей. В этом свете понятен особый пафос классовой идеи в России, и особая ненависть к интеллигенции в марксистском лагере. Для него «классовый» изначально «почвенный», «интеллигентия» — мир старый, отрешенной кружковщины XIX века.

Конечно, и в марксизме, особенно русском, живет, хотя и темная, религиозная идея: по своей структуре революционный, (не реформистский) марксизм является иудео-христианской апокалиптической сектой. Отсюда он сделался в России не только рассадником политических буржуазных идеологий (Струве) но и богословских течений. В отличие от народничества, которое, по своей отрешенности, могло развиваться только в сектантство, марксизм в социально-классовом сознании своем и догматизме системы тайл потенции православия: они и были вскрыты вышедшими из него вождями новой богословской школы.

Молодое народничество социалистов-революционеров идейно ничего не приносит в сокровищницу заветов, хотя оказывается более чутким к веяниям культуры. Оно воскрешает в политической борьбе опыт Народной Воли, более грозный и дей-

свенный на фоне растущего движения масс. Террор дал нескольких героев с чертами христианского мученичества, но морально разложился еще скорее народовольчества. Революция была уже делом, а не жертвоприношением. И потому авантюризм и провокация необычайно быстро убили жертвенную природу террора: Азеф и Савинков — Каляева и Бадмашева. Но народничество уже нашло путь к деревне, возделанной за несколько десятилетий земским плугом; к 1905 году «смычка» интеллигенции с народом была уже совершившимся фактом.

Нельзя обойти молчанием еще одной силы, которая в эту эпоху вливалась в русскую интеллигенцию, усиливая ее денационализированную природу и энергию революционного напора. Эта сила — еврейство. Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости силой европейского «просвещения», оказавшись на грани иудаистической и христианской культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму. При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток.

К 1905 году все угнетенные народности царской России шлют в революцию свою молодежь, сообщая ей «имперский» характер.

Революция 1905 г. была уже народным, хотя и не очень глубоким, взрывом. И в удаче и в неудаче своей она оказалась губительной для интеллигенции. Разгром революционной армии Столыпиным вызвал в ее рядах глубокую деморализацию. Она была уже не та, что в восьмидесятые годы: не пройдя аскетической школы, новое поколение переживало революцию не жертвенно, а стихийно. Оно отдавалось священному безумию, в котором испепелило себя. Дионисизм выражался в эротическое помешательство. Крушение революции утопило тысячи революционеров в разврате. От Базарова к Санину вел тонкий мост, по кото-

рому прошло почти все новое поколение марксистов. Лучшие впитывались творящейся русской культурой, слабые опускались, чтобы всплыть вместе с накипью русского дна в октябре 1917 г.

Я сказал, что интеллигенцию разлагала ее удача. После 17 октября 1905 г. перед ней уже не стояло мрачной твердыни самодержавия. Старый режим треснул, но вместе с ним и интегральная идея освобождения. За что бороться: за ответственное министерство? за всеобщее избирательное право? За эти вещи не умирзют. Государственная Дума пародировала парламентаризм и отбивала, морально и эстетически, вкус к политике. И царская и оппозиционная Россия тонула в грязи коррупции и пошлости. Это была смерть политического идеализма.

И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала интеллигенцию в рациональное и европейское, и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое главное, быть может: личные силы интеллигентского общества были впитаны православным возрождением, которое подготавлилось и в школе эстетического символизма и в школе революционной жертвенности.

За восемь лет, протекших между 1906 г. и 1914 г., интеллигенция растаяла почти бесследно. Ее кумиры, ее журналы были отодвинуты в самый задний угол литературы и отданы на всеобщее посмеище. Сама она, не имея сил на отлучение, на ритуальную чистоту, раскрывает свои двери для всякого, кто снисходительно соглашается сесть за один стол с ней временным гостем. В ее рядах уже преобладают старики. Молодежь схлынула, вербующая сила ее идей ничтожна.

И, однако, изжито ли старое противоположение: «интеллигенция и народ»? Изменяя революции, интеллигенция забыла о народе. Что там?

Из столыпинской деревни доносится голос хулигана, но она уже шлет в город своих поэтов. В ней совершаются какие то сдвиги, с которыми бывшая интеллигенция уже утратила связь. Тогда-то раздался голос часового на башне: Блок поднял брошенную тьму: «интеллигенция и народ», и указал на пропасть, все еще зияющую. Пророчил гибель и тогда уже звал: «Слушайте революцию!». А из низов, из темной чернотенной глубины ему

отзывался нутряной злобой крестьянский голос: Карпов, «Пламя».

Война заглушила все голоса. В ней остатки интеллигенции утонули, принесся себя в жертву России, и в этой жертве утопили остатки революционной совести.

КРЕМЛЬ

Действие пятое

Что такое народ и что такое большевики 1917 года, по отношению к интересующей нас проблеме интеллигенции? Легче и проще ответить на второй вопрос.

Есть взгляд, который делает большевизм самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего более ошибочного. В большевизме, правда, доживает множество отдельных элементов русского радикального сознания, — что облегчает темному слою «работников просвещения» сотрудничество с ним. Но самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции: большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции.

Преодоление интеллигенции может совершаться и совершается многими путями. Если не говорить об органической национальной идее, которая в корне меняет тип «идейности», то почвой для оседания кочевой интеллигенции может быть всякое подлинное «дело». Для многих такой почвой была наука. Люди сороковых годов — Буслаевы, Соловьевы — находили свою почву в исторической и филологической науке, нигилисты 60-х годов — Сеченовы, Мечниковы — в естествознании. Наука несет с собой традицию, всечеловеческую связь, — пусть не национальную, но все же историческую почву. Личность включается в цепь поколений, в определенном звене ее, ее дело определяется уже не ею самой, а коллективным разумом. Но и всякое профессиональное дело, взятое, как призвание, с чувством личной ответственности, выводит из кочевого быта. Врач, инженер, поскольку они преданы своему делу, уже не интеллигенты, или остаются интеллигентами в каком-то верхнем, безответственном плане сознания: на чердаке, куда сваливают всякую рухлядь. Деловитость и интеллигентность несовместимы.

Большевики — профессионалы революции, которые всегда смотрели на нее, как на «дело», как смотрят на свое дело капи-

талистический купец и дипломат, вне всякого морального отношения к нему, все подчиняя успеху. Их почвой была созданная Лениным железная партия. Почва не Бог вещь какая широкая — было время, когда вся партия могла поместиться на одном диване, — но за то страшно вязкая. Она поглощала человека без остатка, превращала его в гайку, винт, выбивала из него глаза, мозги, заполняя череп мозгом учителя, непомерно разросшегося, тысячерукого, но одноглазого. Создание этой партии, из такого дряблого материала, было одним из чудес русской жизни, свидетельством о каких-то огромных — пожалуй, тоже допетровских — социальных возможностях. Вся страстная за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконцентрирована в один ударный механизм, бьющий часто слепо — вождь одноглазый, — но с нечеловеческой силой.

И все же эта машина была почти стерта в порошок Столыпинской каторгой и ссылкой, где получили свою последнюю шлифовку многие из нынешних государственных деятелей России. Было разрушено все, кроме традиции, кроме плана, чертежа (ведь, здесь единство механическое, а не органическое), материала злобы и несломленной воли вождя.

Остальное сделала народная стихия, питательный бульон, который с микробиологической быстротой размножил «палочки» большевизма в революционной России.

Но эта Россия, этот народ — как понять его? С одной стороны, революция, медленно, но верно просачивающаяся в самую толщу масс, привила ему (еще с 1905 г.) основы интеллигентской веры... С другой, едва почувствовав себя хозяином жизни, народ принялся яростно истреблять интеллигенцию, наплевал на свободу и демократию, которые были ему предложены, и успокоился только в новом, едва ли не тяжелейшем рабстве, которое в России и поныне сливается под презрительной кличкой «свободы». В чем источник этого трагического недоразумения?

Я не пишу историю революции, и не стану останавливаться на социальных основах классовой ненависти (ясно, что они восходят к неизжитому в России крепостному строю). Здесь меня интересует только народное сознание. К 1917 г. народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои. Интеллигенция может считать его своим — по недоразумению. Ее «идеи», т. е. поло-

жительное содержание ее евангелия, для народа пустой звук. Более того, предмет ненависти, как книга, шляпа (бей шляпу!), иностранная речь, как все, что разделяет, подчеркивает классовое расстояние: все атрибуты барства. В 1917 г народ максимально беспощаден, но и максимально безидеен. Отсюда разинский разгул его стихии, особенно жестокий там, где он не сдерживается революционной диктатурой, — в Сибирской партизанщине.

Революция пронеслась: в крови утолена классовая злоба, народ вернулся к земле, в труде и хозяйстве нашла свою почву. Но в его сознании, на месте тысячелетних основ жизни, образовалась пустота. У крестьянской молодежи, у активных слоев она быстро заполняется примитивным материалистическим «просвещением». Разумеется, эта старая интеллигентская идея (в сущности, идея 60-х годов, освеженная марксистским модерном) теперь лишена всякого нравственного пафоса. Но она прекрасно уживается с мощной жадной жизни, наживы, наслаждений, которой проникнута современная Россия. Повсюду, в городе и в деревне, в высших слоях еврейского нэпа, в разлагающемся коммунизме и в предприимчивой крестьянской молодежи царит один и тот же дух: накопления, американизма, самодовольства. Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания. Интеллигентские «идеи» находят свою настоящую (не псевдоморфную, религиозную) почву: в новом мещанстве.

Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы — национальным фактом. Интеллигенция, уничтоженная революцией, не может возродиться, потеряв всякий смысл. Теперь это только категория работников умственного труда или верхушка образованного класса.

Полно, так ли?

Вся ли Россия проходит азбуку атеизма и американизма? Этому противоречит хотя бы всеми отмечаемый расцвет церкви и православного быта. Кто же в России ходит в церковь?

Уже сразу бросается в глаза — по крайней мере, в городе, — как много в храмах бывшей интеллигенции. И не только выбитых из жизни стариков, но и молодежи, активно строящей новую Россию. Знакомство с этой христианской молодежью сразу вскрывает в ней знакомые черты: да это все бывшие народники,

вчерашие эсеры! Быть может, без прежней удалости, с большею сдержанностью и строгостью, — но с тем же энтузиазмом. **Вот что видишь:** наконец-то поколения «святых, неверующих в Бога», нашли своего Бога и вместе с Ним нашли себя. Вековой маскарад кончился. Интеллигенция влилась в основное русло великой русской культуры, уже начавшей свое очерковление с конца XIX века.

Но, может быть, в этой точке рождается новая интеллигенция, с новым отрывом от народа, пережившая с ним роли: народ отрывается от исторической почвы, интеллигенция хранит религиозное сознание? Да, это правда, что отныне религиозное и национальное сознание России может строиться только в работе этой новой церковной интеллигенции: не на этнографических пережитках, а на идее-символе. Но, по самой природе церкви, она не может стать отрешенной. Если мы и видим сейчас среди новообращенных увлечение аскетической Фаиваидой, слабость общественного и культурного сознания, то все это болезни старой интеллигентской души: новый вывих, который должен быть исцелен органической жизнью церковного тела. Церковь слишком связана с живой исторической плотью народа, с его историей и бытом. Она не может жить лишь отрешенным мистическим подвигом, и ничто не чуждо ей в такой степени, как романтика прошлого.

Да и неверно, разумеется, что православие в народе умерло. Оно парализовано в массах, но живо в личностях. В церкви живут сейчас все классы русского общества. Только в ней в наши дни и можно встретить подлинно всенародное единение.

Две России стоят друг против друга. Социально они перемешаны обе; в обеих верхи и низы, темная масса и интеллигенция. Если хотите определить их, то следует, прежде всего, отбросить политические мерки. Россия живет сейчас с аполитическим сознанием. Никто не думает в ней о реставрации, мало кто думает о демократии. Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство — хозяйственными злобами дня. Меньшинство почти целиком сейчас в церкви. Большинство — в организациях правящей партии, но и в неорганизованных массах ее врагов. Россия православная — против России-Америки (тоже провидение Блока). Революция провела в народном сознании глубокую трещи-

ну, которая, вероятно, не зарастет и в ряде поколений. Эта трещина та самая, что прорубил Петр: только проходит она теперь иначе, не по классовым линиям, а сверху до низу рассекает народное тело. Классовое образование интеллигенции отныне, в самом деле, невозможно.

Обе России национальны. Революция самым фактом своей победы и обороны от белых и европейских армий развила в себе мощное национальное чувство. Ему не хватает исторической перспективы, но сама революция, ставшая историей, дает эту недостающую традицию. Принимая в свои святы декабристов, народовольцев, революционная Россия, отправляясь от них, приобщается и к дворянско-интеллигентской культуре. Это пока лишь задание, но оно будет выполнено. А за приятием дворянской культуры неизбежно ее преодоление. Народ пойдет путем интеллигенции — хотя бы опаздывая на столетие — через Толстого в церковь. Раз исцелен дух страны, он будет животворить и тело.

Церковная Россия живет традицией древней Руси. Ей трудно принять Петра, — особенно трудно теперь, когда ее не поддерживает созданная Петром государственность. Однако, ей это столь же необходимо, как революционной России — приобщиться к православной культуре. Лишь в этом слиянии залог подлинно национального творчества. Конечно, это слияние необычайно трудно, и может ставиться лишь, как предельная задача. На пути к ней стоят различные проекты решений, различные «идеологии», которыми будет жить Россия XX века. Но думается, что одна черта должна резко отличать их от большинства идеологий до-революционной России: они будут соединять в себе элементы древне-русской и новой, петровской, культуры, в разных сочетаниях и разных стилях. По существу и правде, не может быть и спора о том, кому принадлежит гегемония. Но гегемон должен не забывать об изначальном ущербе, который сделал неизбежным многовековой раскол: не презирать золотых сосудов Египта и прекрасных хананеянок, уже готовых обрезать свои волосы.

Е. Богданов

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

(к проблеме эстетики)

Эстетика, пожалуй, единственная из философских наук, которой до сих пор не коснулось брожение, охватившее в последнее время всю духовную культуру и в особенности философское мышление. Как будто даже ослабел интерес к этой области философского творчества; по крайней мере в послевоенные годы не вышло ни одного крупного систематического труда по общим вопросам эстетики. Вся энергия философской мысли как будто исключительно направлена на более актуальные проблемы, проблемы культуры, философии религии, философии истории и т.п. Однако, если ближе всмотреться в те специальные исследования по вопросам теории живописи, поэзии и других искусств, которые появились в последние 10-15 лет, то нельзя не увидеть, что и здесь идет напряженная работа; что и эстетика подходит к некоторому поворотному пункту, что и в ней замечается коренная перестройка всех ее философских основ. О таком повороте свидетельствует — помимо многого другого — одно весьма существенное обстоятельство: отчужденность философской эстетики от конкретного живого искусства, которую она до последнего времени никак не могла принципиально преодолеть и которая ее обрекала на мертвенную отвлеченность и бесплодность, начинает теперь исчезать и эстетика впервые подходит вплотную к своему предмету. Этим крупным достижением она обязана прежде всего тому, что за разработку эстетических проблем принялись помимо философов и представители самого искусства и истории искусства. Благодаря этому эстетическая мысль получила иное направление; эстетика стала строиться не сверху, а снизу. Место общих систематических конструкций и психологических размышлений занял анализ культуры и структурных элементов самих произведений художественного творчества. И вот именно этот не-философский подход к эстетическим вопросам оказался философски наиболее плодотворным. Работы Г. Вельфлина и его последователей, а с другой стороны школы русских формалистов, представляют собою не только ценный вклад в теорию живописи, но имеют и чисто философское значение, указывая эстетике то направление, в котором она должна искать свой подлинный объект.

2

Самое главное затруднение для эстетики — это установление предметного единства эстетического бытия. Нет единого искусства, есть лишь множество искусств, пользующихся для осуществления своих художественных заданий совершенно разным материалом и разными способами изображения. В чем же их общая предметная основа? На первый взгляд вопрос этот допускает как будто два решения: если эту основу нельзя обнаружить в самом искусстве, в его творениях, то ее следует искать вне его, а это значит: либо в самом эстетическом субъекте (творящем или воспринимающем), либо же в тех смыслах, тех идеях, которые воплощаются в художественных образах. Оба эти пути были испробованы эстетикой, и оба они завели ее в безнадежный тупик. Ни той, ни другой концепции не удалось нащупать предметное (объективное) единство искусства. И субъективно-психологическая и объективно-идеалистическая теория проходят мимо того, что наиболее существенно для художественного творчества, — мимо той среды, в которой оно осуществляется в отдельных искусствах, и тех форм изображения, которые определяют своеобразие каждого из них. Все — с точки зрения указанных учений — не больше чем эстетически безразличный материал, который может быть подвергнут любой художественной чеканке; но сам от себя не привнесит в художественное творчество ничего такого, что было бы эстетически ценно и определяло бы его по существу. До последнего времени субъективно-психологическая и объективно-идеологическая (рационалистическая) концепции играли в эстетике руководящую роль. В этом — основная причина ее ответственного доктринерства и ее отрешенности от живого искусства и животворчества. Освободиться от засилья этих ложных тенденций эстетической мысли удастся только в том случае, если она — на первых порах — откажется от чисто систематических конструкций и погружится прежде всего в ту предметную стихию, из которой рождается и в которой осуществляется художественное творчество в отдельных искусствах.

Это требование вовсе не означает отказ от научной методики и безоговорочное подчинение философской мысли логически неопределимой и безответственной интуиции. Как раз наоборот: только этим путем эстетика может найти тот твердый упор, который ей обеспечивает предметную обоснованность и логическую четкость ее основных понятий и положений. Изучение *структурных форм*, определяющих природу отдельных искусств, вот ближайшая задача эстетики, не подходящей к искусству явным, а руководящейся исключительным его внутренним жизненным ритмом.

Правда, понятие формы — со временем получило в философии столь широкое употребление, что утратило свою однозначность, и потому как будто мало пригодно для определения самого существа эстетического. Тем не менее эстетике без него не обойтись,

пока ей не удалось выработать другого более подходящего понятия, которым можно было бы его заменить; оно близко самому художественному творчеству и за ним стоит многовековая, идущая из античности традиция. Необходимо лишь точнее очертить определяющие его моменты и указать его отличие от тех его значений, которые лежат вне эстетической плоскости. Согласно традиционному пониманию, форма художественного произведения противопоставляется его содержанию, т. е. его сюжету, его предметному смыслу. О несостоятельности этой противоположности — с точки зрения эстетики — теперь уже не может быть двух мнений; она обусловлена внехудожественным подходом к искусству, т. е. подходом, который переносит центр тяжести на смысловую сторону и считает ее основой художественного произведения, существующей и независимо от своего чувственного воплощения; или же противоположность эта обозначает в пределах самого художественного произведения различие т. наз. «формального» и предметно-смыслового фактора; но в таком случае она уже предполагает эстетическое бытие как нечто данное, как некоторую особую реальность, а потому не может иметь для эстетики основополагающего значения. Форма же в смысле структурной формы есть именно то организующее начало, которая определяет собою *все* в художественном произведении, т. е. все, что не входит в структурную форму и в ней не укоренено, либо эстетически вообще не реально, либо же есть момент отрицательный, уничтожающий эстетическое единство творения искусства, его художественную целостность. Структурная форма обнимает в одинаковой мере и формальные факторы и предметно-смысловые факторы в художественном произведении. В этом смысле сюжет, композиция, есть такой же формальный момент, как и все те факторы, которые обусловлены самой природой чувственного материала. Структурная форма не напечатлевается художником на обрабатываемый им материал, как нечто чуждое, извне приносимое, а осуществляет и выявляет лишь те эстетические возможности, которые в нем самом заложены, которые укоренены в его собственной природе. Только на таком понятии формы и может быть построена объективная эстетика, как учение о предметном строе эстетического. Понятие «приема», которым пользуется школа формалистов, заменяя им понятие формы — несмотря на все свои методические удобства — с философской точки зрения не может считаться основополагающим. Форма, понятая только как прием художественного творчества, приобретает характер чего-то субъективно-произвольного и внешнего по отношению к самому материалу. Между тем правомерность формального подхода к искусству обусловлена именно органической связью между формой (как совокупностью и единством приемов) и материалом. И формалисты совершенно правы, когда настаивают на том, что напр. поэтика должна исходить прежде всего из языковедения и что поэтому каждой главе науки о языке должна соответствовать особая глава теоретической поэтики. В самом деле в звуковом со-

ставе слова, в ритме и в интонациях живой речи, в ее грамматическом и синтаксическом строе, наконец, в ее семантической стороне, т. е. в ее образности, логическом смысле и эмоциональном напряжении даны уже все те формальные элементы, или приемы, которыми пользуется поэтическая речь. Мало того: в самой природе слова уже предугазаны и самые формы объединения этих элементов, т. е. те композиционные синтезы, которые создают из них одно органическое целое.

Приемы, применяемые художником, являют собою лишь производные этих структурных форм и синтезов, потенциально кроющихся в самом материале. Функция приемов ограничивается поэтому исключительно тем, чтобы сделать эти формы действительными, чтобы актуализовать их для воспринимающего сознания и тем раскрыть и выявить их самодовлеющую ценность. Этим определяется и задача художественного творчества: оно открывает доступ к этим самодовлеющим ценностям, т. е. находит ту установку сознания, при которой они становятся непосредственно ощутимыми и постижимыми.

Правда, может показаться, что такое толкование эстетической формы односторонне ориентируется на поэзию и поэтому приложимо только к этой области художественного творчества. Язык действительно представляет столь тонко расчлененный и оформленный материал, он таит в себе такую неисчерпаемую сокровищницу эстетических потенций, что задача поэта как будто ограничивается лишь довершением и упорядочением того, что уже создано естественным развитием языка. Однако эта оформленность не составляет специфической особенности только языка; в большей или меньшей степени всякий материал, эстетически оформляемый художественным творчеством, уже обладает известной оформленностью. И звук, и цвета, и скульптурный материал приобретают эстетическое значение лишь в той мере, поскольку они становятся элементами звуковой и пространственно-цветовой и световой «стихии», и подчиняются ее закономерности. Эстетическая же реальность этих стихий совершенно независима от того, обнаруживаются ли они непосредственно и в полной мере в окружающей действительности, или же обязаны своим обнаружением человеческому творчеству и человеческой культуре (как напр. музыкальная стихия). А потому и эстетическая закономерность этих стихий обладает и в том и в другом случае одинаковой предметной объективностью и одинаково далека от субъективного произвола. — Но и другое сомнение — будто признание за эстетической формой такого рода объективности ведет обратно к натурализму в эстетике (к пресловутой теории «подражания») и приписывает значение индивидуального творчества — лишнее основания. Ведь реальность, приписываемая структурной форме, есть реальность эстетическая, которая не только не совпадает с физической или психической реальностью, но и требует для своего построения совершенно особой установки сознания. Настоящий художник действительно изображает только то, что он видит

(и в этом смысле чему-то «подражает»), но для того чтобы овладеть структурными формами, он должен найти к ним доступ, он должен уметь их видеть, и в этом узрении и уловлении их и заключается решающий момент художественного творчества.

Путь, по которому идут современные представители формализма, в основе своей был уже намечен А. Гильдебрантом в его классическом исследовании «Проблема формы». Г. убедительно показал, что в области изобразительных искусств эстетическая форма всецело укоренена в самой природе «феноменального», видимого пространства, или вернее в структурных особенностях зрительных образов; эти особенности поэтому и должны быть использованы живописью и скульптурой — каждой по своему — для наглядного изображения тех свойств телесного мира, которые опытно могут быть воспринимаемы лишь через посредство двигательных (мускульных) ощущений (как напр. измерение глубины) или которые являются носителями тех или других функциональных значений (напр. жизненных, органических). Правда Гильдебрант проводит свою объективную концепцию эстетической формы не всегда последовательно: художественная ценность зрительных образов оказывается у него в конечном итоге обусловленной их соответствием нашей зрительной способности, т. е. организации зрительного органа (иначе говоря, их субъективной целесообразностью). И, быть может, именно поэтому возможность многообразия художественных стилей не получает в его учении никакого объяснения. Правильное методологическое освещение дал этой проблеме впервые Г. Вельфлин в своем фундаментальном исследовании «Kunstgeschichtliche Grundbegriffe».

— На первый взгляд может показаться, что В. идет совершенно иным путем, чем Г.: что он исходит не из анализа формы, а из рассмотрения воспринимающего ее зрительного акта. Различие стилей в изобразительных искусствах (и прежде всего в живописи) Вельфлин выводит из различий в самом художественном видении, т. е. из различия в структуре, характере тех зрительных восприятий, из которых складывается и которыми определяется картина видимого художником внешнего мира. Это не значит, однако, что эстетическая форма тем самым выводится из субъективного акта, из того или иного подхода субъекта к чувственно-пространственному миру. Это значит лишь, что каждый особый вид художественной формы требует и особого постигающего акта, вне которого эти формы для субъекта вообще не доступны. Ведь различия в художественном видении обнаруживаются прежде всего не в различных осуществляющих его субъективных актов, а в различиях того предметного бытия, которое они нам открывают и которое делают для нас видимым. Пространство представляется нам, как показывает В., либо как единая сплошная свето-цветовая стихия, которая из себя своей внутренней динамикой выделяет, излучает отдельные предметы и явления, как цвето-световые феномены; или же пространство вос-

принимается нами как «линейное» пространство, в котором каждый предмет выступает как замкнутое, очерченное линиями и плоскостями целое, и которое само впервые создается из совокупности этих предметов и их взаимоотношений. На этом различии пространственно-материальных восприятий основано по Вельфлину, различие между «линейным» и «живописным» стилями; первый наперед свое наиболее совершенное воплощение в классическом искусстве Ренессанса, а второй — в стиле Барокко и его позднейших видоизменениях. Правда эти два «аспекта» чувственно-протяженного мира не исключают друг-друга абсолютно, не только в обыденном, но и в художественном восприятии они могут сочетаться самыми различными способами. Но эстетически оформленным становится это восприятие только в том случае, когда один из этих аспектов приобретает руководящее значение художественной «доминанты» и подчиняет себе другой. Только благодаря такой внутренней упорядоченности, зрительное восприятие может актуализовать в себе известный живописный строй, т. е. удовлетворить требованию единства и чистоты художественного стиля.

Аналогичные различия существуют повидимому и в художественном восприятии звуковой стихии; и здесь обнаруживается глубокая стилистическая разница между музыкой, построенной на определенных ладах и тональностях, и музыкой, основой которой служат хроматизм и отрицания тонального строя.

Конечно, ни исследования формалистов в области поэтики, ни работы Вельфлига и его школы, по теории изобразительных искусств не дают еще ответа на вопрос: в чем сущность, в чем предметная основа эстетического образа вообще; они решают его лишь в применении к изучаемой ими сфере художественного творчества. Но это первый и необходимый шаг на пути к решению общего вопроса. Только на этой конкретной основе может быть построена объективная научная эстетика, как учение о структурной форме. И только этим методологическим путем эстетика сможет окончательно преодолеть все еще не изжитые предрассудки психологизма и интеллектуализма.

Укажем лишь на одну фундаментальную проблему, которая тесно связана с вопросом о существовании эстетической формы. Если и верно, что предметно-смысловая сторона произведения искусства (т. е. то, что принято называть его идеей), не имеет самостоятельной реальности, а существует лишь в неразрывной связи с воплощающей его чувственной формой, то этим отнюдь не снимается вообще различие между чувственно-формальным и предметно-смысловым моментом в пределах самой эстетической формы. Поэтому и можно говорить о «формальной» красоте художественного произведения (в узком смысле), разумея под этим ту эстетичес-

кую ценность, которая ему свойственна, как чистому феномену звуковой, цвето-световой или словесной стихии, независимо от выражающегося в нем предметного смысла. Так в поэзии «формальная» красота, (которую правильнее было бы называть *чувственно-феноменальной*) определяется такими моментами как евфония, словесная инструментовка, евритмия, мелодика и т. п., в изобразительных искусствах — тем или другим сочетанием линий, плоскостей, созвучием красок, уравновешенностью композиционных масс и т. п. Чувственно-феноменальная красота, конечно, органически связана с предметно-смысловой стороной произведения искусства, но связь эта отнюдь не имеет характера одинаковой взаимной зависимости. Феноменальная красота может иногда существовать и самостоятельно, тогда как красота, определяемая и смысловым фактором укоренена, фундирована в первой и может выражаться только в ней и через нее. Поэтому возможно беспредметное искусство (т. е. искусство, лишенное определенного предметного сюжета); такова напр. чистая музыка, таковой может быть декоративная живопись, таким хочет быть заумный язык. Но невозможно предметное искусство, которое было бы лишено чувственно-феноменальной основы. Впервые указал на это глубокое различие двух видов красоты Кант. Он различает красоту свободную (*Freie Schönheit*) и красоту привходящую (*anhängende Schönheit*), т. е. красоту самой чувственной формы и красоту, в которую одним из конституирующих моментов входит и предметный смысл. Только за первой Кант признает чисто-эстетическое значение, вторая же, по его учению, обусловлена в основе своей вне эстетическим фактором — понятием предмета («типом») или же идеалом нравственного совершенства (в человеческой красоте). — Такое понимание «привходящей» красоты упраздняет самостоятельность предметного искусства и вместе с тем неизбежно приводит к интеллектуалистическому и моралистическому засилью в эстетике. Нет сомнения: и восприятие «привходящей» красоты, т. е. красоты предметно-осмысленной столь же непосредственно, как и восприятие красоты «вольной» (чувственно-феноменальной) и не нуждается, как думает К., в каком либо посредстве понятий или нравственных идей. Но если отвлечься от этой ложной интеллектуалистической и моралистической тенденции в эстетике Канта, проблема, возникающая на почве указанной противоположности, уловлена и формулирована им совершенно правильно. Предметный смысл действительно приходит как нечто по существу иное и новое в чувственно феноменальную красоту. Ведь сам по себе он ее не конституирует и не определяет; она существует и помимо него. Он лишь воплощается и выражается в ней, подчиняя ее известным новым ограничительным условиям. В этом отношении предметно-смысловой момент являет собою как-бы форму высшего порядка, которая предполагает некоторую совокупность низших (чувственно-наглядных) форм, как необходимую основу, но вместе с тем

*) Под красотой мы разумеем — для большей простоты конечно не «красивость», а просто положительную эстетическую ценность

подчиняет их высшему (смысловому) единству. Этим, однако, проблема «привходящей» красоты еще не исчерпана. Прежде всего — взаимоотношения между чувственно-феноменальной и предметно-смысловой стороной далеко не одинаковы во всех искусствах. Так напр. музыка по преимуществу беспредметное искусство; в изобразительных искусствах «формальная» красота также может обладать самодовлеющим значением. Но в области поэзии дело обстоит совсем иначе: слово существует лишь как осмысленное слово; оторванное от смысла оно перестает быть словом. «Заумный» язык, как язык, лишенный всякого предметного смысла, — есть чистая фикция; он заслуживает название языка лишь в той мере, в какой он сохраняет хотя бы и неопределенный и приглушенный предметный смысл. Поэтому в поэзии (да и не только в поэзии) взаимоотношения между чувственно-феноменальным и предметно-смысловым факторами осложняются. Чувственная форма не воспринимает предметный смысл как нечто извне привходящее, как нечто такое, что в нее укладывается, но по существу не затрагивает, а определяется им изнутри в самых своих основах. — Чем же обусловлена возможность такого определения чувственной формы через вне-чувственный предметный смысл? И каким образом в предметном искусстве из этих двух столь разнородных факторов может получиться внутреннее органическое единство? Или в несколько иной формулировке: если чувственно-феноменальная красота ничего собою не выражает, а являет лишь самое себя, то как она может стать, оставаясь тем, что она есть, выразительницей и носительницей предметного смысла? Как совершается этот переход от чисто-внешней формы к форме «внутренней», выразительной, отделенной от нее как будто непреходимой пропастью?

Проблема эта редко ставится с полной отчетливостью; но там, где она ставится, основу внутреннего единства художественного произведения ищут почти всегда в воспринимающем субъекте, в том участии, которое он принимает в построении эстетического объекта. Этим именно путем идет так наз. теория вчувствования во всех ее современных разновидностях. Посредствующую роль между чувственно-формальной и предметно-смысловой стороной она приписывает эмоциональному фактору. — Возбуждать в воспринимающем субъекте эмоциональные переживания может, как показывают факты, не только предметный смысл художественного произведения, но и чувственная его форма, его наглядный строй, как таковой. В акте вчувствования эти эмоциональные реакции субъекта «объективируются», т. е. переносятся на эстетический объект; и переносятся на него не только поскольку он является носителем известного предметного смысла, но и на его чувственную форму; таким образом и сама форма становится выразительной. Задача художника — установить соответствие и гармонию между эмоциональной тональностью чувственной формы и предметным смыслом; это соответствие или эта однотонность эмоциональных тональностей и составляет подлинную основу единства художественного произведения.

Как ни велики заслуги теории вчувствования перед эстетикой (она освободила ее от засилья интеллектуалистических тенденций), однако в корне своем — как это все более выясняют новейшие исследования, — она несостоятельна. И не только потому, что она по существу отрицает объективное единство художественного произведения, ставя его в полную зависимость от всегда случайных и изменчивых эмоциональных реакций воспринимающего субъекта; но и потому, что не объясняет в конечном счете именно того, что она берется объяснить. Вчувствование само по себе не в состоянии оживить, одухотворить свой предмет; оно возможно и осуществимо только там, где сам предмет уже включает в себе некоторые эмоциональные тенденции, т. е. обладает своей собственной внутренней жизнью. В частности это относится и к эстетическому вчувствованию. И оно предполагает в самой эстетической форме — независимо от ее предметного смысла — некоторую своеобразную жизнь, и жизненную напряженность. Если такое утверждение кажется странным, «не научным», и как будто возвращает к какой-то донаучной мифологии, то это объясняется только глубокими натуралистическими предрассудками нашего научного мышления. Если бы художественно (или вообще эстетически) оформленный чувственный материал был бы *только* физическим явлением, подчиненным известным закономерным отношениям, то единственная (и то случайная) эмоциональная реакция, которую он мог вызвать в воспринимающем субъекте, — это — чисто индивидуальные, физиологически обусловленные чувства приятности, удовольствия. Эстетическое впечатление было бы случайным «эпифеноменом» известных психо-физических процессов; и не больше. И нельзя было бы говорить об эстетической реальности, как особой сфере бытия, сущностно отличной от практической или естественно-научной действительности. Конечно, для реализации эстетического восприятия требуется и наличие известных субъективных условий: известной установки воспринимающего субъекта. Но эта установка не создает ни эстетических форм, ни присущей им эстетической ценности. Она лишь открывает субъекту доступ к этим формам, она дает ему возможность увидеть в них не только некоторую упорядоченную совокупность чувственных элементов, но нечто большее, некоторое живое конкретное целое, обладающее самодовлеющей ценностью. В этом смысле всякая эстетическая форма «выразительна»; но выражает она не нечто такое, что скрывается за нею и отлично от нее, а выражает она лишь самое себя, свою собственную жизнь, свою индивидуальную ценность. Поскольку же эстетическая форма сама по себе, т. е. как чистая чувственная форма, независимо от всякого предметного значения — выразительна и означает некоторый конкретный органический строй, она обладает и своим собственным смыслом, своим собственным жизненным (а постольку и эмоциональным) напряжением. Разумеется, смысл этот не есть логически-предметный смысл и напря-

женность ее не есть эмоциональность специфически человеческая, проявляющаяся в чувствах, так или иначе связанных с определенным логическим смыслом. И тем не менее мы имеем полное право говорить здесь о смысле и связанном с ним эмоциональном напряжении. Яснее всего это обнаруживается в музыке, т. е. в том искусстве, в котором предметно-смысловой момент играет наименьшую роль. Стоит лишь вдуматься в то, что из себя представляют структурные начала и элементы в музыке (как лад, ритмический строй, гармонические ряды, мелодика и т. п.), чтобы сразу понять, что каждое из них обладает известной выразительностью, является носителем некоторого смысла и эмоционального напряжения; тем более такой смысл и такое напряжение свойственно тому целому, которое их сопрягает и объединяет как свои культурные моменты. Не случайно же мы называем это целое музыкальным образом или идеей. Музыкальный образ, действительно, представляет в своем росте и развитии, вообще во всем строе своей внутренней жизни некоторую аналогию с предметным образом и смыслом. Он может даже по своему эмоциональному тону ему до известной степени соответствовать. Но этим ничуть не упраздняется сущностное отличие между музыкальным и предметно-логическим образом или смыслом. Никогда музыкальный смысл не может быть однозначно определен или исчерпан предметным смыслом; и никогда он не знает себе подобных, лишь музыкальное выражение предметного смысла. Он доверяет себе и в основе своей совершенно независим от мира предметно-логических смыслов, принадлежа к более основной стихийной и темной сфере бытия, которой еще чужда определенность и внутренняя озаренность предметно-логической сферы. — Назовем ли мы ее витальной, или космической, или еще какнибудь иначе, — для рассматриваемой здесь проблемы безразлично. Это зависит уже от того или иного метафизического толкования эстетического бытия и его феноменов. — Эта характеристика музыкальных форм целиком применима и к формальным началам, свойственным другим искусствам; поэзии, живописи, архитектуре. И здесь наглядная эстетическая форма сама по себе обладает своей особой осмысленностью и эмоциональностью, во многом и существенно сходной с осмысленностью и напряженностью музыкальных форм. В этом смысле (но и только в этом!) можно было бы утверждать, что все искусства имеют свою музыкальную основу, независимо от их чисто предметных заданий. И лишь постольку предметный образ рождается из этой непредметной основы, вырастает и развивается из нее или по крайней мере уподобляется ей, проникаясь ее ритмом и напряжением, он приобретает подлинную эстетическую ценность и реальность. В подлинных творениях искусства нет поэтому непримиримого дуализма между формальной и предметно-смысловой

стороной; выразительность последней знаменует лишь развитие, высшее оформление и осмысление первой. Взаимоотношения этих двух сторон, конечно, не одинаковы во всех искусствах; они меняются в зависимости от особой природы каждой отдельной области художественного творчества: не одинаковы поэтому и те ограничения, которые предметный смысл налагают на воплощающую его чувственную стихию. И одна из главных задач теории искусства заключается в том, чтобы выяснить своеобразие этих взаимоотношений и взаимоограничений в каждой отрасли искусства. Но повсюду остается непреложным и действительным одно основное положение, определяющее собою необходимые условия всякого художественного творчества. Как бы велико ни было значение и роль предметного образа (или смысла), художественная выразительность его должна быть укоренена в выразительности чувственно-формальной. Как только предметно-смысловая выразительность отрывается от своей чувственной основы, художественное творчество перестает быть подлинным и эстетическая реальность подменяется тем или другим суррогатом (напр. «литературщиной» в живописи, «программностью» в музыке и т. п.). — И заметим еще: только там, где актуализована чувственно-формальная выразительность, возможно то, что принято называть эстетическим чувством. Вчувствование есть всегда вторичный, производный акт, предлагающий объективную реальность эстетического бытия. Все теории, которые считают его источником и основой живого художественного восприятия, неизбежно ведут к антропоморфическому толкованию искусства, усматривая в выразительности и эмоциональности художественного произведения, т. е. в свойственной ему жизненной напряженности лишь отражения чисто человеческих чувств, настроений, мыслей, отношений и оценок. Но такое понимание искусства незаконно суживает и ограничивает сферу эстетического бытия; оно совершенно не улавливает той особенности искусства, которой определяется его исключительное культурное значение: не только человеческое изображает оно, ему доступна и вся та жизненная стихия, которая охватывает человеческий микрокосм и сверху и снизу, и которая питает его своей неисчерпаемой энергией.

Только такое понимание эстетической формы, как выразительной (независимо от ее предметного значения) способно дать современному формализму в эстетике философское обоснование и вместе с тем объяснить внутреннюю связь искусства со всей остальной культурой. Как раз эту последнюю проблему формалисты обычно игнорируют, или же сознательно устраняют, считая, что она не входит в компетенцию эстетики и не затрагивает существа искусства. Даже самая постановка такой проблемы вызывает с их стороны иногда принципиальные возражения. Они видят в ней покушение

на автономность искусства, попытку подойти к художественному творчеству с совершенно чуждыми ему внехудожественными критериями и мерами. Опасения эти понятны; они являются естественной реакцией против засилья тех социальных моралистических и идеологических тенденций, которые до последнего времени господствовали в истории и теории искусств и тормозили ее нормальное внутреннее развитие. Правы формалисты и в том, что ставят в основу угла эстетики проблему художественной формы. Прежде чем решать вопрос об отношении искусства к остальной культуре, необходимо выяснить, что такое искусство, какова его внутренняя структура. Однако если формалисты утверждают, что связь с культурой не определяет собой жизни и смысла самого искусства, они впадают в явное противоречие с фактами и сами себя лишают возможности дать своим эстетическим взглядам соответствующее философское обоснование. Лозунг *l'art pour l'art* в искусстве и в эстетике столь же ложен и незаконен, как и всякий морализм или интеллектуализм. Признание искусства самостоятельной и самобытной областью культурного творчества, подчиненной своим собственным, невыводимым ни из каких других начал органическим законам, вовсе не требует отрицания его кровной внутренней связи с остальной культурой. Автономность не означает изолированность, отрешенность от всего прочего мира. Самобытность и творческая мощь искусства сказывается именно в том, что она способна *всякое* жизненное содержание (религиозное, нравственное, социальное и пр.), хотя бы оно раньше вообще еще не было выявлено, отлить в свойственные ему художественные формы. Это не значит, однако, что вся культурная жизнь представляет для художественного творчества безразличный материал, поддающийся какому угодно художественному оформлению. Видеть во всяком жизненном мотиве, каков бы он ни был, лишь повод (материал) для применения того или иного художественного приема может только импотентный эстетизм, для которого жизненные ценности утратили свое самодовлеющее действительное значение. Обращение мотива в чистый «прием» — первый признак ослабления творческого напряжения. Оформляя эстетически жизненные содержания, искусство не отменяет и не нейтрализует заложенные в них внеэстетические ценности, а переводит их лишь в иную тональность, выявляет их эстетическую значительность. Оно остается подлинным искусством лишь до тех пор, пока ощущает жизнь как настоящую, реальную жизнь. Как только оно обращает ее в простой материал для художественных экспериментов, оно само теряет всякую остроту и напряженность и низводит себя на уровень пустой игры и эстетического гурманства. Связь искусства с жизнью поэтому не есть только связь с внешним необходимым условием, а связь внутренняя, определяющая самое его существо. Именно в этом смысле необходимо признать правильным утверждение, что в жизни, в культуре укоренено бытие самого художника, не только как человека, но и как творца художественных ценностей. Не важно, конеч-

но, чтобы эта жизнь и эта культура нашли свое адекватное теоретическое выражение в каком-нибудь философском или религиозном мировоззрении; существенно только то, что она всегда предполагает некоторую основную жизненную установку, которая определяет собой весь ее внешний и внутренний (духовный, интеллектуальный) строй. И эта основная жизненная установка является для художественного творчества не только объектом, материалом, но и направляющим его двигателем. — Все это собственно трюизмы, но о них приходится упорно напоминать в виду того одностороннего и почти слепого догматизма, к которому тяготеет формальная школа в философском понимании своих руководящих принципов. Особенно ярко обнаруживается эта односторонность в попытках формалистов, объяснить историческое развитие художественных форм и стилей на основании одних только имманентных самому искусству и художественному сознанию законов. Заслуги нормальной школы в разработке именно этого вопроса особенно велики. Если для научного сознания теперь несомненно, что в развитии художественных форм и стилей наблюдается известная закономерность, которая прежде всего обусловлена эстетическими возможностями, заложенными в данном стиле и присущих ему формам, то этим достижением мы обязаны прежде всего исследованиям формалистов. Правильно и другое положение, установленное формальной школой: что всякий стиль, достигнув в известную эпоху господствующего положения, неизбежно утрачивает со временем свою эстетическую (художественную) действительность и вызывает в художественном сознании реакцию, результатом которой является создание нового стиля в некоторых отношениях противоположного прежнему и канонизация таких эстетических форм, за которыми раньше не признавалось художественной ценности. Все это так. Но разве эти необходимые условия являются вместе с тем и достаточными для объяснения исторического развития и смены художественных стилей? Разве каждому канонизованному стилю можно противопоставить в качестве отменяющей противоположности только один вполне определенный стиль? Такое предположение грешило бы не меньшим рационализмом, чем Гегелевское истолкование исторического процесса в смысле диалектического развития. Оно явно упрощает реальный процесс эволюции художественных стилей, не учитывая тех широких, почти неограниченных возможностей в выборе и комбинации художественных доминант, которые открываются перед художником при выработке нового художественного стиля. Если же качественное своеобразие нового стиля невыводимо из его противоположности по отношению к стилю предшествующему, то положительные причины его возникновения остаются не выясненными; т. е. не выясненным остается основной вопрос: что же собственно открыло художнику глаза на эстетическую ценность именно этих форм, что заставило его ощутить и познать их художественную действительность, которая до него осталась художественному соз-

нению скрытой и недоступной? Очевидно такая переоценка эстетических ценностей может быть вызвана новой, до сих пор неизвестной *установкой* художественного сознания. А установка эта из одних эстетических факторов выведена быть не может, ибо действительность этих последних актуализуется впервые через нее. Значит корни ее нужно искать в чем то ином, в некотором более глубоком и обширном начале. А таким началом может быть только та основная жизненная установка, из которой вытекает все его жизнеощущение и жизнепонимание и которое определяет собою все то, что он видит, замечает, учитывает и ценит в окружающем его мире.

Однако таким принципиальным признанием внутренней связи между художественным стилем и жизненной установкой поставленная нами выше проблема о взаимоотношении искусства и культуры отнюдь еще не решается. Ибо связь эта многозначна и может быть разн. истолкована. Самые серьезные затруднения возникают поэтому только тогда, когда мы пытаемся выяснить, в чем и как проявляется эта связь в конкретной действительности, т. е. каким образом та или иная жизненная установка преломляется в художественном сознании и создает тем самым почву для развития того или иного стиля? Обычные культурно-философские концепции не углубляются в исследование этого вопроса, главного и чреватого трудностями; они до крайности облегчают себе решение задачи тем, что довольствуются констатированием некоторого соответствия между общим мирозерцанием и художественным стилем какой-нибудь эпохи и усматривают в этом достаточное доказательство внутренней связи между культурой в целом и искусством или даже полной зависимости последнего от первой. Предлагаемые ими решения проблемы поэтому оказываются в конечном итоге или просто фиктивными, или же основаны на принципиально ложном понимании взаимоотношений между жизнью культуры и художественным творчеством. Для иллюстрации рассмотрим две такие концепции, которые пользуются сейчас наибольшим распространением.

Одна из них концепция марксизма, который считает экономикку основой всей культурной жизни и рассматривает ее духовное творчество лишь как надстройку над этим экономическим фундаментом. К этой надстройке относятся и искусство. Если каждой стадии в развитии хозяйства соответствует вполне определенный строй культурной жизни, то такой же параллелизм в частности должен существовать и между формами хозяйства и художественными стилями. Но марксизм идет еще дальше. Он утверждает, что именно в области искусства особенно ясно обнаруживается обусловленность духовного творчества экономическими началами. Принцип целесообразности, определяющий собой весь строй хозяйственной жизни, господствует и в искусстве. И если хозяйство стремится к достижению наибольшего эффекта при наименьшей затрате сил, средств и времени, то эта же самая норма имеет силу и в искусстве. Ценность всякого подлинно-художественного стиля заключается имен-

но в целесообразном, экономном употреблении художественных приемов в достижении самыми простыми средствами самого сильного эстетического действия. Всякий прогресс в осуществлении этой нормы в области хозяйства должен поэтому найти соответствующее отражение в развитии и смене художественных стилей.

Эти соображения могут казаться убедительными лишь до тех пор, пока мы остаемся на чисто отвлеченном, а потому и неопределенном понятии целесообразности и не отдаем себе отчета в том определенном специфическом значении, которое оно приобретает с одной стороны в хозяйстве, с другой — в искусстве. В экономике господствует *внешняя* целесообразность. Жизнь и жизненные потребности как отдельного индивида так и общества ставят хозяйству известные задачи, которые оно стремится решать на основании принципа наибольшей экономии. Для искусства же как раз эта внешняя целесообразность в общем несущественна: существенное значение она приобретает только в прикладном искусстве, в архитектуре; да и то только в том смысле, что практическая цель, которой должно служить произведение искусства, (напр. дворец, храм, мебель и т. п.), ставит художественному творчеству известные ограничительные условия, но отнюдь не предопределяет собой само существо стиля или выбор тех или иных художественных форм. Там, где это имеет место, внешняя цель (тенденция) неизбежно нарушает внутреннее единство стиля и становится противохудожественным фактором. — Искусству, напротив, присуща внутренняя целесообразность, «целесообразность без цели» по выражению Канта, т. е. целесообразность основанная на единстве художественного стиля и прежде всего феноменально-чувственной согласованности осуществляющих факторов. Значит не целесообразность создает впервые единство и сущность стиля, а из единства стиля рождается (или ему имманентна) целесообразность образующих его форм. — Отсюда уже ясно: принцип целесообразности, если понимать его как внешнюю целесообразность, или вообще не пригоден для объяснения и определения природы художественных стилей или же может иметь значение только как вспомогательный прием, применимый лишь тогда, когда уже предположено и дано единство какого-нибудь художественного стиля. Если же понимать его в широком смысле как целесообразность (организованность) вообще, то он характеризует всякое человеческое творчество и не имеет никакого непосредственного отношения ни к экономике, ни к искусству. В такой общей формулировке он поэтому и не пригоден для обоснования марксистской концепции культуры и ее отношения к искусству.

О других попытках экономического материализма вывести искусство из экономики или по крайней мере обосновать его в ней, серьезно говорить не приходится. Полная несостоятельность их теперь уже доказана наукой и философией с достаточной убедительностью; они не могут быть согласованы ни с более глубоким пони-

манием природы искусства (и духовной культуры вообще) ни с эмпирическими данными исторической действительности.

Основная ошибка марксистской концепции культуры и искусства, конечно, не в том, что она кладет в основу всей культуры именно экономику, а в том, что она пытается построить целое культуры исходя из одной ее части. Всякая другая концепция, которая приписала бы такую же основополагающую роль какой-нибудь иной культурной области, неизбежно привела бы поэтому к такому же тупику, как и экономический материализм. Это обстоятельство учтено современной философией культуры и историософией. Она ищет поэтому решения проблемы в другом направлении. Руководящим принципом для нее служит идея первичного органического единства культуры в целом; многообразие ее проявлений вытекает как нечто вторичное, производное. Отдельные области культурного творчества (наука, нравственность, общественность, религия, искусство и пр.) знаменуют лишь разные манифестации или выражения («качествования») единого культурного духа. Путь этот несомненно правильный. Ибо только на основе такой концепции и можно понять культуру не как равнодействующую причинного взаимодействия случайно сталкивающихся факторов, но как живой организм, который живет, развивается и умирает по своим собственным внутренним законам.

Однако в такой общей форме эта концепция представляет собою лишь программу, которая требует своего конкретного осуществления; и как раз в осуществлении своем она и наталкивается на самые главные трудности. Действительно, единый культурный дух (или душа культуры, — *Das Seelentum* — Spengler'a) не существует (или по крайней мере эмпирически не доступен) помимо своих конкретных проявлений и поэтому может быть познана нами только в них и через них. Но если это так, то познание и определение общего духа культуры возможно не иначе, как на основании некоторого предположения о природе и характере его отношения к некоторым областям культуры.

Проявляется ли он во всех сферах более или менее одинаково и адекватно, так что каждая из них отражает и выражает в себе его цельную природу? Или же отдельные сферы не равнозначны и не всегда одинаково показательны для духа культуры? Первое из этих предположений, отличаясь наибольшей простотой, как будто лишено серьезных оснований. Оно устанавливает внутреннюю органическую связь между отдельными сферами культуры, не налагая вместе с тем на автономность и самобытность каждой из них. Для познания духа культуры с этой точки зрения безразлично, которую из этих областей избрать исходным пунктом. Каждая, хотя и по своему, воплощает в себе ту же самую творческую стихию и носит на себе печать происхождения из единого для всех живого источника. Познание духа культуры в одном из его конкретных проявлений давало бы таким образом возможность по аналогии об-

наружить его отличительные черты и во всех других областях культуры *).

Однако, как ни соблазнительна эта концепция на первый взгляд, — стоит лишь продумать ее до конца и применить к истолкованию исторической действительности, чтобы убедиться, что она не только не соответствует фактам, но и не способна по настоящему обеспечить автономность отдельных областей культурного творчества. В самом деле, прежде всего эта концепция молчаливо допускает, что различные сферы культуры представляют собою более или менее однородные части единого организма и поэтому обладают и аналогичную структуру. Иначе нельзя было бы понять, как единая душа культуры могла бы проявиться в каждой из них с более или менее одинаковой полнотой, и почему каждому проявлению ее в одной области должно соответствовать аналогичное проявление в другой области. Но чем оправдать такое допущение? Различие между культурами разных эпох и народов заключается вовсе не в том только, что каждая из них по своему проявляется во всех сферах культурного творчества, но также и в том, что они выражаются в этих сферах не в одинаковой мере, и что не одни и те же области творчества имеют для них руководящее и определяющее их характер значение.

Но и с признанием самобытности и своеобразия отдельных культурных сфер такую концепцию трудно согласовать. Метод аналогии, которым она руководствуется, неизбежно ведет к нивелированию их отличительных особенностей. Исходя из какой-нибудь одной определенной области для определения общего духа культуры, историк всегда будет склонен находить и отмечать и в других областях то, что соответствует характеру и структуре той области, на которой он первоначально ориентировался. В большинстве случаев метод толкования по аналогии приводит к интелектуалистическому засилью в понимании культуры, так как характеристику общего духа культуры легче всего вывести из анализа господствующих в ней умственных и духовных течений. Особенно она по применению этого метода к искусству, которому более всего претит отвлеченная идейность, обнаженность логического смысла: ибо искусству навязываются чуждые ему идейные устремления. Ибо же — что пожалуй еще хуже — оно подвергается всегда произвольной и субъективной символической интерпретации, совершенно не считающейся с собственно художественными тенденциями самого художника. Этой опасности не избежал и Шпенглер. Как ни блестящи и остроумны страницы посвященные им в «Закате Запада» характеристике искусства разных культурных эпох, — в основе своей они не могут удовлетворить ни историка искусства,

*) Такое понимание культуры могла бы быть использована формалистами для обоснования их концепций теории и истории искусства. Оно оправдывало бы возможность изучать искусство как замкнутую в себе автономную сферу вне всякого отношения к другим областям культуры.

ни философа культуры; ибо характеристика эта грешит коренным недостатком, свойственным символическому истолкованию искусства: переоценкой идейных мотивов и субъективным произволом.

Отсюда ясно: при решении проблемы взаимоотношений между культурой в целом (ее «духом») и отдельными ее проявлениями аналогия может служить лишь вспомогательным, но никак не руководящим методом. Отношения эти не поддаются подведению под одну общую схему, которая была бы одинаково применима ко всем сторонам культуры. Структура их гораздо сложнее, ибо обусловлена особой природой каждой отдельной области культурного творчества. Поэтому и вопрос о связи искусства с духом культуры не может быть решен лишь путем обнаружения в нем тех или иных аналогий с социальным строем, с философией, религией и т. п., как это делает напр. Шпенглер *) и многие другие историки культуры. — Тем не менее все эти трудности и осложнения, на которые наталкивается органическая концепция культуры, не могут поколебать основную ее предпосылку, а именно уверенность в том, что связь между духом культуры и современным ей художественным стилем не только внешняя, но и глубоко-внутренняя, сущностная. Исторический опыт, особенно последнего десятилетия, слишком явно свидетельствует о реальной действительности этой связи. Вполне раскрыть ее подлинный характер удастся, однако, только в том случае, если заранее выяснить каковы пределы и возможности выразительности искусства в разных областях художественного творчества.

В заключение отметим лишь некоторые пункты, которые, по нашему разумению, имеют существенное значение для решения этой проблемы.

Исследуя отношения между культурой в целом и искусством, нельзя ставить искусство в один ряд с другими областями культуры. Как ни тесна его связь с религией, философией, общественностью и т. д., в основе своей оно представляет из себя замкнутую сферу, которая не может быть сопоставлена ни с одной из других культурных сфер. Ведь центр тяжести для художественного творчества лежит не в эмпирической действительности, а в эстетической реальности, являющей собой особый мир, который подчинен своим собственным только ему свойственным законам и нормам. Мало того, и сама эстетическая реальность не есть нечто вполне однородное; в каждой отрасли искусства она обретает особый облик, особую форму своеобразно с особой природой той стихии, которую она эстетически оформляет **). Эстетические потенции, за-

*) Один из коренных недостатков знаменитого труда Шпенглера — злоупотребление методом аналогий и символического толкования. (Ср. напр., его произвольное, символическое толкование светов живописи, параллели, проводимые им между концепцией пространства в искусстве и в математике разных эпох и многое другое.

**) Искусство можем быть противопоставляемо лишь всей культуре в целом, не как отражение ее, а как контраобраз, и притом отнюдь не вполне адекватный и не однозначно ею определяемый.

ложенные в каждой из них, отличаются друг от друга не только по своей феноменально-чувственной структуре, но и по своей выразительности. Поэтому не все искусства одинаково восприимчивы к тем или иным мирозерцательным мотивам и тенденциям, не одинаково на них реагируют. Одни из них им сродни и постольку как бы сами собой находят в них свое художественное воплощение; другие наоборот чужды их природе и потому, тогда даже когда приобретают влияние на сознание художника, не столько раскрывают и пробуждают, сколько сковывают и ограничивают его творческие силы.

Поясним эту мысль на конкретном примере.

Романтизм представляет собой, несомненно, столь широкое и глубокое духовное движение, что может служить характеристикой целой культурной эпохи. Не только в искусстве он создал новое направление; не в меньшей степени он оплодотворил и философскую мысль и религиозное сознание и наложил даже свой отпечаток на политическую и общественную жизнь начала 19-го века. — Но если повнимательнее присмотреться к тому, что романтизмом сделано в сфере художественного творчества, то не трудно убедиться, что он далеко не во всех областях нашел одинаково полное и адекватное выражение и отнюдь не повсюду обнаружил одинаковые творческие силы. Если в музыке и поэзии влияние его оказалось решающим и значительно обогатило выразительные средства этих искусств, то в живописи, наоборот, он сыграл гораздо более скромную роль.

Это, конечно, не случайность, а весьма знаменательный факт, объяснимый лишь из самой природы основной жизненной установки романтизма, которая ставит его способности актуализовать эстетические потенции в пределах того или другого искусства вполне определенные границы. Так напр. достижения романтизма в области поэзии несомненно связаны с его символическим пониманием жизни и искусства. Центр тяжести лежит для него не в самом предметном смысле (или образе), а в чем-то ином, высшем, что за этим смыслом скрывается, и на что он лишь отдаленно указывает, намекает. Поскольку же предметный смысл служит символом высшего, он утрачивает свое самодовлеющее значение, теряет четкость логических очертаний и как бы растворяется в излучениях знаменуемого им высшего начала. Возможность же такого растворения и разложения предметного смысла обусловлена тем, что само высшее, как логически невыразимое и неразъяснимое, более непосредственно и полно воплощается в непредметной чисто-чувственной выразительности слова. Таким образом приглушенность предметного смысла способствует выявлению эстетических ценностей, тающихся в чувственной природе слова.

В том же самом направлении сказалось и влияние романтизма на музыку; и здесь он обнаружил в чувственной природе звука новые еще не использовавшиеся эстетические потенции. — Живописи, напротив, романтическая установка сознания дала значи-

тельно меньше; и во многих случаях даже вносила в нее чуждые ее природе моменты (литературищина).

Весьма знаменательную картину представляет с этой точки зрения и современное искусство. И здесь на первом плане музыка и поэзия. — В музыке мы видим возвращение к ладу, к четкости и законченности музыкальной формы, подчеркнутое стремление к строгой организованности композиционного целого. Особенно тщательная разработка ритмического момента. Вместе с тем характерны полное отрешение от эротизма и изображения чисто человеческих (идейно обоснованных) чувств, перенесение эмоциональности в какой-то иной план космического, стихийного бытия.

В поэзии новый расцвет реализма и бытописания, (пользующегося вместе с тем всеми техническими достижениями нео-романтизма и нео-классицизма), внимательное и любовное отношение к самодовлеющему значению *фактов* и их непосредственной реальности. А вместе с тем также как в музыке конструктивность композиционных форм. И здесь перед эстетикой и руководимой ею историей искусства встает интересная задача: показать, почему совершился этот сдвиг в художественном сознании; и как эти новые течения в музыке и поэзии, во многом прямо противоположные предшествовавшим им символизму и романтизму, связаны с той новой жизненной установкой, которая сложилась под влиянием событий последнего десятилетия (войны и революции).

Проблемой художественной формы и проблемой связи искусства с культурой в целом (с духом культуры), однако, еще не исчерпывается круг основных вопросов эстетики и философии искусства. С ними тесно связан еще третий не менее принципиальный вопрос: что *значит* искусство для культуры в целом? Какую функцию оно исполняет в едином организме культурной жизни? — В спекулятивной эстетике начала 19-го века эта проблема занимала центральное положение и предопределяла собою постановку и решение всех остальных эстетических проблем. Напротив, эмпирическая эстетика новейшего времени, большей частью сводит ее на вопрос об историческом генезисе искусства. — Требования философской и научной методики не удовлетворяет ни тот, ни другой подход. Правильно понять и оценить роль искусства в культурной жизни нельзя иначе, как исходя из определения его специфической природы и выяснения его связи с руководящими тенденциями культуры (т. е. из рассмотрения двух выше указанных проблем). С другой стороны, и изучение генезиса искусства показывает лишь, чем оно *было* на заре культуры, но не может раскрыть его принципиального значения для культурной жизни в целом. Правильную и плодотворную разработку этой проблемы может обеспечить лишь тесное сотрудничество эстетического умозрения с исторической философией, построенной на органической концепции культуры. Это сотрудничество и составляет одну из очередных задач современной философской мысли.

В. Э. Сеземан

О МЕТРИКЕ ЧАСТУШКИ

I

За последнее время вопросы метрики, стали интересовать русских филологов. Но работают исключительно над метрикой письменной литературы. Народное стихосложение мало привлекает к себе внимания. Впрочем, в этой области и прежде то почти ничего сделано не было. Можно сказать, что о русском народном стихосложении писал только покойный академик Ф. Е. Корш, да и то писал только эпизодически. А, между тем, область эта чрезвычайно любопытная.

Русское народное стихосложение весьма своеобразно. Уже с первого взгляда ясно, что к нему нельзя подходить с теми метрическими понятиями, с которыми мы привыкли оперировать в «искусственной» поэзии. В народном песенном стихосложении словесный текст неотделим от музыкального напева, и потому в нем играют роль не только ударения, но и «долгота» и «краткость». Потому то Ф. Е. Корш и попробовал подойти к русскому народно - песенному стихосложению с понятиями древнегреческой квантитативной метрики: к тому же Ф. Е. Коршу казалось, как и многим его современникам, что эта древнегреческая квантитативная метрика и есть наиболее исконная. Теперь мнение об исконности древнегреческих метрических понятий можно считать основательно поколебленным, если не совсем опровергнутым. В применении к русской народной словесности, в частности, конструированная Ф. Е. Коршем схема былинного стиха (якобы «четырёхстопный анапест») оказалась совершенно несостоятельной с тех пор как были сделаны точные (фонографные) записи былинных напевов. Неправильен был самый принцип подхода к русскому народному стихосложению с понятиями греческой метрики. Правда, и древнегреческое, и народное русское стихосложение основаны на сочетании словесного текста с музыкальным напевом; правда, благодаря этому, в обоих этих стихосложениях играют роль и ударения (пикты) и количественные различия (долгота и краткость). Но в древнегреческом стихосложении словесный текст определяет собой количественные различия, а напев

определяет ударения; в народном же русском стихосложении, как раз наоборот, словесный текст определяет ударения, а напев — длину или краткость слогов. Таким образом, между древнегреческой и русской народнопесенной метриками существует отношение противоположности, и это исключает возможность применять древнегреческие метрические понятия и схемы к русской народной песне.

Своеобразие русского народного стихосложения требует совершенно особых приемов последования и классификации, совершенно особой терминологии. Все это приходится создавать заново, ибо, как сказано, до сих пор в этой области очень мало сделано. В настоящей статье мы хотим попытаться обрисовать метрику одного определенного вида народной песни, именно, частушки. При этом, мы не будем особенно углубляться в детали, о некоторых проблемах будем молчать, некоторые другие только упомянем: так напр. интереснейшей проблемы «метрической географии» нам придется только слегка коснуться...

II

Следует различать метрическое строение *музыкального* и *стихотворного* текстов частушки.

Метрическое строение музыкального текста частушки отличается последовательно проведенной двудольностью. Вся частушечная *строфа* делится на две *полустрофы* обычно разделенные интерлюдией на гармонике. Каждая музыкальная полустрофа делится на два *колона*; каждый колон — на два *такта*; каждый такт — на два *димора*; каждый димор — на две *моря*, из которых первая является *сильной* (т. е. способной принимать на себя ударение), а вторая — *слабой* (т. е. неспособной стать ударяемой). Если принять морю за одну восьмую, то ритмическая схема музыкального текста частушки выразится в следующем виде:



Членение стихотворного текста в принципе параллельно членению текста музыкального. При этом, *стих* обычно совпадает с *колоном*, а *слог* совпадает либо с *морей*, либо с *димором*: слог, совпадающий с *морей*, мы называем *кратким* (—), а слог, покрывающий собой целый димор, мы называем *долгим* (— —); димор, покрытый одним слогом, называем *стянутым*, в отличие от димора *распущенного*, в котором на каждую морю приходится по слогу.

Из двух диморов одного такта второй подвергается стяжению чаще чем первый: на первый димор такта не может приходиться больше слогов, чем их приходится на второй димор того же такта. Иначе говоря, в такте возможны лишь следующие комбинации:

- 1) — — — — (♪ ♪ ♪ ♪) «четырёхсложный такт»,
- 2) — — — (♪ ♪ ♪) «трёхсложный такт»,
- 3) — — (♪ ♪) «двухсложный такт»,

но комбинация — — — — (♪ ♪ ♪) — невозможна.

Из двух тактов, составляющих колон, первый не может содержать больше слогов, чем второй. Поэтому, колоны-стихи в отношении числа слогов бывают следующих шести типов:

- восьмисложный: — — — — — — — — (♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪ ♪)
- семисложный: — — — — — — — (♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪)
- шестисложный: а) — — — — — — (♪ ♪ ♪ ♪ | ♪ ♪)
- б) — — — — — (♪ ♪ ♪ | ♪ ♪ ♪)
- пятисложный: — — — — — (♪ ♪ ♪ | ♪ ♪)
- четырёхсложный: — — — — (♪ ♪ | ♪ ♪)

Примеры. В следующей частушке первый и третий стихи — восьмисложные, а второй и четвертый шестисложные, типа «а»:

Я надеву бело платье,
Отойду подальше:
Говорила я милóму
Про измену раньше.

В следующей частушке представлены все остальные четыре типа: первый стих — четырёхсложный, второй — пятисложный, третий — шестисложный типа «б», четвертый — семисложный;

Пляши Матвей,
Не жалей лантэй!
Мамка лык надерёт,
Тятка новых наплетёт!

Из двух колонов, составляющих полустрофу, второй обычно содержит не больше слогов, чем первый. Исключения из этого правила встречаются (напр. хотя бы в только что приведенной частушке «Пляши Матвей», где оба полустишия противоречат правилу), но очень редко: так напр. в собрании частушек Новгородской губ. В. А. Воскресенского^{*)}, заключающем в себе более 600 №№ частушек и, значит, более 1200 полустроф, мы встретили только 4 полустрофы противоречащие нашему правилу (т. е. заключающие во втором колоне больше слогов, чем в первом).

Аналогичное правило можно установить и для построения целых частушечных строф: вторая полустрофа частушечной строфы обычно содержит не больше слогов, чем первая. Но исключений здесь уже больше: напр. в упомянутом собрании В. А. Воскресенского мы отметили 60 №№ частушек (т. е. прибл. 10 % общего числа), в которых вторая полустрофа содержит больше слогов, чем первая.

Таким образом, мы видим, что число слогов в ритмической единице регулируется одним общим правилом: *вторая половина данной ритмической единицы (т. е. строфы, полустрофы, колона, такта) не должна содержать больше слогов, чем первая половина*. По отношению к тактам и к колонам правило это не терпит исключений; по отношению к полустрофам правило соблюдается почти без исключений и только при построении целых строф исключения допускаются в несколько большем, хотя, в общем, все же очень незначительном числе.

Ударение в припеве падает на сильные моры^{**)}, каковыми являются первая и третья моры такта. Сообразно с этим можно различать три типа тактов: *нисходящие* — с ударением на одной лишь первой море, *восходящие* — с ударением на одной лишь третьей море, и *двухударные* или *двухударные* — с ударением и на первой и на третьей морях. Однако, следует заметить, что в двухударных тактах одно из двух ударений всегда бывает сильнее другого, так что они тоже могут подразделяться на «нисходящие» и «восходящие», смотря по тому, которое из двух ударений сильнее. Таким образом, получаем для тактов собственно только два основных типа — «нисходящие» (Н) и «восходящие» (В), а в каждом из этих двух типов можно уже различать подвиды — «одноударные» и «двухударные».

^{*)} Напечатано в «Этнографическом Обозрении» 1905, № 2-3, стр. 164-230.

^{**)} О случаях, где ударение падает не на сильную, а на слабую мору, см. ниже.

Стихи-колоны в отношении места ударения надо делить на два типа: *острые* и *тупые*. «Острым» (О) мы называем стих-колон, у которого второй такт является восходящим, иными словами, стихи-колоны, в которых последнее ударение падает на седьмую мору. «Тупыми» (Т) называем стихи-колоны, у которых второй такт является нисходящим, иными словами, стихи-колоны, в которых ударение падает на пятую мору. Примерами «острых» стихов могут служить: восьмисложный — «Из колоды вода льется», семисложный — «Говорила я отцу», шестисложный («б») — «Ах и кудри мои!», пятисложный — «И молодки к нам», четырехсложный — «Пляши Матвей». Как видно из этих примеров — «острые» стихи-колоны по числу слогов бывают всех типов за исключением «шестисложного типа а». Что касается до «тупых» стихов, то они допускают только два типа: семисложный — «Голубки купаются», и шестисложный «а» — «Рукава на вате». Кроме острых и тупых стихов встречаются еще и такие стихи, в которых последнее ударение лежит на третьей море, а второй такт как будто совсем лишен ударения. Такие стихи бывают либо шестисложные (типа «б»), либо пятисложные. Встречаются они крайне редко. Таковы напр. второй и четвертый стихи в следующей частушке:

Погулял бы девушки
С вами, с мбдницами, —
Припасают в городе
Бритву с пбжницами.

Или все четыре стиха в следующей частушке:

Ветер дует-то,
Поддувает-то,
Милый любит-то,
Забывает-то.

Однако, мы не считаем возможным видеть в таких стихах особый тип, сорванный «острому» и «тупому», и считаем их просто особой разновидностью «острого» стиха. Дело в том, что в словах, кончающихся на несколько неударяемых слогов, последний слог всегда имеет второстепенное ударение. В стихосложении это второстепенное ударение часто искусственно усиливается, а при пении, — особенно народном, — такое усиление второстепенного ударения бывает даже довольно резким. Т. о., стихи вроде «Бритву с ножницами» практически имеют ударение (при том, довольно сильное) не только на третьей, но и на седьмой море, — т. е. являются «острыми». Отличие их от обычного острого («Мамка лык надерет») заключается лишь в том, что у них ударение на седьмой море слабее, чем на третьей. Мы называем их «острыми ослабленными» (Осл.).

Итак, всего имеется 9 типов стихов-колонов: два «тупых» (ше-

стисложный и семисложный *), пять простых острых (четырёх-, пяти-, шести-, семи- и восьмисложный) и два острых ослабленных (четырёх- и пятисложный). Но для стихосложения существенно важны только различия во втором такте стиха. Поэтому, практически эти девять типов можно свести к шести, а именно:

- О₁ — острый восьмисложный: — — — — — — — — — —
 О₂ — острый семи- или шестисложный: — — — — — — — — — —
 О₃ — острый пяти- или четырёхсложный: — — — — — — — — — —
 Осл. — острый ослабленный: — — — — — — — — — —
 Т₁ — тупой семисложный: — — — — — — — — — —
 Т₂ — тупой шестисложный: — — — — — — — — — —

До сих пор мы говорили только о *последнем ударе* в стихе-колоде, т. е. о главном ударе в первом такте этого стиха-колоды. Что касается до главного удара в первом такте, то можно установить следующее правило: *между главным ударением первого и главным ударением второго такта стиха-колоды должно находиться не больше четырех мор.* Означая нисходящий такт через Н, а восходящий через В, можно сказать, что допускаются комбинации В + В (напр.: «Чернобровые ребята», «Вся любовь моя пропала» и т. д.), В + Н, (напр. «Голубки кушаются», «С кем гулять охотница» и т. д.) и Н + Н («Роза осыпучая»), но комбинация Н + В недопускается: в упомянутом выше собрании В. А. Воскресенского на более чем 2400 стихов нам встретилось всего два — три исключения (в роде «Девушки! в селе пожар!» или «Севечер недожидай»).

Соединение двух стихов дает полустрофу. Т. е. основных типов стихов всего шесть, то основных типов полустроф теоретически может быть 36. Однако, фактически половина этих теоретически возможных комбинаций никогда не встречается. Все же, число фактически существующих типов частушечных полустроф довольно велико, — не менее 15-ти. Но из этих типов далеко не все одинаково часто встречаются. Всего чаще встречаются полустрофы, состоящие из двух «острых» стихов («О + О»), гораздо реже — комбинации типа «О + Т», еще реже — комбинация «Т + Т» и, наконец, ком-

*) Восьмисложные тупые колоды допускаются лишь при сдвиге стихораздела (см. ниже), при чем в этом случае восьмой слог колоды относится к следующему стиху:

С сама надеюсь, пой-
ду плясать согреюсь.

бинация «Т + О» почти никогда не встречается ¹⁾. Другими словами, можно сказать, что комбинации, в которых *последним ударением первого и последним ударением второго стихов полустрофы находится более восьми мор за редкими исключениями не допускаются.*

Полустрофы, кончающиеся острым стихом (т. е. типы О + О и Т + О), мы называем «заостренными» (З), а полустрофы, кончающиеся тупым стихом (т. е. типы Т + Т и О + Т), называем «притупленными» (П). Соединение двух полустроф образует строфу. При этом, опять-таки далеко не все теоретически возможные комбинации фактически встречаются, а среди (и общем, довольно многочисленных) фактически встречающихся типов частушечных строф далеко не все одинаково часто встречаются. Всего чаще встречаются частушки из двух заостренных полустроф (З + З), гораздо реже — частушки типа П + П, еще реже — частушки типа З + П, и, наконец, всего реже — частушки типа П + З ²⁾: значит, *избегается та комбинация, при которой расстояние между последними ударениями первой и второй полустроф оказывается больше шестнадцати мор.*

Т. о. не трудно заметить, что при построении стихов, полустроф и строф наблюдается одно и то же общее правило: *расстояние между последними ударениями первой и второй половин данной ритмической единицы не должно быть больше половины общего числа мор этой ритмической единицы.*

Ритмические единицы (начиная с такта и вплоть до целой строфы) можно разделить на две группы: — «концестремительные», в которых предпоследняя мора является ударяемой (сюда относятся: восходящие такты, острые стихи, заостренные полустрофы и целые строфы типа З + З и П + З), и «концебезные», в которых предпоследняя мора является неударяемой (сюда относятся: нисходящие такты, тупые стихи, притупленные полустрофы и целые строфы типа П + П и З + П). Распределение ударений и относительная распространенность каждого отдельного типа ритмических единиц, рассмотренные в предшествующем изложении, могут быть подведены под следующие общие правила:

- 1) За *концебезной ритмической единицей* не должна следовать *ритмическая единица концестремительная*;
- 2) *Концестремительные ритмические единицы вообще предпочитают концебезным.*

*) Так, наприм. в вышеупомянутом собрании В. А. Воскресенского (Новгородск. губ.) полустрофы типа О + О составляют 72%, полустрофы типа О + Т — 18 1/3%, полустрофы типа Т + Т — 9 1/3%, а полустрофы типа Т + О — только 1 1/3%.

**) Так напр. в вышеупомянутом собрании В. А. Воскресенского частушки типа З + З составляют 67 1/3%, частушки типа П + П — 24%, частушки типа З + П — 6 1/3%, а частушки типа П + З — 2 1/3% общего числа.

Эти два правила — точно так же, как приведенное выше правило о числе слогов в частях ритмических единиц, — соблюдаются строго только по отношению к мелким ритмическим единицам: чем ритмическая единица крупнее, тем правило менее ярко выступает, и число исключений возрастает. Особенно характерны данные относительно второго правила. Так, в собрании В. А. Воскресенского (Новгородск. губ.) острые стихи составляют 80% всех стихов, заостренные полустрофы — 72% всех полустроф, а строфы типа П + З и З + З — 69,6% всех строф. В маленьком собрании частушек Рязанской губ., напечатанном в № 1 «Верст» оказывается:

восходящих тактов — 226, т. е. 74,3%,
острых стихов — 90, т. е. около 59%,
заостренных полустроф — 37, т. е. около 49%,
строф типа З + З и П + З — 17, т. е. около 45%,

— т. е. правило оказывается в силе только для тактов и стихов, а для более крупных ритмических единиц число исключений уже превышает число случаев, подтверждающих правило.

Таким образом, приведенные нами правила отнюдь не представляют из себя неумолимых законов, недопускающих исключений, а являются скорее определенными тенденциями, которые тем сильнее, чем мельче та ритмическая единица, к которой они прилагаются. Объясняется это, конечно, тем, что дело идет о *народной* метрике. В противоположность метрике т. наз. «искусственной» поэзии, метрика народная не заучивается сознательно поэтами, а только подсознательно живет в них и автоматически регулирует их поэтическое творчество.

Из сказанного вытекает, что степень строгости соблюдения тех или иных правил может быть выражена в цифрах и процентах, и что для каждого «частушечного поэта» эти цифры будут иные. В силу же взаимного влияния этих поэтов друг на друга и в силу обусловленности их поэтического творчества общим запасом (репертуаром) уже существующих в данной местности частушек, оказывается возможным устанавливать типичные средние цифры для каждой отдельной местности. Отсюда — указание на метод, которым должна изучаться метрика частушек: метод этот, в общем, должен быть *статистико-географическим*. В идеале должны быть составлены «метрические географические карты» той великорусской территории, на которой поются частушки....

III

В предшествующем изложении мы установили терминологию отдельных существенных для частушечной метрики понятий и рассмотрели основные правила, регулирующие число слогов и распределение ударений в отдельных ритмических единицах частушечной

поэзии. Важным фактором при построении частушечной строфы является также и *рифма*. При этом, между рифмой с одной стороны и числом слогов и местом ударения с другой стороны существуют известные соотношения, которые можно формулировать следующими правилами:

1. — Если оба стиха, составляющие полустрофу, принадлежат к одному и тому же из шести основных типов (01, 02, 03, 0с, Т1, Т2), то они обязательно должны рифмовать друг с другом.

2. — Вторые стихи обеих полустроф рифмуют друг с другом, если они оба принадлежат к одному и тому же основному типу (01, 02, 03, 0с, Т1 Т2), и если из остальных двух стихов хотя бы один принадлежит к иному типу.

Из этих двух правил вытекает, что напр. в частушке типа 02, 02 02 02 рифмы должны распределяться по схеме ааbb, но в частушке типа 01 02 02 02 рифмы должны распределяться по схеме а б в б.

Исключения, разумеется бывают. Отступлениями от первого правила являются напр. такие частушки как:

Вéтер дует-то
Поддуваéт-то
Милый любит-то
Забываéт-то (Ярослав. губ.)

или:

Что́ это за лужица, —
Голубки купа́ются!
Что́ это за Лизочка, —
Всё в нее влюбля́ются! (Рязанск. губ.)

где рифмы распределяются по схеме а б в б, несмотря на то, что в каждой полустрофе оба стиха принадлежат к одному и тому же основному типу. Отступлением от второго правила является напр. частушка:

Когда́ я была ма́ленька,
Меня́ нача́ла ма́менька;
Она́ нача́ла, велича́ла:
«Сни́ моя судáрушка». (Новг. губ.)

где четвертый стих не рифмуется со вторым, хотя оба принадлежат к типу Т1, а третий стих — к типу 01. Но, вобщем, таких исключений очень мало.

Что касается до относительной распространенности отдельных схем распределения рифм, то можно сказать, что схема а б в б (с ее вариантом а б а б) является наиболее популярной; схема а а б б гораздо менее популярна, а схемы а б в в и а а б в встречаются лишь чрезвычайно редко.

Приведем теперь примеры для наиболее распространенных типов частушек.

I. — Типы, требующие рифмовки «а б в б». Как уже сказано, это — наиболее распространенные. Сюда относятся:

Тип 01 02 01 02 — напр.:

Что за эта за деревня,
Удивительный народ!
Половина девок старых,
Никто замуж не берет! (Новг. губ.)

Состоя исключительно из концевострелительных ритмических единиц, этот тип является самым популярным. Но популярность его не всюду одинакова: на Севере она, кажется, больше, чем на Юге. 1)

Тип 01 01 01 01 может быть подразделен еще на подвиды, в зависимости от числа слогов в первом и третьем стихах:

- а) Кабы знала, девки, то,
Раньше раскусила бы,
Вертоглазого его
Близко не пустила бы 2)
- б) Кабы знала, не ломала
Виноград невызревши,
Кабы знала, не любила
Милого незнакомца 3)
- в) Про милого говорили,
Что худой да маленький;
Посмотрела на него, —
Как цветочек аленький! 4)

Тип этот особенно популярен в южной Великороссии, где он почти готов конкурировать с типом 01 02 01 02: в северной Великороссии популярность этого типа меньше.

Тип 01 02 01 02 можно тоже подразделить на подвиды:

- а) Не катаясь ты, горох,
По белому блюду!
Не гоняйся ты за мной, —
Я любить не буду б)

1) В собрании частушек Рязанской губ., напечатанных в «Верстах» (I, стр. 30-36), к этому типу принадлежат № № 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 18, 23, 24, 26, 34, — т. е. приблизительно треть всех номеров. В собрании же В. А. Воскресенского (Новгор. губ.) к этому типу принадлежит почти половина всех номеров.

2) К этому типу принадлежит № 22 из собрания частушек Рязанской губ., (Версты I).

3) К этому типу принадлежит № № 7, 13, 15, 16, 31, 32 того же собрания.

4) К этому типу принадлежат № № 2 и 4 того же собрания.

5) К этому типу принадлежат № № 17, 20, 35, 36, 38 того же собрания.

- б) У Володи в огороде
Выросло коренье;
Кто Володенышу полюбит,
Чисто разоренье! 1) и т. д.

Этот тип тоже в южной Великороссии более популярен, чем в северной, но нигде не достигает такой популярности, как предыдущий.

Тип 11 11 02 11 — напр.:

Голубое платице
В тальце не сходится,
Спомнилась 2) у меня
Под судом находится...3)

Этот тип — совсем редкий, как и вообще все типы с тремя метрически однородными и одним метрически пнородным стихом (02 02 11 02 и т. под.),

II. — Типы, требующие рифмовки а а б б. Как сказано выше, они менее распространены, чем типы с рифмовкой а б в б, но все же встречаются достаточно часто. Сюда относятся:

A. Строфы из одних однотипных стихов. Главные из них следующие:

Тип 02 02 02 02 — напр.:

Ты, косая, не косись, —
Не больна в тебе корыс(т)ь!
Под гребенкой волоса, —
Не больна в тебе краса! 4)

Как состоящий из одних концевострелительных единиц, этот тип популярнее следующего:

Тип 11 11 11 11 — напр.:

Не судите, бабоньки, —
Сами были маленьки!
Наносили дѣтушек, —
Судите про дѣтушек! 5)

Другие типы строф из однотипных стихов (01 01 01 01, 12 12 12 12 и т. д.) хотя и встречаются, но крайне редко

1) К этому типу принадлежат № 28 того же собрания.

2) «Спомнилась» — одно из традиционных для частушечной поэтики обозначений «возлюбленного».

3) Из собрания частушек Ряз. губ., напечатанного в Верстах (I стр. 30-36), к этому типу принадлежит № 12 (с рифмовкой ааба, которая есть частный случай рифмовки аабаб).

4) Из собрания частушек Ряз. губ., напечатанного в Верстах (I, стр. 30-36), к этому типу относятся № № 21 и 30.

5) К этому типу относится № 27 того же собрания; № 19 против правила имеет рифмовку ааба.

Б. Строфы из разнотипных стихов. Важнейшие типы следующие:

Тип 01 01 02 02 — например:

От Берегова канава,
По канаве-то отава,
По отаве-то следы: —
Ходил миленький сюды.

Тип 02 02 T1 T1 — напр.:

Не спросили у отца
Поженили молодца
Не спросились матушки
Повели в солдатушки 1)

Оба эти типа сравнительно часто встречаются.

Тип T1 T1 02 02 — напр.:

Ничего, что пьяница:
Женится, — уставится;
Ничего, что шьет вино, —
Выйду замуж за него.

Противореча правилу, воспрещающему следование концестримальных единиц за концебными, этот тип встречается исключительно редко.

Все остальные типы очень мало распространены. 1)

IV

До сих пор мы изучали метрику частушки, исходя из предпосылки полного параллелизма между музыкальным и стихотворным текстами. Мы предполагали, что стих равен колоно, и что ударяемый слог стихотворного текста всегда приходится на сильную мору текста музыкального. Но фактически это не всегда бывает так. Оживление ритма требует известной *дифформации* метрических схем, и эта дифформация в частушках достигается *сдвигами* — как стиховых границ, так и ударений. Рассмотрим же эти сдвиги.

Среди случаев несовпадения границ стиха с границами колона надо различать следующие типы:

А) *Смещение стихораздела*, т. е. перемещение границы между двумя стихами, составляющими полустрофу. Смотря по тому, сме-

1) К этому типу относится № 29 того же собрания; вариантом того же типа можно считать и № 25.

2) Ср. напр. в собрании частушек Ряз. губ. (Версты I, стр. 30-36) № № 10 и 33 (тип 0₁ 0₂ 0₁ 0₂), № 12 (тип T₁ T₁ 0₂ T₁), № 37 (тип 0₂ 0₂ T₂ T₂).

щается ли эту границу на одну мору назад или на одну мору вперед, мы различаем смещения а) *регрессивные* и б) *прогрессивные*.

а) При *регрессивном* смещении стихораздел падает не после 8-й, а после 7-й моры первого стиха полустрофы, а 8-я мора относится в виде *Auft kt'* к началу второго стиха. Т. о., в стихотворном тексте первый стих имеет вид обычного семисложного стиха (02 или T1), а второй стих получает в начале односложную анакрузу (т. е. с точки зрения литературной метрики оказывается «ямбическим»). Напр.:

А смà надеюся
пойду плясать согреюся

Или (при ином распределении ударений в стихах):

Милый свàтатъ запрягàет
Лòшадьò блòгòривую, —
Неунéли кто пойдёт
за эту дрянь паршивую!

б) При *прогрессивном* смещении стихораздел попадает не после восьмой моры первого колона, а после первой моры второго колона. Такой сдвиг допускается только в том случае, если первый стих острый, и если его диморы распушены. Таким образом, первый стих при прогрессивном смещении стихораздела имеет 9 слогов и ударение на третьем слоге от конца. Второй стих начинается с слабой моры, т. е. как бы с анакрузы, и оказывается короче нормального. Пример:

Неужели это сбóдется
во нынèшнем году:
Золотой венец наденут
На головóшку мою?

Б) *Смещение приступа*, т. е. начала первого стиха полустрофы. Частушки поются под аккомпанимент гармошки, на фоне этого аккомпанимента. Этот аккомпанимент состоит из бесконечного и непрерывного повторения одной и той же музыкальной фразы с ясно отчеканенным ритмом: это создает сплошной и однообразный поток ритма, как бы *фон*, который время от времени оживляется вкрапленными в него и выводимыми голосом полустрофами частушек. Исполнитель частушек пропитывается ритмической инерцией инструментального аккомпанимента и, выводя свои частушечные полустрофы, автоматически попадает «в ногу» аккомпанименту. При этом приступ, т. е. первый слог полустрофы, обычно попадает на первую мору музыкальной фразы (колона). Но это необязательно: он может попасть на одну мору раньше или на одну, даже на две моры позже. Это мы и называем смещением приступа, при чем опять таки различаем смещение а) *регрессивное* и б) *прогрессивное*.

а) При *регрессивном смещении приступа* первый стих стихотворной полустрофы начинается на одну мору раньше музыкального колона. Первый слог этого стиха, следовательно, падает на слабую, а второй на (музыкально) сильную мору. Другими словами, стих этот начинается с анакрузы, т. е. приобретает «ямбический» характер. Пример:

Сегодня праздник воскресенье,
Нам оладей напекут;
Хоть помажут, да покажут, —
А поест то не дадут.

б) При *прогрессивном смещении приступа* следует различать два возможных случая: смещение *одноморное* и *двухморное*. В первом случае стих начинается не с первой, а со второй моры колоны, и, т. к. эта мора является слабой, то стих оказывается опять «ямбическим». Пример:

Чего, Кóля, часто ходишь,
Сапоги новы дерёшь?
С ума меня ты сводишь,
Долго замуж не берёшь.

При *двухморном сдвиге* стих начинается с третьей моры колоны, и, т. к. эта мора сильная, то стих ямбического характера не приобретает. Пример:

В городе в трактире
Мы с миланкой чаек пили,
За стеклянными дверями
Чаек пили с сухарями.

Из перечисленных видов сдвига стиховых границ чаще всего встречаются оба вида смещения стихоразделов, несколько реже встречается регрессивное смещение приступа, и, наконец, чрезвычайно редко — прогрессивное смещение приступа. Все эти виды сдвигов могут комбинироваться друг с другом. Так, один и тот же вид сдвига может повторяться в обеих полустрофах напр.:

А) Смещение стихоразделов:

а) регрессивные:

У меня милёночек —
не волк, не медвежоночек
Стали люди жалиться,
что лошади пугаются.

Или:

Хорошо рыбу ловить,
котора рыба ловится;
Хорошо с таким сидеть,
с которым речи сходятся.

б) прогрессивные:

Что ты, белая берёзонька
стоишь и все шумишь?
Что, ретивое сердечушко
болишь, не говоришь?

Б) Смещение приступов:

Пошёл миланешка домой
Оглянулся под горой:
Сюда ходить — какая даль!
Не ходить — миланки жаль!

Иногда комбинируются друг с другом регрессивный и прогрессивный сдвиги стихоразделов.

Ты, тальяночка, 1) баски
порастеряла голоски:
С воскресенья тальяночка
пабавила тоски.

Чаще комбинируются друг с другом смещения стихоразделов и смещения приступов. Напр.:

Не кунуй, кукушечка
во поллописе на каменике,
Не вспоминай сударушка
о молодце о Ванюшке!

Если смещены оба приступа и оба стихораздела, то весь стихотворный текст приобретает ямбический характер. Напр.:

Стояла я у бзми,
прощалася до осени:
Прощай-ка бзми и лужок,
прощай до осени, дружок!

или (с прогрессивным сдвигом стихоразделов):

Прощайте, ёлочки и сосенки,
весёлый весь парод!
Прощай и любуйна сударушка —
сажусь на пароход!

с другим ритмом (Т + Т7 + Т + Т7):

Маманешка ругается:
Куда платки деваются?
Того не догадается,
Чем милый утирается.

Все эти сдвиги стиховых границ особенно популярны в северновеликорусской частушечной поэзии: здесь частушек с такими

1) «Тальянка» — особый тип гармоник.

сдвигами больше, чем частушек без сдвигов, а для некоторых типов частушек эти сдвиги составляют даже почти правило 1). Наоборот, в южновеликорусских частушках сдвиги стиховых границ встречаются очень редко. 2)

Другим видом дифформации ритма является *сдвиг ударения*. Под этим термином мы разумеем случаи, когда ударяемый слог стихотворного текста приходится не на сильную, а на слабую мору музыкального текста. Практически внимания заслуживает только один из случаев этого рода, именно, попадание ударяемого слога на *вторую мору* колона. В этом случае слышатся как бы два ударения рядом: на первой море голос невольно делает нажим в силу ритмической инерции, а вторая является ударяемой по смыслу текста. Оба ударения вступают друг с другом в борьбу, и второе, поддерживаемое смыслом, оказывается более сильным. Так получается нечто вроде синкопы. В результате, то слово на которое приходится это ударение, выкрикивается как то особенно громко:

Я тогда боялась,
когда коса моталась,
А теперь моя коса
В пучок (!) измоталась.

Очень часто это бывает использовано для подчеркивания важного в смысловом отношении слова:

Ах, подружка моя Маня,
Чаю не заваривай:
У тебе милова нет, —
М а в о не заманивай!
Рукава, рукава,
Рукава на вате!
Старых девок не берут, —
А мы виноваты!

Или же, — для того чтобы подчеркнуть смысловой (логический или эмоциональный) контраст между первой и второй полустрофами, «неожиданность» второй полустрофы:

Уж и девки к нам!
И молодки к нам!
А старые ведьмы,
Пошли вы к обедни! и т. д.

1) Особенно часты сдвиги в тех типах, которые заключают в себе полустрофу $T + T_1$. Так, в собрании Воскресенского (Новг. губ.) частушки типа $O + O_2 + T + T_1$ заключают в себе разные сдвиги в 80%, а частушки типа $T + T_1 + T + T_1$ — в 90%; из 12-ти частушек типа $T + T_1 + O + O_2$ только одна не имеет сдвигов.

2) Характерно, что напр. среди частушек Ряз. губ. напечатанных в I-м номере Верст только № № 12, 25 и 27 (т. е. прибл. 8%) заключают в себе сдвиги стиховых границ.

В противоположность сдвигам стиховых границ, которые, как мы видели, в северовеликорусских частушках гораздо популярнее, чем в южновеликорусских, — сдвиги ударений особенно сильно распространены именно в южновеликорусской частушечной поэзии 1), а в северовеликорусской, хотя и встречаются, но далеко не так часто.

Y

Мы познакомились с основными особенностями метрики частушки. Вся эта метрика вполне народна, основные принципы ее — те же, что и в других видах народной песенной метрики. Частушечный стих есть частный вид плясового стиха. В отношении метрики частушка так же тесно связана со всем контекстом народной словесности, как и в отношении своей стилистики и своего поэтического словаря («сине море», «чисто поле», «ретивое сердечушко», «темный лес», «девица», «молодец» и т. д.). О влиянии «городской», т. е. искусственной поэзии говорить неприходится: если при разных сдвигах стиховых границ и получаются иногда стихи, напоминающие «четырехстопный ямб» русской искусственнолитературной метрики (напр. «Пошел милашечка домой»), то ясно, что совпадение это случайное, ибо «ямбический характер» стиха вызван здесь действием специфически — частушечных законов, и самое употребление таких *quasi* «ямбических» стихов в перемешку с «хоренческими» не находит себе никакой аналогии в искусственнолитературной метрике. По следов влияния искусственной литературы нельзя обнаружить не только в метрике, но и в других элементах частушечной поэтики: частушку приходится рассматривать как чисто народную поэтическую форму, как продукт вполне самостоятельной и свободной от какого бы то ни было внешнего воздействия эволюции народной песенной поэзии.

Рассматривая частушку с этой точки зрения в контексте всей народной песенной поэзии, мы задаем себе вопрос: является ли частушка болезненным или здоровым явлением, признаком вырождения или признаком прогресса? В обществе распространен взгляд на частушку, как на явление упадочное. Повидимому взгляд этот основан, главным образом, на оценке музыкального текста частушки, действительно убогого в мелодическом отношении. Но к стихотворной стороне частушки взгляд этот применять было бы ошибочно. В отношении метрики частушка является положительно высоким

1) Характерно напр. что среди частушек Ряз. губ., напечатанных в Верстах, сдвиги ударений встречаются в тринадцати (именно в № № : 4, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 37), т. е. прибл. в 35%, тогда как сдвиги стиховых границ были отличны нами лишь в 8%.

достижением народной поэзии. В предшествующем изложении мы постарались показать насколько богата частушечная метрика, несмотря на простоту своих основ. Довольно убогий ритм двухтактового плясового стиха в частушке свершено преобразуется, приобретает совсем исключительную гибкость и оказывается способным порождать целую массу разнообразных ритмических комбинаций и эффектов. Ни в одной другой форме народной песни мы не найдем такого искусного использования всех ритмических возможностей.

Но частушка отличается формальными достижениями не только в области метрики. Нельзя не отметить того внимания, которое в частушке уделяется «инструментовке», т. е. искусному подбору звуков. Установка на качество звуков речи дана уже самым принципом рифмы. Но в частушке эта установка получает дальнейшее развитие и приводит к разнообразнейшим сочетаниям звуковых повторов. Попадаются частушки, совершенно насыщенные звуковыми повторами:

На крылечке струбы рубят,
Меня все ребята любят:
Тот тащит другой тащит, —
Только кофточка трещит.

Причем иногда отдельные звуковые повторы использованы как каламбуры, напр.:

Как у нашей души-Маши
Аккуратнейший посёк:
Десять курочек усадится,
Десятый петушок.

Правда некоторую склонность к звуковым повторам проявляют и другие виды народной песни, особенно те, которые знают рифму (плясовые!), — но нигде эта склонность не выразилась так ярко и не породила такого многообразия звуковых эффектов, как именно в частушке. — В области «внутренней формы» частушка представляет большой интерес. Стремление к максимально — краткому и максимально — яркому выражению мысли, и, притом еще, непременно к ритмическому расчленению этой мысли согласно строфической схеме четверостишия, — все это порождает громадное разнообразие троп, фигур, затейливых смысловых вывертов. Иной раз получается с виду бессмыслица, истинный смысл которой можно понять только, зная тот реальный факт, по поводу которого частушка была сложена. Но иногда впечатление бессмыслицы только обманчиво и происходит от сложности примененной фигуры. Так напр.

Я курил, курил махорку,
А теперь курю табак:
Я любил, любил девочку,
А теперь — старых баб.

На первый взгляд кажется будто между первой и второй полустрофой смысловой связи нет: в первой описывается повышение (прежде махорка, — теперь табак), а во второй — понижение (прежде девушка, — теперь старухи). Но уже со «второго взгляда» ясно, что связь есть: ухаживали за девушками связано с расходами на подарки и потому заставляло экономить на курении, общение же со «старыми бабами» расходов не требует (м. б. даже приносит доход) и позволяет улучшить качество потребляемого табака (а м. б. этот табак есть даже подарок «старых баб»). Мысль — нельзя сказать, чтобы очень глубокая и высокоинтеллектуальная, но выражена она остроумно и чрезвычайно ловко. Фигуры и тропы частушечной поэзии следовало бы изучать повнимательнее. Они развитее и сложнее, чем в какой бы то ни было другой форме народной поэзии и порой напоминают самые изысканные обороты высокообразованных искусственных литератур Востока. К сожалению, до сих пор частушку изучали только со стороны наименее важной для оценки ее чисто литературных достоинств, именно, со стороны пресловутого «отражения быта»...

Итак, по своим формальным достоинствам частушка в народной поэзии занимает высокое положение. Это — самая конструктивная форма народной песни, завершение длинного эволюционного ряда. Ее упрекают в бессодержательности, в бедноте мысли. Это вряд ли правильно. Прежде всего, — с чем сравнивать? Для сравнения надо привлекать величины однородные и соизмеримые. Веселые, шуточные частушки надо сравнивать с другими шуточными произведениями народной поэзии, и при этом сравнении юмор частушки всегда окажется гораздо толще и развитее, чем элементарный и неуклюжий юмор эпических «щебылин-небывальщин» и т. под.. Сравнить же частушку с причитаниями, заплачками или грустными протяжными песнями методологически неправильно. Исполняемая под аккомпанимент гармоника, на посиделках и супрядках в атмосфере деревенского флирта, частушка, конечно, не может заключать в себе ни глубокомысленных философских сентенций, ни выражения щемящей тоски. Можно сказать, что частушка приблизительно соответствует эпиграмме, мадригалу и альбомным стихотворениям «искусственной» поэзии. Частушка должна обо всем говорить с улыбкой: этого требует деревенский светский этикет. Очень часто эта улыбка действительно является некрепким выражением беззаботного жизнерадостного настроения. Но не менее часто она является условной, деланной. И тогда за ней можно почувствовать стыдливо запрятанные от постороннего взора сильные душевные переживания...

Кн. Н. С. Трубенкой

ПАРАДОКС БУРЖУАЗНОГО МИРОСОЗЕРЦАНИЯ

Письмо к другу

Perchance to dream
Hamlet

Нет, дорогой друг, я вовсе не выдумал буржуа. Я только делаю попытку определить явление, которое описывалось многими. Буржуа, «бывший ничем, стал всем»; я хочу показать, что он нечто вполне определенное. Было время, когда он себя называл Человеком и воплощал собою весь человеческий род. Понятие буржуа тогда не имело определенного содержания. Настало мне кажется время точнее определить это содержание, и дать слову буржуа определенный смысл. Я и хочу вскрыть, или, вернее, самого буржуа заставить вскрыть этот смысл. Он достаточно взрослый для этого, — он достиг уже возраста размышления. Я знаю, как это неприятно, когда наступает время самоопределения, когда оказываешься принужден признать чем ты действительно был. Трудно примириться с мыслью, что не был чем-нибудь другим. Но познать действительное в безграничном океане бывших возможностей, в этом-то и заключается самопознание.

Мне не совсем понятно, почему буржуа обыкновенно не любит, чтобы его называли его настоящим именем. Короли назывались королями; священники священниками; рыцари рыцарями; а он настаивает на своем инкогнито. Вы можете обращаться к нему, называя его человеком нового времени или передовым человеком, или просто по национальности; но как-то трудно сказать ему в глаза, что он буржуа. Но сказать надо, и его заставить повторить, чтобы он ясно видел себя таким, какой он есть, и чтобы он мог сам себя познать.

Но для успеха дела, надо подходить к нему с уважением, и стараться избежать всего того, что могло бы унижить его собственное достоинство. Очевидно, что он не единственный представитель, а только одна из разновидностей человечества. Из множества попыток человечества устроить свою жизнь, его опыт несомненно один из самых интересных, я бы даже сказал, самых «удачных», особенно если принять во внимание, что он польз-

вался минимальным количеством гипотез и что следовательно результаты его как будто доказательны. Он решил жить на этом свете, не предполагая существования другого, или по крайней мере не ставя своей жизненной практики в зависимость от такого предположения. Он повел себя как человек не во сне. Он сказал: «Я существую», не: «Я вижу сны, следовательно я существую» (мысль бы его не вывела из состояния сна; я мыслю: я вижу сны — сны метафизик), а наоборот: «Я действую, следовательно я не сплю, следовательно я существую». (Мысль о чувстве: чувство реальности). Затем: утверждение собственности, (Я как обладатель вещей; владение предшествует бытию). Сначала труд, из него собственность.

После этого как можно говорить, что буржуа нет? По самому определению это существо существующее по преимуществу, это человек провозгласивший: «Я существую». Он долго должен был бороться, чтобы стать, чтобы убедить самого себя в своем существовании, чтобы иметь возможность утверждать, что он существует. Чего, чего не говорилось, чтобы сбить его с этого пути? Но вместо ответа, он действовал. «Живем ли мы по-христиански, живем ли мы?», спрашивал Боссюэт. Буржуа отвечал: «я живу», сперва робко, потом по мере того как он научался жить, все увереннее. «Жизнь есть сон, немного менее преходящий», говорил Паскаль. Буржуа поверил в жизнь и сумел дать существованности сну. «Как мало места мы занимаем на этом свете», говорит Боссюэт, и еще: «не знаю, не есть ли то, что мы называем бодрствованием то же состояние сна только менее спокойное; не знаю, вижу ли я реальные вещи, или только смущен пустыми призраками» *).

А буржуа знает, что он не спит. Он стал работать, и приручил призраки; он взял вещи в руки, все переставил и привел в порядок. Не совсем еще проснувшись, шатаясь со сна, он нашел себе место, пусть маленькое с точки зрения Времени и Пространства, и устроился в своем «уголке вселенной».

Но почему он уверен, что он больше не спит? «Сны нас сопровождают до самой старости», говорит Боссюэт. «Что такое одолевающие нас беспричинные страхи, как не страшные сны?». И честолюбие «ведущее нас от трудов к трудам, от обмана к обману и делающее из нас игрушку в руках людей», разве это не сон, превращающий мнимые удовольствия в истинные мучения? Ибо наступит смерть, наступит последнее мгновение, и когда оно придет наша вся остальная жизнь оказывается мечтой и заблуждением. Перед лицом смерти будет ли он еще верить в жизнь?

«Бог не хотел, говорит Николь, чтобы впечатление производимое на человеческую душу Смертью, могло быть умалено

*) Ср. у Фенелона: «Если сон может порождать обман чувств, обличаемый только при пробуждении, кто смеет утверждать, что самое бдение не есть другой род, или другая степень сна, из которого мне не возможно выйти, и обман которого не может быть обличен никаким другим состоянием чувств?».

посредством тех ухищрений, к которым они прибегают перед лицом других неудобных истин, и которое заключается в том чтобы 'затуманивать очевидность и уверенность притворными сомнениями'. Что же он станет делать перед лицом величайшей из несомненностей, Смерти?

Он будет подобен тем, слабым духом, которые, чтобы спастись от неизбежной мысли «ищут покоя у себя, дома, в своей семье, в жене, в детях, в своем маленьком имении, в своем маленьком хозяйстве, в своем маленьком поле, ими же посеянном, в своей маленьком жилище, ими же построенном», говоит Николь.

Выходит, что буржуа просто развлекающий себя трус, «один из тех, что работает чтобы оглушить себя шумом своей работы»*) Но это-то он и отказывается признать. «Порядочный человек, которому не в чем себя упрекнуть, ничего не боится, и никогда не испытывает страха»,**) Он сам будет упрекать своих противников в том что они питают в сердцах вульгарные страхи, развращающие человека. Когда эти противники возразят ему, что он не умеет умирать, он станет на смертном одре доказывать, что наоборот, он сумеет быть мужественным до конца.

Что же буржуа — трус или герой? Или то трус, то герой? Вопрос, мне кажется поставлен неправильно. «Я не знаю, ни кто меня поместил в мире», говорит Паскаль, «ни что такое мир, ни что такое я сам; я нахожусь в ужасном неведении обо всем». — «Как я не знаю откуда я взялся, так не знаю и куда я иду». Так что надо быть или очень трусливым или очень мужественным, ищешь ли вперед смело глядя по сторонам, стараешься ли ни о чем не думать. Но человек провозгласивший: «я существую», видит себя не в таком свете.

Начнем с этого утверждения: «я существую». Только прочно утвердивши его и проикнившись им, мы можем сказать: «мир существует». Это вовсе не значит, что этот вывод необходимо следует: наоборот делая его мы рискуем снова впасть в сон (другой сон; но не менее крепкий) от которого только что избавились. Значит: «я существую», и больше ничего. Но где существую я, вы меня тотчас спросите, думая этим вопросом поставить в затруднение только что проснувшееся я и заставить меня отказаться от моего притязания что я не сплю. Вы думаете я вам отвечу: «во вселенной, в определенном уголке вселенной?». Нет, это было бы неправдой. Я здесь, и больше нигде, здесь в моем маленьком имении, и стою прочно, и отсюда вижу вселенную. Но нет, пожалуй и это еще не точно. Я вижу только предметы имеющие какое-то ко мне отношение, в каком то смысле, значит, мне принадлежащие. Все это меня касается, все это для меня. Мой

*) Пастырское послание Архиепископа Лионского об источниках Неверия и Основах Веры. 1776.

**) L'Alambic Moral, ou Analyse raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme, par l'Ami des Français. 1773.

«маленький участок» простирается все дальше, чем дальше я смотрю; он растет; он вырастает в мир. И мне уж надо сделать усилие чтобы подумать о Вселенной. Но тут-то вы меня и поджидаете. «Я вижу эти ужасные мировые пространства со всех сторон, а сам прикреплен к одной точке этой безмерности, и не знаю почему я здесь, почему не там, не знаю почему отмеренный мне маленький отрезок времени изо всей вечности бывшей до меня и имеющей быть после отнесен именно к теперь, а не к тогда»*).

И вот меня уж нет; все мои усилия были ни к чему; я впал в свои прежние сны. «Суета сует и всяческая суета». Я слушаю вас, — и однако не вы правы. Я жив. Я хочу жить, а жить, значит начинать с себя, значит сказать «я существую».

Они ищут покоя в своем маленьком имении, говорил Николь. Очевидно оно очень маленькое, это имение. «Что такое человек перед лицом Бесконечного?» (Паскаль). И вот буржуа не в бесконечном. Человек сказавший «я существую», уже не обитатель вселенной и не житель вечности. Мое «маленькое имение», — вам, обитателям вселенной, к лицу так говорить. Мой дом затерян во вселенной, и сам я «как бы заблудился в каком-то захолустье природы». (Паскаль). Но что бы вы ни говорили, я, тот самый которого вы видите, засел у себя дома.

Есть большая вселенная, есть мое маленькое имение. Совершенно нелепо стараться увести из одного в другую и стараться найти для них общую меру. Надо выбрать одно из двух, — вселенную или меня; «я существую» или бытие вообще; вечность или настоящий миг. «Когда я думаю о краткости моей жизни, поглощенной в вечности предшедшей и последующей, о малости пространства занятого или даже видимого мною, погруженной в бесконечную огромность пространств неизвестных мне и обо мне не ведающих, мне страшно и странно быть здесь скорее чем там, ибо нет оснований почему скорее здесь чем там, почему теперь, а не тогда». (Паскаль). Но почему же созерцающая вселенную, стремиться в ней найти самого себя? почему исходя из видения вечности желать вернуться к настоящему мигу, к этому часу

*) Паскаль. А вот что говорит Пеккер (*О Важности Религиозных мнений*, 1788): «Человек в этой безбрежности не более как незаметная точка, и не смотри на это, благодаря своим чувствам и разуму, он находится как бы в связи со всей вселенной; но как эта связь приятна и покойна! Почти как отношение между государем и его подданными: все приходит в движение около человека, и все имеет отношение к его желаниям и его пундам; Природа занята, как бы им одним; действие стихий, шумы земли, и лучи света, как будто применились к его способностям и силам; и между тем как небесные тела движутся со скоростью пугающей наше воображение, и увлекают в своем течении наше обширное обиталище, спокойные в своем убежище и под благодетельным кровом избранным каждым из нас, мы мирно наслаждаемся миром и благом, которые, покорные еще другому чудесному средству, соотнобразуются с нашими вкусами и со всеми чувствами коими мы одарены».

моей жизни, к происходящему *сейчас*? Для всего живого исходная точка не вселенная, не «недвижное присутствие Вечности»; но «я существую», «я действую *сейчас*»^{*}). Они ищут покоя «в поле ими же посеянном, в жилище ими же построенном», говорил Николь. Но именно потому что они посеяли это маленькое поле и построили маленькое жилище, они там нашли покой и живут в полном спокойствии.

Итак, мир буржуа во всех отношениях новый. «Я смотрю повсюду, и не вижу ничего кроме тьмы», сказал Паскаль. А новый человек устроил у себя в доме освещение, и довольными глазами созерцает звездное небо. «Не будем останавливаться на видимом но на невидимом, ибо видимое временно, но то чего мы не видим — вечно». (Влссюзт). Но буржуа живет во времени, и распределяет по часам свой хорошо налаженный распорядок. «Есть только один Рай: кто хочет устроить себе рай на земле, пусть не надеется на небесный», говорит Кенель. «Основная особенность моей религии», говорит автор Письма к А. хиепискому Лионскому (1763), «готовить себя к вечному блаженству, только после того что я устроил свое счастье на этом свете». Для Кенеля, христианин есть «человек преодолевший человека». Автор Письма стремится быть только человеком, вполне человеком.

Все это тесно связано и образует совершенное целое. Как исходная точка, «я существую», я пробуждающееся и действующее, пребывающее в настоящем и ограниченное в пространстве, собственный центр все определяющий, ищущее счастья или прославляющее человечество. Я, действие, труд, собственность, счастье, человечество. Не наш ли это мир, мир переставший быть вселенною, мир без вечности и без всякого бесконечного?

Я попытался вкратце изложить философию буржуа, парадоксальнейшую из философий, если только ее рассматривать с точки зрения чистого познания. Ибо что же может быть страннее, чем то оправдание видимостей, на котором она всецело покоится? Расстояние предметов от нас соответствует тому, что мне показывает опыт; мир там где я; совершенно абсурдное утверждение большой реальности настоящего мига по сравнению с прошлым и с будущим. Но в том то и дело, что буржуазная философия не основана на умозрении: она результат живого опыта. В порядке биологическим ее можно было бы рассматривать как попытку применения к среде более последовательную чем прежние, как обращение мысли к жизни. Единственное к чему могла привести мысль предоставленная самой себе — сон о реальности по ту сторону сна. Но мыслить свой сон ни как не значит выйти из своего сна; это будет только сон о сне. Сон умножается на сон, и так без конца. Надо усилием воли выйти из сцепления, не надо

стараться уразуметь где находишься, прежде чем начать строить «великолепные дома», а начать их строить. Иными словами: начать жить, не зная откуда пришел и куда идешь.

Я знаю что дело обыкновенно представляется вовсе не так. Начали, якобы, с того, что поставили вопрос: да существуют ли эти призраки, и обнаруживши, что их нет, увидели дневной свет. (Буржуа любит говорить о свете, и думает, что чтобы увидеть свет, ему стоило только протереть глаза). Выходит что он продукт своих знаний, и так как, очевидно его знания не из него взялись, он великодушно зачисляет в свои создатели философов и ученых, научивших его видеть вещи такими, как они есть. Но не наука научила его жизни. Она в лучшем случае снабжала его, по мере надобности, аргументами для защиты его приобретений. То, что он сделал, не сводится к установлению правильного миропонимания, или к замене заблуждений истиной. Он переставил порядок вопросов, стал представлять мир как функцию жизни, и перестал стремиться к пониманию самого себя, как функции целого. Он может возразить, что если дело обстоит так, это только потому, что мы еще не можем объять мировое целое, но так толковать, как я толкую, эволюцию буржуазии, значит опрокидывать верх дном порядок вещей. «Кто меня поместил сюда? Чье изволение, чей промысел присудил мне *это* место и *это* время?» (Паскаль). На эти вопросы буржуа так же мало сумеет ответить, как Паскаль. Однако он не сказал «хотя я не знаю где я, я позволяю себе жить» (заблуждение Паскаля как раз в его постановке вопроса), а сказал: «Я умек жить, а потому могу обойтись без знания где я».

Итак, я хотел бы показать, как буржуа научился жить. Согласен, что ответить на этот вопрос трудно. Человек в состоянии действия говорит мало, и если говорит, исходит из действия, и теории его не заслуживают доверия. Так Философы нам много чего нарасказали о происхождении вселенной и о судьбе человека, и ничего, казалось бы, не мешает нам в их писаниях искать выражения духа буржуазии. Но нельзя доверять их системам: в них есть множество миров, самых разнообразных; но ни в одном из них нет буржуа. У него есть свой дом, и в нем он устроился. Он сам себе его устроил. Это дело его рук. Потом уже философы стали его толковать по своему, и их толкования, что и говорить, весьма поучительны для познания этого дома, но надо к самому этому дому обратиться, хотя бы для того, чтобы хорошенько понять философов.

Это не значит, что я хочу поймать буржуа врасплох, одного без идей. Наоборот, я хочу понять его идеологию, идеологию предшествующую всякой системе и предполагаемую всякой системой нового времени. Это, относительно каждой системы, Дело, которое предшествует Слову. Поэтому не надо отвлекать эту идеологию от жизни. Будем исходить из «я существую», и только таким образом мы поймем подлинную иерархию буржуазных ценностей, и весь ход современной мысли.

^{*}) «Для человека тоже самое быть не занятым и не существовать», говорит Вольтер (Замечания на мысли Паскаля): я занят, следовательно я существую.

Было время, когда буржуа любил играть в философа, и это было очень хорошо. Но прежде чем рассуждать с ним о Боге и мире, постараемся понять что он делает, как он действует и как реагирует. Я работаю, я смотрю вперед. Надо см третью вперед. Порядочный человек смотрит вперед. На этом можно остановиться. Так, часто, поступает и буржуа, когда он утверждает, что единое на потребу — нравственность. Возможность предвидеть результаты своих действий предполагает закономерность явлений. Дивный порядок управляет миром. Существует верховная мудрость все устроившая. Ничего не мешает буржуа остановиться на этих положениях, или выбрать себе другие, которые могли бы объяснить ему механизм вселенной. Но все время надо иметь в виду исходный факт: — жизненный опыт, социологический факт общего людям опыта, ежедневно подтверждаемого, и который в свою очередь послужит основанием новому устроению жизни. Вот исходная точка.

Таким образом, становится все яснее, что мы представляем собою не более как одну разновидность человечества, свою собственную. Мы узнали, что мы не вечны. В буржуа нет ничего окончательного. Было время когда его не было. Он начался в определенное время, и восходя к этому началу он научится сам себе. Познай самого себя — посредством истории. Восстанавливая то время когда тебя еще не было, и подвигаясь вперед по времени когда ты начинался, научись рассматривать себя как будто бы тебя уже нет. В этом заключается историческое сознание, и труд историка который все превращает в прошлое.

Было время, когда буржуа, еще не совсем уверенный в себе, старался оправдаться в глазах тех, кто обвинял его в чрезмерной самоуверенности. Он старался доказать свою правоту, и французские священники 18-го века сохранили нам в своих проповедях его аргументы, для того, конечно, чтобы по мере сил их опровергнуть. Это страстная полемика, в результате которой окончательно складывается буржуазное сознание. Достаточно ли быть порядочным человеком, или надо еще быть благочестивым?

Сначала буржуа не совсем уверен в ответе, но постепенно сомнения исчезают, и не потому, что он доказал себе свое положение метафизическими доводами, а потому, что существование просто порядочных людей стало очевидным и неопровержимым фактом. Тогда он провозгласил свою независимость, и отвернулся совершенно от старого мира в котором ему было отведено одна роль — грешника.

Новый мир буржуа я и старался понять. Мы все в нем живем, и он нам знаком лучше всякого другого. И однако, если нам случится отвлечься от него, в то же время сосредоточив на нем свое внимание, мы, может быть удивимся тому где мы находимся и что мы в нем живем никогда не задавая себе вопросов. И это удивление, дорогой друг, не начало ли, по слову Платона, всякой философии?

Бернард Грутхейсен.

(перевод с французской рукописи Д. С. М.)

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Довольно трудно дать общую картину современной французской литературы, так как она находится сейчас в процессе быстрого изменения. Писатели, выступившие вскоре после войны, если они во время себя не переделают, могут оказаться более устарелыми, чем старики, против которых они явились реакцией. Все-таки мы должны начать с этого движения, наметить его контуры, и показать, что оно должно неизбежно само собой исчерпаться, если не получит извне нового и более целесообразного направления.

Несколько характерных черт послевоенной литературы свидетельствуют об ее недостаточности. Во-первых, для большей части писателей, определившихся или ставших известными около 1919 года, жизнь была отпуском с фронта. Естественная реакция после четырех лет крайнего напряжения: им хотелось забыть прежнее и воспользоваться свободой, которую им давало перемирие. Игры «чистой поэзии», психологизм, изящные переборы Жана Жироду, *) похожие на те аккорды, которые берут музыканты перед началом исполнения симфонии, блестящие фокусы Поля Морана, **), — вот явления, характерные для этого затянувшегося отпуска. Большие человеческие проблемы были в забросе, или фигурировали в модных произведениях, в качестве безвредных фантомов, служивших одной забаве. Разве война не доказала в одно и то же время и тщетность идеалов, и способность наименее подготовленного человека стать, в случае нужды, героем.

*) Jean Giraudoux, р. 1882; дипломат и беллетрист.

**) Paul Morand, р. 1888; дипломат и беллетрист. (Ouvert la Nuit, 1922).

Недавний страшный и леденящий опыт всячески поддерживал убеждение, что сознание бессильно над поведением, что утонченные переживания, плод высокой культуры, неизбежно втаптываются в грязь и разбиваются практикой жизни. Искусство, литературная мысль, казались предметами роскоши, ибо казалась доказанной их неспособность оказать влияние на ход вещей.

Другая черта этой литературы — ее *частичность*. Каждый автор, каждая литературная группировка, отводили себе один кусочек человеческой реальности и им исключительно и занимались. Один интересовался вопросами чистой формы; другой реакцией эмоций на ощущения; третий подчинял сознание бессознательному. В результате каждый говорил о своем маленьком участке, как будто бы к нему сводилась вселенная, это вносило путаницу в понятия, ибо отдельные стороны человеческой действительности — жизнь ощущений, например, — получает совершенно иной смысл, если ее рассматривать, как *единственное* выражение человека, чем если ее связать с другими сторонами человека: жизнью умственной, нравственной, религиозной и т. д. Трудно себе представить, до какой степени частичный и исключительный характер этих интересов отдалял одного писателя от другого. Мне случалось присутствовать при встрече писателей общеизвестных, сверстников, жителей того же города: можно было подумать, что присутствуешь при разговоре Краснокожего с Тибетцем.

Все это не имело бы таких серьезных последствий, если бы эти писатели довольствовались выполнением своей работы в строгом молчании творчества. Но потребность говорить *по поводу* своих произведений — и не в тексте самого произведения, а на ряду с ним — была у них еще сильнее, чем самая потребность творить. Чуть не всякое произведение — особенно у поэтов — сопровождалось комментариями автора и его друзей; и интересно отметить, что они приписывали этим комментариям способность увеличивать ценность комментируемых стихов. Казалось, что творческий позыв, бессильный вылиться в достойное себя творение, принужден был дополнять себя разговорами. Между тем комментарий есть общественное выступление: отсюда недалеко и до приравнения таких выступлений деятельности поэта, как такового. Сюрреалистам, например, их ругательное письмо к

Клоделю казалось действием того же творческого напряжения, что и их стихи.

Наконец, я должен отметить четвертую черту, прямо связанную с предыдущей, и очень заметную в после-военной литературе: я имею в виду необычайный, с некоторого времени, рост коммерческой организации литературной жизни. Затраты на рекламу и на муссирование новых книг, конкуренция издателей, и другие причины приводят к охоте издателей за авторами, результаты которого более комичны, чем утешительны. Новому автору, как только его «открыли» и если его только поддерживает какая-нибудь литературная группа, или сманивает другой издатель, предлагают контракт, иногда даже не читавши его писаний. И так как требуется постоянно возбуждать читательское любопытство, начинающие облачаются авторитетом, заставляющим публику забывать об их незрелости. Эта незрелость, столь бросающаяся в глаза в послевоенной литературе, еще более подчеркивает уже отмеченные нами недостатки. Не то, чтобы эта молодежь была бедна силами и дарованиями, но они проявляют самоуверенность в односторонности, которая не так обычна в эпохи большей дисциплины и более строгого выбора, хотя бы эти последние и грешили несправедливостью. Ученичество в наши дни, можно сказать, упразднено.

Вот недавний пример, отражающий несколько из перечисленных черт: спор о Чистой Поэзии. Приглашенный произнести 24 октября 1925 г. традиционную речь на соединенном заседании пяти Академий, аббат Бремон, *), возмел счастливую и слегка ироническую мысль посвятить эту речь похвале Чистой Поэзии.

«Всякое произведение поэзии», — он утверждает в ней, — «обязано своим собственно-поэтическим характером присутствию, излучению, преобразующему и объединяющему действию таинственной сущности, которую мы назовем Чистой Поэзией (*poésie pure*)».

Г. Бремон отвергает теорию поэзии-музыки, хотя он и присоединяется к ее сторонникам против защитников поэзии-разума. «Красивые шумы» поэзии кажутся ему недостаточными, чтобы объяснить поэтическую эмоцию, в которой мы восприни-

*) Henri Brémond, член Французской Академии; автор многолетней «Истории Религиозного Чувства во Франции».

маем сначала не мысль или чувство поэта, но самое душевное состояние, которое делает его поэтом, его хаотический, цельный, недоступный разделяющему сознанию опыт».

Мы схватываем здесь, как бы на лету, тот прием разрезания, ту таинственную потребность разделять, чтобы ценить, которую испытывают многие из наших современников. Поэтическое переживание г. Бремона отождествляет, или почти отождествляет, с мистическим опытом, ибо, как он говорит, магия поэтического переживания «зовет нас к состоянию покоя, в котором мы только отдаемся, хотя и активно, лучшему и большему нас самих».

Прекрасно, но не замечательно ли, что великие религиозные поэты, Данте, напр., или Мильтон, никогда не пытались осуществить это переживание путем освобождения от мыслей, от эмоций, от всего, что составляет содержание поэзии. Кроме того, непонятно, каким образом г. Бремон, который сам же так умно нас предостерегает против понимания поэзии как чистого звука, сумеет избежать приравнения поэзии — звучности. А это привело бы его к обоснованию своего спиритуализма явным материализмом; ибо именно смысл дает поэтическому произведению душу, подымая его до нематериального. С другой стороны, сторонники поэзии-разума тоже неправы, так как только «музыка» стихов дает возможность словам выйти за пределы своего буквального значения, но в направлении этого самого значения. Впрочем, существо спора мало интересует нас сейчас: я только хотел показать на характерном примере, как наши современники из односторонних наблюдений строят всеобъемлющие теории и как это мешает им построить критическую доктрину, которая давала бы удовлетворительное объяснение совокупности фактов.

Г. Бремон ссылаясь в своей речи на пример Поля Валери. *). Г. Валери, большое дарование которого общеизвестно, склонен как раз сводить поэзию к «музыке» и вообще гораздо скромней в своем понимании поэзии. Он не думает, чтобы она вела к познанию Бога. Она представляется ему, как высшего порядка игра, и чистой он называет такую поэзию, которая путем последовательного устранения, приходит к полному освобождению

*) Paul Valéry, р. 1872; поэт и мыслитель, ученик Малларме. Стихи его собраны в Сборнике *Charmes* (1923).

нию от всякой примеси прозаического. Г. Валери ставит ударение на момент формального сочетания, на конструкцию. Человеческое содержание стихов ему гораздо менее важно. Вопрос сводится к тому, чтобы решить, где кончается прозаическое, и где начинается поэтическое. В мысли г. Валери можно открыть некоторую неясность. Утверждать, что поэзия есть «выражение» (expression), может равняться утверждению, что поэт должен стремиться наиболее поэтическим образом передать что-то такое; а это может означать, что он должен давать форму своим самым сильным переживаниям. В первом случае, как, напр., у самого Валери, «выражение» будет доведено до тем большей чистоты, чем меньше в выражаемом будет эмоциональной нагрузки. Еще совершеннее будет выражение, если выражаемое будет чисто-идеально: если предположить, что идея ясно определена и как бы стабилизирована в сознании, вся психическая работа будет направлена на работу формальной передачи. Наоборот, если выражаемое — сложное переживание, трудно определяемое, разнообразно связанное с другими человеческими ценностями, — шансов на преобладание формального элемента будет меньше, или, по крайней мере, форма будет совершенно неотделимо облекать интенсивно-эмоциональное содержание.

Таким образом и здесь мы находим одностороннее построение, основанное на крупном, но все же одностороннем поэтическом опыте.

В знаменательном противоположении г-ну Валери мы находим последователей чистого психологизма Марселя Пруста. *). Для многих не подозревавших, что психологизация действительности может быть такой полной, *Du côté de chez Swann* было откровением. Никакая подробность однажды данного переживания не ускользает от анализа Пруста. Его наблюдающее сознание при помощи необыкновенной памяти, как бы обшаривает самые далекие закоулки прошлых переживаний. Весьма важно отделять несравненный аналитический метод Пруста от его психологических воззрений, необходимого следствия доступного ему челове-

*) Marcel Proust, 1873 — 1922, знаменитый романист *Du côté de chez Swann*, первая часть его многотомного романа *A la Recherche du Temps perdu*, вышла в 1913 г., но обратила на себя всеобщее внимание только в 1918 — 19 гг.

ческого опыта. Этого различия не делали его первые ученики. Один из них, глубокий и тонкий критик, Жак Ривьер, *) думал найти *причинную* связь между аморализмом Пруста и изумительными результатами его анализа. К концу своей жизни Ривьер довольно существенно изменил свое мнение по этому вопросу. Знакомство с Мередитом **) и восхищение «Эгоистом» открыли ему глаза на совместимость анализа столь же детального, как прустовский, с определенной этической ориентацией. Тем не менее ривьеровская кампания в пользу Пруста, показательна, приблизительно, в том же смысле, что кампания вокруг Чистой Поэзии. В обоих случаях задачей было изолировать один бесприемный элемент — психологию или поэзию — утверждением, что этот один элемент достаточен для художественного творчества.

Я уже сказал, что такое положение дел не могло продолжаться — ясно теперь почему. Вглядываясь пристальнее в этот вопрос, некоторые писатели поняли, что нельзя создать критического сознания, — т. е. самосознания литературы, — единственно основываясь на утверждениях самих художников, утверждениях более или менее фантастических и, во всяком случае, вытекающих из их личных особенностей. Они поняли, что если г. Валери подчеркивает формальный элемент в поэзии, мы этим обязаны его личным особенностям и направлению его интересов и что анализ Пруста вполне отделим от того незанятого человечества, которое он изображает. Стала чувствоваться потребность в более широкой и полной теории, которая позволила бы поставить каждое произведение в некоторую иерархию, и произносить «оценки».

Вот уже года три тому назад, как мы вступили в эпоху доктринальную. В подтверждение этих слов я сошлюсь на успех Нео-Томизма и на образование группы *Philosophies*, которая сейчас издает журнал «L'Esprit», ведущийся в духе нео-кантиан-

*) Jacques Rivière, 1888 — 1925, критик; редактор с 1919 года *Nouvelle Revue Française*.

**) George Meredith, 1828 — 1909, знаменитый английский романист и поэт, который в настоящее время пользуется особым вниманием французов. «Эгоист» (*The Egoist*) роман Мередита.

ской философии. Даже бывшие члены группы Dada, по своему, основывая Сюрреализм, провозгласили общую теорию, отрицая из всех сил, хотя и на словах только — человека запада. Наконец, живой интерес к восточной мысли, занесенный к нам преимущественно из Германии, тоже свидетельствует об этом стремлении связать отдельные ценности в цельное учение о человеке.

Еще более показательны результаты, к которым со своей стороны приходят техники литературы, особенно романисты. Большой поклонник и, в известном смысле, ученик Марселя Пруста, Жак Лакретель (*Jacques de Lacretelle*) дал нам в своем романе «*La Bonifas*» психологическое построение, весьма отличное от тех, к которым нас приучил его учитель. Поставив себе главной целью написать роман, иными словами рассказать историю и дать психологию лица *в состоянии действия* он задумал свой рассказ так, чтобы на каждой страничке мы могли иметь *цельную интуицию лица*. В то же время он стремился осветить поступки своей героини связной психологической и этической конвенцией, до известной степени *истолковательной*. Марсель Арлан (*Marcel Arland*) в романе «*Monique*» не обнаруживает такого, можно сказать, даже нарочитого стремления к связности, но его психологические записи всегда выражают *цельное* существо лица о чьих чувствах он нам рассказывает и которому он стремится дать определенное место в мире этических ценностей. Эти примеры напоминают нам весьма кстати, что самые условия романической формы, из которых главное ее *драматический* характер, приводят младшее поколение романистов к пониманию личности как целого.

Было бы праздным занятием делать предсказания о дальнейшей эволюции нынешней литературы, но несколько слов об ее очередных проблемах могут помочь читателю составить свое мнение. До войны обозначился разрыв между тем, что можно называть *литературой творчества* и *литературой обсуждения или оценки*. Первая стремилась почти исключительно к созданию художественных произведений, т. е. к реализации переживаний и чувств; вторая притязала на некоторое моральное, или, по крайней мере, умственное влияние. Первая обвиняла вторую в отсутствии вкуса и отчуждении от действительной жизни; вторая обвиняла первую в кружковщине, в чрезмерной умственной и нравственной лени, и пренебрежении жизненными проблемами. «Литература творчества» была дочерью Символизма, «литература

оценки» — побочным продуктом деятельности учителей второй половины 19-го века. *).

Хотя война только на время прекратила этот спор, теперь эти две литературы начинают, повидимому, сближаться. Г. Маритэн^{**)}, например, и его ученик г. Массис^{**)} стараются омолодить «литературу оценки», оказывая внимание новым течениям в искусстве, тогда как «*Nouvelle Revue Française*» — официальный, так сказать, орган «литературы творчества» уделяет много места авторам, желающим вернуть художественной литературе утраченную силу суждения. Мне, как сотруднику этого журнала, не к лицу было бы хвалить его за это. Но должен сказать следующее: подлинная творческая литература должна интегрировать ценности созданные символизмом, импрессионизмом, литературным «кубизмом». Но если она должна их включить в синтез еще более обширный, где было бы место силе суждения и который позволял бы дать выражение великим человеческим проблемам, — то литература, игнорирующая эти ценности, или пренебрегающая ими, обрекает свои оценки на бесплодие. Ибо бесполезно мыслить, бесполезно вводить (и наводить) порядок, если деятельность умственная не будет в тесной связи с другими сторонами человеческого духа. Литература творчества схватывает реальные реакции духа на внешний мир, и тем не только позволяет *оформлять* нашу чувствительность, но обогащает наше сознание жизни.

Иначе говоря, нужно, чтобы в художественной интуиции был даваем цельный, связный мир, и для этого нужно, во первых, воспитание нашей чувствительности, во вторых, создание некоторого критического гуманизма, который бы руководил нашими эстетическими и психологическими оценками. Мы видели, что и критики и художники с недавнего времени направляют свои усилия

*) На крайней точке «литературы творчества» стоят «сюрреалисты», у которых творчество в своем стремлении к предельной чистоте доходит до самоотрицания. На крайней точке «литературы оценки» можно было бы поставить произведения г. Бурже, бесплодный концептуализм которого лишает всякой ценности многочисленные заключающиеся в них оценки. (Прим. автора).

**) Jacques Maritain, глава католического течения неотомистов; Henri Massis, его ближайший последователь и журнальный застрельщик.

по этой линии. Я приведу еще пример: «*Plaisir des Sports*». Жана Прево (Jean Prévost), где автор применяет аналитический метод, довольно похожий на прустовский, к изучению и выражению тела, в движении радостно сознающего свое единство и свою силу. То, чего еще нам не хватает и что мы горячо призываем — это возрождение духа комедии, предполагающего прочно установившуюся перспективу человеческих ценностей. Появление гения, подобного Фильдингу, т. е. писателя, могущего создавать и живых и живучих людей, и произносить оценки, умеющего из живого человека извлекать этически-прекрасное и бить нас любви, такое явление было бы для многих из нас радостной зарей.

Я не думаю, чтобы какое нибудь из упомянутых мною учений имело шансы положить основание тому критическому гуманизму, которого мы ждем. В самом деле нам нужна не теория, накладывающая на нас готовые рамки, но философия критическая, способная принять ритм творческого духа, которая явилась бы не более, чем ясным и всеобъемлющим пониманием творчества. Поэтому мы обращаемся охотнее к науке, чем к какому либо религиозному учению, к науке, умеющей жить и постоянно сочетать сомнения с уверенностью. Ошибка некоторых из наших учителей была в том, что они хотели растить человеческое растение в тепличной атмосфере. Ошибка же неотомистов и современных возрожденцев религии в том, мне кажется, что они хотят навязать человеку образ мира, некогда естественный, но теперь без принуждения не возникающий. Мы присоединяемся к словам Мерседита, который подводит итог всему гуманизму Запада: «*Our great error has been (the error of all religion, as fancy) to raise a spiritual system in antagonism to nature*». «Наша главная ошибка (и ошибка, мне представляется, всякой религии) была, что мы хотели построить систему духа, враждебную природе».

Рамон Фернандес.

(Перевод с рукописи Д. С. М.)

СОВРЕМЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нынешнюю Английскую литературу я представляю себе в виде большой неубранной комнаты. Беспорядок всюду, — занавески истлели от солнца, по ковру рассыпаны грамфонные иголки, — но по стенам стоят шесть солидных шкапов, качеством своей работы свидетельствующие о потребностях недавнего прошлого. Имена этих шести солидных: Харди, Бенет, Уэлс, Голсуорти, Киплинг, Шо; 1) и я, в этой статье, не собираюсь говорить об них, так как всем известно где они стоят и что делают. Известно, что Голсуорти постройка величественная, хотя и несколько неустойчивая; что Уэлс поставлен так чтобы всем об него спотыкаться; что правый ящик Беннета не знает, что лежит в его левом ящике и что в его правом ящике лежат хорошие вещи.

Деятельность этих шести солидных завершилась, и дела их, в некоторых случаях, вероятно, останутся бессмертными: «Династы», 2) «Бабьи сказки» 3) и «Майор Варвара» 4) может быть будут читаться тогда, когда большая часть книг, с которых я собираюсь говорить, будут забыты. Все-таки я собираюсь говорить об этих книгах. Нельзя заниматься одними знаменитостями, — а иностранцы, слепящие за нашей литературой слишком к этому склонны, что впрочем вполне естественно: шесть солидных первыми бросаются в глаза, и иностранный наблюдатель принимает на веру, что они характерны для всей Английской литературы, и что в них-то младшее поколение и видит источник вдохновения. На самом деле они чаще оказываются источниками раздражения,

1) Thomas Hardy, p. 1840, патриарх английских писателей, романист и поэт; Arnold Bennett, p. 1867, романист-натуралист; John Galsworthy, p. 1867, романист, автор *The Forsyte Saga*; имена Уэлса, Киплинга и Шо хорошо известны русскому читателю. (Все примечания принадлежат переводчику).

2) «The Dynasts», «эпическая драма» Наполеоновской эпохи, Томаса Харди (1904-1914).

3) «Old Wives' Tales», роман Беннета (1908).

4) «Major Barbara», пьеса Шо (1905).

— так что обратимся от них к самой комнате, к экспериментальной и творческой работе идущей в ней, к хаосу корзин и метел, диванов и пуфов, почти скрытому под собой лежащий под ними ковер времен Виктории.

Беспорядок этот — после войны. 1914-1918 г. г. оставили глубокий след в душе каждого писателя, говорит он об них или молчит. Литературу одних наций эти годы вогнали в отчаяние, других в патриотизм. То как они подействовали на Англию будет меньше по душе моралисту.

Разуверение во всем, — но безо всякого трагического оттенка. Долг, сила воли, внутренняя дисциплина — не в цене, мистика и сверх-личное сознание под подозрением, и идеал младших писателей (поскольку можно у них говорить об идеале) — наблюдательное и утонченное безделье. Когда этот идеал преследуется достаточно ревностно он приводит к полному прекращению писания. Виновата во всем этом война, но война только усилила факторы, действовавшие уже раньше, — помогла так сказать, их победе. В течение всего царствования Эдуарда VII наши нравственные понятия разлагались, наш ковер пачкался; и правила нашей безнравственности были уже возведены Самуилом Бутлером, 1) его роман, оказавший такое влияние, «Путем всякой плоти» (*The Way of all Flesh*) вышел еще в 1903 г. Всякий, кто хочет понять этику современной Англии должен прочесть его. В нем все уже есть: отрицательное отношение ко всякому семейному и религиозному авторитету; ненависть к жестокости; равнодушие к целомудрию; раздражительность пополам с терпимостью. Эпикур уже вышел на поиски Абсолютного, и гроза Армагеддона, ниспровергшая столько другого, только утвердила его в его эпикурействе. Правда и счастье — сколько угодно, и доброта, если ее можно как-нибудь сюда тоже втиснуть; но стремления, благодарю Вас, не надо. Читайте Нормана Дугласа, Джорджа Мура, 2) Вирджинию Вульф, Стеллу Бенсон, 3) Макса Бирбома, 4) Литтона Стречи, 5) Давида Гарнета, 6) Ситуэлей 7) во многом они расходятся, но в одном все согласны — ни самосовершенствоваться, ни совершенствовать мир они не собираются.

Есть, конечно, множество исключений, и об некоторых из

1) Samuel Butler, 1835-1901.

2) George Moore, p. 1852, романист и эстет.

3) Stella Benson, p. 1892, романистка.

4) Max Beerbohm, p. 1872, эссеист и каррикатурист.

5) Lytton Strachey, p. 1880, биограф и критик, автор *Queen Victoria* (1921) не сменявший с St. Loe Strachey, влиятельным публицистом, редактором *Spectator*'a.

6) David Garnett, молодой романист, автор *Lady into Fox* 1922, Женщина, превращенная в лисицу, есть русский перевод).

7) Семья Sitwell — братья Osbert (1892) и Sacheverell (1900) и их сестра Edith. Все трое поэты; Sacheverell также автор книг об искусстве Барокко.

них я должен упомянуть. Наши поэты, наши старшие поэты — вовсе не причастны ко всеобщему смятению и беспорядку. Ейтс, 1) (хотя он теперь пишет мало) живет в призрачной и прекрасной стране своего создания, в туманной стране Ирландских фей, у туманно-героических морей Ирландии. Там он поет себе вполголоса, большой певец, которому нечего сказать ни о нашем времени, ни о какомнибудь другом. И Роберт Бриджес, 2) наш поэт-лауреат — стоит в стороне от нас, и как ему не стоять в стороне. У него есть свое видение классической и понятной красоты, свое подлинное благородство слова и мысли. Его книга «Новых стихов» (New Verse, 1925) стоит на его прежнем высоком уровне и одно из ни его стихотворений, посвященное «Come si quando», борется с человеческим страданием как только может бороться м. амор. Бриджес украшает наше время но он не может его выражать. Потом есть еще один поэт, мало знакомый иностранному читателю — А. Э. Хаусман, 3) который кажется мне иногда величайшим лириком столетия. Подобно Бриджесу, Хаусман владеет классической формой (не даром он профессор латинского языка в Кембридже). Но этим их сходство ограничивается: в форму эту Хаусман вливает страсть, негодование, отчаяние и страсть такую жгучую, что она врывается за пределы гроба и наполняет подземный дом всеми тревогами плоти. Он издал только две небольшие книжки стихов «Шропширский парень» (A Shropshire Lad, 1896) и «Последние стихотворения» (Last Poems, 1922). Обе книжки объединены тем же «опытом», — опыт который также легко почувствовать и также трудно определить как опыт нашедший выражение в сонетах Шекспира, или в стихах о Люси Вордсворта. Из двух его книжек, вторая, еще более совершенная по мастерству, чем первая, в то же время гораздо интенсивнее и глубже. В стихотворении «Ворота Ада» (Hell's Gate) есть один момент, когда мертвые выходят из гробов, в своем прежнем, юзезном виде, и Царя Смерти убивает его же забунтовавшийся часовой — момент столь трагически-победный, что вся вселенная просыпается от дурного сна. Нет, положительно, А. Э. Хаусман, не причастен духу нашего времени.

Еще мы должны упомянуть по разным причинам — Д. Х. Лоренса, 4) романиста и поэта с темпераментом пророска, взвешивающего истину, ясную, вероятно, ему самому, но разную толкуемую его слушателями; и еще одного поэта и романиста, Валь-

тера де-ла Мара, 1) заключившего самые капризные из своих раздумий в «Записки Карлика» (Memoirs of a Midget, 1921); и двух писателей очень не чуждых сентиментальности Джона Мейсфильда, 2) и Джеймса Барри, 3) и двух писателей являющих смесь виолобивой щековности с гримасой веселостью, — Г. К. Честертон, 4) и Хиллера Беллока 5); и новоявленную историческую романистку Насми Митчисон (Naomi Mitchison) в своем романе «Побежденные» (The Conquered, 1925) 6) обнаружившую сочувствие к униженным и понимание неявного, какие даются немногими историками; и Форреста Рида 7), недцененного северно-ирландского писателя, прелестная и художественная автобиография которого, «Отступник» (The Apostate), вышла в этом году; и Г. Л. Дикинсона 8), который в своей фантазии «Волшебная флейта» (The magic Flute, 1920) пытается переложить в Моцартовскую музыку тревоги нашего века. Каждый из этих писателей идет за своим внутренним светом. Свет этот мог бы как раз оказаться тем, который бы осветил нашу неубранную гостиную. Но этого не сказывается, и к гостинной мы теперь обратимся.

Норман Дуглас (Norman Douglas) и Вирджиния Вульф (Virginia Woolf) те двое писателей, которые мне кажутся, наиболее характерны для существующего положения. Они стражают господствующие смятение, но сами ему не причастны, т. е. они художники и мастера, знающие чего именно они добиваются. Дугласа который на много лет старше Вирджинии Вульф трудно классифицировать: он вольный партизан, в роде Самуила Бутлера, но жестче, циничнее; для него похоть, или ленивая терпимость — лучшее чего можно ожидать от человеческих отщепеней. Им написано два романа «Южный Ветер» (South Wind, 1917) и «Они пошли» (They Went, 1920) не совсем похожие на романы, и несколько книг путевых очерков, совсем не похожих на путевые очерки. «Вместе» (Together, 1923) дает хорошее представление об этих последних и вообще об его таланте. По внешности это записки о лете, проведенном в Австралийских горах, вдвоем с приятелем; на самом же деле это сложное художественное целое, полное перекликающихся мотивов, сложное как симфония, и богатое красотою, напоминающими о музыке. Содержание Дугласа чдр-

1) Walter De la Mare, p. 1873.

2) John Masefield, p. 1876; поэт, автор популярных повестей в стихах.

3) Sir James Barrie, p. 1860; популярный драматург; автор общеизвестной в Англии детской пьесы Peter Pan.

4) G. K. Chesterton, p. 1874, публицист, поэт, романист, известный русской публике преимущественно своими романами.

5) Hilaire Belloc, p. 1870, публицист, сатирик и эссеист, католического направления.

6) Из эпохи покорения Галлии Цезарем.

7) Forrest Reid, p. 1876, родом из Уэльстера.

8) G. Lowes Dickinson, автор книги о Китае и книги о причинах войны, пацифист.

1) W. B. Yeats, p. 1865, главный деятель Ирландского романтического возрождения 90-х годов.

2) Robert Bridges, p. 1844, — Poet Laureate, т. е. официально назначенный «придворный поэт». Выдающийся исследователь английского стихосложения.

3) A. E. Housman, p. 1859. Не смешивать с второстепенным поэтом и драматургом, Laurence Housman.

4) D. H. Lawrence, p. 1885;

пает не из человеческой жизни, порядком надоевшей ему а из своих обширных и неожиданных познаний о внешнем мире — по геологии, истории (включая доисторическую), архитектуре, зоологии. Он внушительная фигура и рядом с ним такой писатель как Олдос Хаксли 1), кажется не более чем модничающим мальчишкой. Полу-сатир, полу-мудрец Дуглас сидит на склоне вулкана наблюдая выверты и кривляния людей, твердо решивши, что хотя подобно им он обречен на уничтожение, но не будет участвовать в их идиотизме. Он сердито рычит на современность и таким образом как будто отделяет себя от нее. Но современность рада такому рычанию, — только благородное негодование, — скажем, сера Вильяма Уотсона 2) — не привлекает ничего винмания.

Метод Вирджинии Вульф — совершенно другой. По существу она романистка старого закала, и живи она в старину она была бы романисткой старинного образца. Но, в высшей степени чуткая, она отдает себе отчет, что все развалилось на кусочки, и эти осколки жизни она и старается изображать.

Ее главные книги «Комната Якова» (Jacob's Room, 1922) и «Миссис Даллоуэй» (Mrs. Dalloway, 1925) полны вихря крутящихся атомов, клякс и мазков, — грамфонных иголок — и у людей старшего поколения голова болит от такого чтения, и они утверждают, что она слишком странна и фантастична чтобы выжить. Но задача ее — самая традиционная — изображать людей, и этой задаче служат ее своеобразные и необычайные приемы. В «Комнате Якова» мы пробираемся сквозь недосозданный мир, но по мере становления книги, главное действующее лицо выступает все яснее. В «Миссис Даллоуэй» — дан Лондон, как фон и хор, — один очаровательный летний день Лондона, — и на этом фоне мелькают пересекающиеся судьбы и желания современных людей. Аэропланы пролетают, покупают цветы, часы на Парламенте бьют, психиатр приговаривает к смерти своего пациента, светская дама дает вечер. А день проходит и исчезает в темноту, оставляя смешанное ощущение законченности и незавершенности. Все это вовсе не похоже (если мое перечисление могло привести на такую мысль) на день из Уитмана. В подходе Вирджинии Вульф нет места для мистицизма, и очень мало для моральных сценок. Она просто пишет роман и создает людей из распыленного матерьяла даваемого ей современностью.

Чтобы еще уяснить мою тему, я возьму еще двух писателей стремящихся не только использовать окружающий их хаос для литературных целей, — но и выразить и понять этот хаос. Не

привести его в порядок, что по существу дела невозможно, но дать отчет об его образе жизни, сколько позволят им их наблюдения. Они философы, в некотором умаленном смысле этого слова, умаленном потому, что по настоящему философам нельзя же быть когда ножки кресла на котором сидишь все время уходят из под тебя, и даже клепки бочки в которой живешь на глазах разлагаются.

Так вот кончается свет,
Так вот кончается свет,
Так вот кончается свет,
Не с громом, а с тихим визгом. 1)

поет Т. С. Элиот, 2) один из этих двух писателей. И другой, Джеймс Джойс, хотя темперамент у него и здоровее, видит все таки под собой все такой же мир.

Говоря Т. С. Элиот, мне приходится перейти к первому лицу по той причине, что многое из им написанного я просто не понимаю. Его главное произведение, «Бесплодная земля» (The Waste Land) смущает меня по двум причинам — оно похоже на ребус, и оно глубоко. Это какая-то задача mots - croisés на тему о Вселенной. Зачем поэту, когда мир и так трудно понять, еще усугублять эту трудность своими mots croisés. Эта черта мистификации в творчестве Элиота кажется мне ребяческой; более подходящей для состязаний на отгадывание чем для творческой работы. Другая же сторона его, таинственная, манит в области недоступные мне по другой причине. Поэт становится таинственным. Его чувствительность вплотную подходит к отчаянию. Тем кто может следовать за ним он показывает кости наших нынешних настроений, подобно тому, как Томас Харди, в более простом и трагическом видении, показал кости Европы, оголенные Наполеоновскими войнами. 3) Если действительно мир кончится «не с громом, а с тихим визгом», если нашей гостиней, со всем наполняющим ее беспорядком суждено так рухнуть, — тогда Элиот превосходно рассказал нам как это произойдет, и как человечество, не взирая на съедающий его рак, останется культурным и привлекательным до последней минуты.

По сравнению с Элиотом Джеймс Джойс 4) — фигура несоп-

1) This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

2) T. S. Eliot, p. 1888, по происхождению Американец. Поэт, критик и редактор журнала The New Criterion. Цитируемые стихи взяты из его поэмы The Hollow Men («Полые люди», 1925).

3) В «Династах», см. выше.

4) James Joyce, p. 1882; ирландец, его роман Ulysses, вышедший в 1922 г. в Париже, запрещен к ввозу как в Англию так и в Соединенные Штаты.

1) Aldous Huxley (1893), молодой писатель, автор романов популярных в известных кругах «интеллектуальной элиты».

2) Sir William Watson (1858), поэт, эпигон романтической традиции.

жная. Он господин с дурным характером, в огромном масштабе, — и его роман «Улисс» последовательная и очень интересная попытка забросать грязью окружающий хаос, и покрыть искусство, религию, пол, традицию и новшества ровным слоем нечистот. Хаос конечно не пойдет на такое упрощение с ним. Он гораздо сложнее, как это знает Элиот, рядом с подлостью и уродством в нем есть и благородство, и красота, а благородство и красота не входят в кругозор, нашего избалованного Ирландца. Его творчество страдает от вывороченного наизнанку Викторианства. 1) «Кротость и свет», пел Маттью Арнольд. 2) и его никто не вспомнит теперь, и действительно мало вероятно, чтобы мир мог быть объяснен школьным учителем в облачении. 3) Но «злость и грязь» то же вряд ли все объясняет; упрощение качнулось слишком далеко в другую сторону. «Улисс» — замечательное произведение, и как о формальном эксперименте о нем можно было бы много что сказать. Но с точки зрения настоящей статьи оно не представляет большого интереса: из элементов нынешнего хаоса оно совершенно выпростило из виду добро.

Моя точка зрения, конечно, узка. Книги живые существа, и их иногда не удается пригнать к теории; пригоняются они только к самим себе. Все-таки, если брать их оптом, приходится подходить к ним с какой-нибудь теорией, иначе ничего кроме каталога не получится. Так что я и счел лучшим в начале статьи обобщить послевоенное состояние Английского общества — в виде неубранной комнаты. И вокруг этого обобщения расположить имена нескольких современных писателей в надежде дать о них некоторое общее понятие.

Е. М. Форстер

(Перевод с рукописи Д. С. М.)

1) Victorianism — условно оптимистическое мировоззрение господствовавшее в Англии при королеве Виктории, т. е. в течение большей части 19-го века.

2) Matthew Arnold (1822-1888) — поэт и критик эпохи Виктории.

3) Имеется в виду, конечно, учитель английской «публичной школы», до недавнего времени почти обязательно англиканский священник.

ВЕЯНИЕ СМЕРТИ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И улыбается под сотней масок — смерть.

Вячеслав Иванов (Терцины к Сомову)

Вся литература последнего царствования проникнута веянием смерти и разложения.

Смерть, сама по себе, факт вне-исторический, и не всякая одержимость сознанием или чувством смерти исторически показательна. Такое сознание может быть и чисто онтологическое, чистое ото всякой связи с историческим процессом, беспримесное сознание человека перед лицом уничтожения и вечности. Таким чувством смерти, ни в какой мере не зависимым от движения истории, проникнуто все сознание классической древности, и в новое время всякое подлинно классическое сознание (Пушкин, Державин). Такое чувство смерти необходимая психологическая предпосылка сознания христианского. Такое чувство смерти было, в сильной степени у Толстого.

Вообще Толстой всячески явление вне-историческое, не отнесенное и не относимое к истории, которой он не любил и не воспринимал (хотя остро чувствовал безличный процесс становления). Ему было в корне чуждо символическое отношение к жизни, и для него мир, конечно, не отражал абсолютных ценностей. (Эту черту, столь противоположную духу Достоевского и его духовных потомков, Страхов хорошо называл «чистотой» Толстого). Чувство смерти у Толстого только онтологично, и никак не тронуто и не заражено предсмертным тлением окружающей его культуры. Поэтому, как этический и религиозный мыслитель, Толстой пребудет: как бы ни были ложны его ответы, его вопросы поставлены перед лицом Вечности. Из всех писателей *предреволюционной* эпохи, единственный от-

мечен тою-же онтологической и Толстовской, чистотой — Лев Шестов, который поэтому и стоит в стороне от своего времени, нетронутый его историческим тлением.

Смерть, о которой я хочу говорить нынче, смерть другого рода — смерть историческая, смерть культурной формации, культурного тела. Чувство и предчувствие ее в русской литературе 1894—1917 гг. была подобна физиологическому предчувствию физической смерти. Оно зрело не в чистой субстанции отдельных душ, а в тканях культурного тела русского общества. Это чувство смерти было (не причиной, конечно, а) симптомом предсмертного разложения Петербургской России.

Посителем Петербургской культуры было сперва государство, потом дворянство. Смертельно раненое в декабре 1825 года, культурное дворянство, уже умирая, создало в корне большую «великую русскую литературу» середины 19-го века (Тургенев), и сошло на нет.

(Создал песню подобную стону

И духовно навеки почил —

вот кому, оказывается, надо отнести. Напоминаю, что Толстой, особенно старый Толстой, явление по существу вне- (над) культурное, и потому тут не в счет).

Следующее поколение носителей Петербургской культуры — интеллигенция. «Рожденная в года глухие» («глухими» были не одни восьмидесятые годы, их у нас было больше в 19-ом веке чем не глухих), с тяжелой и болезненной наследственностью (ибо всегда по существу полу-дворянская), хоть и отрекшаяся от наследства, интеллигенция не могла и не пыталась строить культуру. Ее лучшие силы ушли в разрушение, в Революцию и в мечту о «царстве Божием на земле». Но и она была на смерть ранена в разгроме Народной Воли. То, что от этого разгрома осталось, было тело без души, с одной голой механической волей (революционные партии) или безо всего (вся остальная интеллигенция).

Случилось то, о чем говорил Баратынский:

Свой подвиг ты свершила прежде тела,

Безумная душа!

И оставшееся тело

Бессмысленно глядит, как утро встанет

Без нужды ночь сменя,

Венец пустою дня.

Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,

Это — Чехов, *facies hippocraticae* русской интеллигенции.

Но пока прямая линия Петербургской культуры (Петр — Ломоносов — Новиков — Карамзин — Рылев — Белинский — Чернышевский — Желябов < Чехов Ленин >) так падала и осекалась, вставала другая, побочная. Основной ее особенностью стало острое сознание неблагополучия «Петербургской» России, острое чувство истории, и полное погружение онтологического в историческое, т.е. символическое миро-отношение, и следовательно коренная невозможность «чистоты» в вопросах религиозных и онтологических. От еще очень благополучных Славянофилов и Чаадаева, эта линия ведет через Герцена и Григорьева к безумию и бреду Достоевского и тонким ядам Соловьева. Скрещиваясь с идущими с Запада «новыми настроениями», эта линия, в конце 19-го века, создала новую культурную формацию, уже почти лишенную социального тела, и только пускавшую висячие корни то в умирающую интеллигенцию, то в нарождающуюся новую буржуазию. (Сама русская буржуазия так и не создала своей культуры, и когда в октябре 1917 года ей пришла очередь умирать, у ней в прошлом не было никаких культурных заслуг).

Таким образом к началу 20-го века Петербургская культура слалась из двух формаций («ярусов»), которые можно назвать (слово принадлежит, кажется, Вячеславу Иванову) «верхним и нижним этажом Русской Культуры». «Нижний» это Чеховская интеллигенция и обездушенные революционные партии (у либеральных никакой души, конечно, никогда и не было); «верхний» — «декаденты» и религиозные философы *). Лестниц между двумя этажами почти не было; общего между ними было только одно напряженное предчувствие исторической смерти.

В «нижнем этаже» это чувство вело к кризису веры в спасительные идеалы прежнего интеллигентского поколения. Отсюда характерная опустошенность и неприкаянность всех писателей этой формации, — принимала ли эта опустошенность форму шатания

*) В наименования «верхний» и «нижний» этаж я не вкладываю отношения к другому. «Верхний» не был даже всегда творчески сильнее никакой этической, эстетической или политической оценки одного по себе «нижнего». «Верх» и «низ» означают разницу культурного уровня, и ничего больше.

и блуждания, как у Горького; или отказа от всякой идейности, как у большинства; или безответственного и поверхностного прилепления к по существу чуждой и непонятной вере, как, напр., у Зайцева; или настоящего упоения смертью и отчаянием, как у самых характерных писателей группы, — Андреева, Бунина, Арцыбашева, Сергеева-Ценского*).

Особенно, может быть, интересен Горький. По природе своей это писатель восходящей линии, писатель, который в благоприятной исторической обстановке мог бы сыграть роль положительную и творческую. В его ранних вещах был дух настоящего героизма (особенно «Двадцать шесть и одна», одна из самых возвышенных и возвышающих созданий русской литературы), но героизм этот за неимением прочных корней в жизни, скоро выветрился. С 1900 года, приблизительно, начинаются шатания Горького, до сих пор не кончившиеся. Страстная жажда веры и трагическое неумение найти ее — вот смысл жизни Горького. «Безнадежный роман с культурой», кто-то сказал о нем. «Безнадежный роман с идеей», было бы гораздо верней. Грех Горького в том, что никогда ни во что не умея поверить, он говорил и делал как будто бы верил. Трагедия Горького в том, что, имея огромные творческие возможности, он не мог для них найти точки приложения, — и его творчество, при всей своей значительности, поражает своей ненужностью**).

На зачарованности смертью, Андреева, Бунина, Арцыбашева настаивать не приходится, — она слишком очевидна. Смерть для них, как и для бесчисленных других, малосильная единственная реальность; жизнь — суeta суeta, или «безумие и ужас». У Андреева и Арцыбашева эта опустошенность явно связана с крушением общественных и революционных идеалов, которые оказались ничем заменить. У Бунина оно связано с необыкновенно острым историческим чувством гниения и разложения всего старого уклада русской жизни. Все они связаны с Толстым в своем отрицательном и враждебном отношении к культуре. Но то, что у большого человека было над-культурностью, непосредственной близостью к Безуслов-

*) Этот недооцененный писатель стоит, впрочем, этически и духовно, значительно выше трех других. В его развитии есть элементы подлинного волевого восхождения. Тем самым он выходит из настоящей характеристики.

**) Впрочем еще возможно, что Горький, как бы случайно и не совсем по праву, сыграл значительную роль в создании возникающего культурного типа русского рабочего.

ному, у этих, меньших, просто некультурность, т. е. утрата чувства ценности, унаследованной (пусть скудной) культуры. Интересно, однако, сохранение некоторого пиетета к своей культурной традиции: у Бунина (вообще беспощадного к своему классу) в сентиментальной любви к «антоновским яблокам», у Андреева в благоговейном подходе к добродетели и подвигу террористов («Тьма», «Семь Повешенных»). Но это «пережитки». Главная тема Андреева и Бунина, упоение смертью и небытием, зачарованность всем, что о ней напоминает. Зачарованные ужасом смерти, лишенные всякого религиозного положительного отношения к ней, всякой веры (они хуже Горького тем, что и не хотят ее, как бы не подозревая об ее возможности) — они наслаждаются и упиваются приближением и близостью смерти, поклоняясь ей и ее предвестникам, как единственным владыкам. Характерна для них любовь к теме самоубийства, введенной в нашу литературу Чеховым, и рано выродившейся (особенно в драме) в чисто технический прием. Вообще отсутствие глубины и воображения у этих писателей вело их к тому, что их темы легко вырождались в шаблоны и соскальзывали в карикатуру и пародию. Тема самоубийства, дожившая до наших дней, обернулась такой само-пародией в «Митиной любви» Бунина, где прием, — конечно, бессознательно — «обнажен» и ничем не оправдан, кроме традиционной необходимости так кончить рассказ *). Но если, от отсутствия воображения и культуры, эти писатели и способны бывали так занашивать и обессмысливать свои темы, в лучшие свои минуты они давали вещи подлинно значительные. «В тумане» Андреева и «Суходол» Бунина останутся как прочные и страшные памятники страшного, предсмертного времени.

У «верхнего этажа» чувство смерти менее чистое, чем у «нижнего», и господствующая его форма — острое заражение Духа, — т. е. не столько субъективное предчувствие, сколько объективный симптом приближающейся смерти. Яснее всего это разложение духа выразилось в проникновении одухотворенной материи в чистую сферу Духа (прямое следствие символического миропонимания). Материя, плоть теряла свою материальность и утончалась до *идеи материи* захватывая все более и более широкие области Духа. Это началось у Достоевского («Федор Павлович Карамазов как идеолог

*) „La mort comme moyen littéraire représente une facilité. L'emploi de ce motif est marqué d'absence de profondeur.“ Эти слова Валери как будто написаны о «Митиной Любви».

любви») и у Владимира Соловьева с его мистическим эротизмом, и от них распространилось на весь верхний этаж. Не было ни одного его жильца не зараженного этим гниением. Геннальнейший из людей своего времени, Розанов, был насквозь проникнут им. Самым характерным проявлением этой болезни Духа были разные виды эротизма и мистического (и менее мистического) блуда *).

Но рядом с «половыми проблемами» безнадежная болезнь духа проявилась еще в подпольной некрофилии, патофилии, и любви к небытию (последнее особенно у Зипанды Гишпрус — все лучшие ее стихи); в упадочном великолении эстетического синкретизма Вячеслава Иванова, и столь же упадочном эстетическом гностицизме Флоренского; в безответственной, легковесной («хлестаковской») духовности Андрея Белого. Высшая, самая благородная (и самая сознательная) форма болезни у Александра Блока, с его уже не предчувствием, а прямо пророческим переживанием исторической смерти. Вряд ли есть другой пример такой совершенной пророчесственности и символичности одного человека, такой сосредоточенности в одном всех нитей эпохи, такого совершенства в плане личном того, что вскоре должно было совершиться в плане национальном. (Другой великий поэт Символизма, Анненский, был гораздо более личен в своем чувстве смерти, но соединение у него мотива смерти с мотивом физиологического бессилия подчеркивает исторический, не только онтологический характер этого чувства. То же соединение мотивов интересно отметить в творчестве замечательнейшего из современных английских поэтов — Т. С. Элиота).

Когда в лице великой Революции пришла историческая смерть Петербургской России, люди «верхнего этажа» встретили ее как Джагерната, с восторгом ужаса и самоуничтожения.

Самое гениальное выражение этого поклонения разрушающей силе — «Двенадцать», самое благородное — письма Гершензона в «Переписке из двух углов». Но самые общепонятные, и потому самые популярные, — холодно-экстатические, академические («пожарные») полотна Волошина, и аккуратненькие подпольные эпиграммы и мадригалы Ходасевича. От высокого и жертвенного пафоса самосожжения (Блок и Гершензон) до упоения дурным запа-

*) Один из самых показательных памятников эпохи замечательная, к сожалению, замолчанная книга Свенцицкого «Антихрист» (1907), документ первостепенной важности для характеристики «религиозно-философского» движения.

хом собственного разложения (некоторые из имажинов), — этот культ собственной исторической смерти проходит через самые разнообразные оттенки.

Но еще до Революции *тональность* русской литературы начала меняться. Это изменение не было следствием Революции, но скорее явление параллельное ей. Подобно ей оно было *освобождающим обеднением*. В литературе оно связано с направлениями формализма, футуризма и акмеизма. Смысл всех трех был в ампутации духа, настолько охваченного гниением, что исцелить его было уже невозможно. Но *ferrum sanat*, и для спасения организма гниющий дух был вылучен. Эта операция может быть нас и не спасла, но без нее спастись нам было невозможно. (Так и сама Революция была кризис, за которым может следовать или смерть, или выздоровление, но без которого выздоровление невозможно). Поэтому и поэзия Маяковского с ее презрением ко всем «высшим ценностям», и нигилистический формализм Шкловского, и даже «материализм» комсомола, имеют свою целебную ценность, так как отсекают от нас зараженный член.

Конечно, ни формализм, ни материализм положительной ценности не составляют. Но уже стала возможной, и уже зародилась новая фаза русского духа. История не считается с хронологией, и фаза эта, которую для краткости я назову Возрождением Героического, началась до революции в (еще недооцененном) творчестве Гумилева. В самой совершенной форме оно видно в творчестве лучших из молодых поэтов, Пастернака и Цветаевой, — но в большей или меньшей мере оно выпирает из многих молодых писателей работающих в России.

Кн. Д. Святополк-Мирский.

Р. С.

Настоящая статья сокращенная переработка доклада читанного мною в апреле с. г. в Париже и возбудившего против меня негодование всего эмигрантского синедриона. Негодованию большинства моих обличителей я могу только радоваться. Эпигоны и нигилисты, гордящиеся своим трупным запахом, — я не хотел бы иметь общих с ними мнений, и их осуждение считаю лучшей для себя похвалой.

Но менее всего я хочу чтобы приняли мою характеристику пред-революционной литературы, особенно ее «верхнего этажа», за обличение или неуважение. Вячеслав Иванов, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Блок, Белый — были лучшие люди своего поколения, стоявшие на вершине и у острия всего современного им русского сознания. Самые грехи их мы должны чтить, ибо это наши грехи которые они приняли на себя как крест. Если бы они не были в такой мере заражены гниением своего времени, они бы не исполнили перед Россией возложенного на них историей подвига искупления. Именно потому что они так явно, героически переболели нашей прогазой, — мы теперь можем надеяться на исцеление, и уж предвидеть его срок. И мы, объединившиеся около *Верст*, сочли бы высшей для себя честью быть признанными, хотя бы в малой мере, их наследниками и продолжателями их дела. Ругаться над отцами, своей болезнью купившими наше будущее здоровье (мы все-таки еще только медленно и тяжело выздоравливаем), мы себе никогда не позволим. Но мы имеем право и должны различать между подлинным, первоначальным, ответственным, и подражательным, производным, безответственным. Между Вячеславом Ивановым и Максимилианом Волошиным; между страшно-настоящей Зинаидой Гиппиус и игрушечным Мережковским. И внутри самой Зинаиды между ее глубоко-правдивой «подпольной», «свидригайловской» болезнью и безответственным, искусственным, «надуманным» «религиозным преображением»; между ее настоящим «декадентством» и ненастоящим христианством. Говорю это я, конечно, не смысле «чтения в душах» — *психологически* Зинаида Николаевна наверно вполне искренна в своем христианстве, настолько искренна в этом плане, что и теперь в состоянии писать очень верные вещи — (напр. статьи ее об И. Ильине). К сожалению совершенно независимо от верности своему подлинному духовному опыту, она подобна многим другим людям, которые ей далеко не верста, частично ослепла, от навязчивых красных кругов в глазах. Ближе к дому sua, лично я был бы счастлив, как критик считать себя учеником Антона Крайнего. В свои лучшие годы (двадцать и больше лет тому назад) Антон Крайний был как раз несравненно зорек на различение подлинного от производного, и отменного от второсортного. Обличения внешнего Антона Крайнего меня только вчуже огорчают, но если бы они исходили от прежнего Антона Крайнего я бы мог на них ответить только: Бей меня, но научи.

Д. С. М.

БИБЛИОГРАФИЯ

Критические Заметки

Посмертное «Собрание Стихотворений» Сергея Есенина изданные в трех томах Государственным Издательством (Москва — Ленинград 1926) впервые дает возможность одновременно охватить все творчество популярнейшего из современных поэтов. Здесь у нас некоторые еще считают Есенина поэтом Революции и большевизма, и воплощением «левых» направлений в новой поэзии. При чтении этих трех томов первое что поражает это крайняя *консервативность* и *традиционность* Есенина. Я не знаю поэта который был бы так полон реминисценций и откликов. Блок звучит почти с каждой страницы, в перебивку с отзвуками более смутными, неопределенно вызываемыми «вообще» поэзию народнического периода. В худшие минуты свои Есенин не отличим от сентиментально-патриотического репертуара исседо-Плевицких поющих по кабакам эмигрантского Парижа. Но всему своему подходу к поэзии, исключаяемому ремесло, по утверждающему поэтическую позу и тему поэтической поэмы, Есенин определенная реакция против символистского и постесимволистского периода русской поэзии — возвращение в 19-ый век. Популярность Есенина у большевиков («Есенинщина» го-

ворят, заела с его смерти всю Советскую федерацию) только симптом того как много в большевиках от старого русского интеллигента и полу-интеллигента. Но так как и в нас (по крайней мере в относительно-старших) тоже очень много от того же интеллигента Есенин и для нас не может быть безразличен. Слабость Есенина как стихотворца (распушенность, беспомощность и приблизительность) особенно в последних его вечах (1922-1925) бывает иногда так велика как ни у одного русского поэта его калибра с девяностых годов, — но *песня* его, его непосредственная лирическая сила, хватающая нас за еще очень чувствительные струны, подлинна и заразительна и за эту песню мы готовы простить ему все его поэтические грехи. Как Надсон, Есенин поэт слабости, бессилия, тоски — и всей своей *слабостью* мы не можем не любить Есенина, как сорок лет назад не могли не любить Надсона. Но сравнивать его с Надсоном конечно невозможно. Не только оч несравнимо больше поэт, но его буйная неприкаянная тоска несравнимо лучше прибогого пытья Надсона. Он подлинно связан со стихией народной лирики (старой песни, не новой частушки) он младший брат Яшке Турку; он сродни и литературной, песенной ли-

рике — Кольцову, Григорьеву, лирической прозе Левитова, сродни конечно и Плевницкой (шутерно отметить, что это почти все юг Великороссии: Яш-ка Турок — Орел, Левитов — Тамбов, Плевницкая — Курск, Кольцов — Воронеж, Есенин — Рязань). Эта лесенная лири-чность и делает Есенина поэтом пасторальным, в какой-то мере даже большим. Собрание его стихотворений — не только памятник всех слабостей — нашей эпохи, но и сокровищница боль-ших лирических богатств.

Сравнивая настоящее издание с одноклассными 1922 года нель-зя не признать что достигнув своего апогея в имажинист-ских стихах 1919 - 1921 года талант Есенина начал стреми-тельно падать. Многие из стихов последних лет невероят-но слабы. Невероятно слаба дра-матическая поэма «Страна Не-годяев», в которой нет следа лирической щедрости спаса-ющей «Пугачева». Слаба и по-вестовательная «Анна Снегина» и совсем пусты «Персидские Мо-тивы». Но отдельные минуты лирического пробуждения не по-кидали Есенина. Все знают, то-же в известном смысле слабые, но несказанно щемные («то сердечная тоска») элегии «Воз-вращение на Родину» и «Русь Советская». Прекрасен неболь-шой цикл 1925 года связанный с традиционно-лесенной темой са-ней и снега. Но главное укра-шение этих последних лет уди-вительные стихотворения «Чер-ный Человек» датированное 14 ноября 1925 г., — может быть одна из высших точек Есенин-ской поэзии. Безысходная тоска, скользящая по границе белой горячки получает лирическое вы-ражение, редкой у Есенина ин-тенсивности и человеческой реаль-ности.

Первому тому предпослана краткая и мало-содержательная автобиография, и написанная по-сле смерти поэта статья Во-ронского, показывающая что

этот писатель не только умеет искренно и сильно любить по-этов, но что в нем есть действи-тельно какие-то данные быть подлинным критиком. Наоборот статья того же автора открываю-щая второй том — типичнейший образец чисто утилитарной (и до грусти «интеллигентской») со-ветской критической педагогики и.

«Делом Артамоновых» (Берлин Книга. 1925) Горький впервые с «Матвея Кожемякина» (1911) возвращается к традиционной форме романа. За эти четыр-надцать лет он очень изменился, и, дело редкое в писателе на-пятом десятке, вырос и окреп. Его позднейшие книги (начиная с «Детства») без сравнения вы-ше по зрелости всего прежде написанного им, хотя в них и нет той чудесной бодрости и ве-ры, которая так пленяла в «Чел-каше» и «Мосе Спутнике». «Де-ло Артамоновых» несомненно лучший из романов Горького. То что только маячило в «Фо-ем Гордееве», «Троих», «Испове-ди», «Огурове», теряясь в тумане «разговоров» и богостроительских исканий, теперь представало во-плоти, собранной вокруг проч-ного костяка. Это подлинно со-циальный роман, в котором ху-дожественная сторона органи-чески соединена с социально-познавательной и ни та ни дру-гая не господствует. Лучшее качество Горького, изумительная граничащая с галлюцинацией зри-тельная убедительность его пись-ма, соединяется с экономностью средств и логичностью построй-ки которых со времени его лучших ранних рассказов мы отвыкли ждать от него. Вме-сте с тем рассказ по-настоящему «социологичен» и «исто-ричен» — история Артамо-новского предприятия «изо-бражает» типическую (говори-языком старой критики) или «символическую» страничку из истории русской буржуазии. Основатель дела, из крепостных, крикливо и лианерадостный

приобретатель; второе поколе-ние — легкомысленный и легко-весный Алексей, нудный, ту-пой, косой Петр, и мечу-щийся в поисках правды гор-бун Кузьма; наконец — внуки, — ученый, черствый «амери-канец» МIRON, и исчезаю-щий с середины книги, револю-ционер Илья. Бедность, гру-бость, дикость русской жиз-ни, — среди которой старик Артамонов является сначала как-будто живящей, жидущей будоражащей, и потому не-навистной для других силой, которая однако не передается наследникам: духовная нищета русского буржуа, и вместе с тем его беснованность и отор-ванность и сверху, и снизу — вот тема книги. Она принадле-жит к одной из магистральных традиций русской литературы, — к великому ряду обличений русской духовной скудости — «Обломов», «Господа Головаевы», «Деревня», Бунина. Никто не сравним с Горьким в искусстве создавать атмосферу бессмыслен-ности и ненужности русской жиз-ни. Это атмосфера злой бесцель-ности, бесполезности, злой жесто-кости, злой случайности, мучи-тельной тягучести и бескрылос-ти проникает всю книгу, и Горь-кий «всплывает» в нее своим пристальными и зоркими гла-зами, с какими-то сладостра-стием отращения. Особенно му-чительно неуклюжие, слепые, безнадежные поиски правды гор-буна Кузьмы и косоречивого дворянина Тихона. Кажется что в них Горький вложил всю му-чительную историю собственных исканий, самую трагическую по своей беспомощной безнадеж-ности драму русской души. Этим безнадежным блуждающим Горь-кий несомненно несет какой-то крест за всех нас, скудоверов, толкунов на месте и Хлестако-вых духа и в выявлении наружу этой драмы — символическое значение его личности.

Мне представляется, что ис-чезающий из книги революцио-нер Илья Артамонов должен стать стержнем для новой книги

«Парадизо» или по крайней ме-ре Чистилища по отношению к этой. Но можно ли верить, что Горький, этот Агасфер Иден, сумеет когда-нибудь дать «по-ложительный образ» хотя бы отдаленно равный по силе «Де-лу Артамоновых»?

Безнадежно-ищущей серьезно-сти Горького нет большего кон-траста чем легкомысленная жи-вость Алексея Толстого. По го-лой талантливости Алексей Тол-стой едва ли не первый из со-временных наших писателей, и там где ничего кроме голой талантливости не надо и где он задается задачами по плечу, он восхитителен. «Детство Никиты», его лучшая вещь, дол-жна занять очень почетное и по своему исключительное ме-сто в русской литературе. Легкомыслие в ней становится какой-то божественной легко-стью, и в этой легкости кажет-ся единственный соперник Тол-стого — Кунцевский, автор не-справедливо забытого «Хоро-мой Барин» или с Уэлсом («Аэ-лита»), или дать широкое ис-толкование истории («Хожение по Мухому») плачевны. В каждой из них есть восхитительно жи-вые люди (в «Аэлите», например красноармеец Гусев) но неум-ность автора делает прямо ко-мическими его претензии. В по-следней его книге «Семь Дней в которые был ограблен Мир» (Изд. Аргус, Берлин 1926) опять слишком много таких претен-зий. Заглавный рассказ особенно слаб, хотя и он, благодаря прелестной Толстовской легко-ти читается очень легко, — и скорее улыбаясь чем разсер-дился на невероятную неле-пость сюжета. Последний англи-ский бульварный романист-ка мог бы убедительнее чем Тол-стой изобразить излечение че-ловечества от собственнических инстинктов. «Ибикс» в котором рассказывается приключениях всплывшего в Революцию аван-

тюриста и спекулянта Невзорова, уже гораздо лучше — потому что такая же невероятная нелепость рассказа настолько здесь искренно самоуверенна, что воспринимается как законный и удачный «прием». Лучший же рассказ в книге — «Голубые Города», трагическая (все трагическое у Толстого неизбежно становится трагикомическим) судьба идеалиста Революции в советской провинции. Сам идеалист весьма алиноват и марионеточен, но живописательный дар автора находит себе подходящее поле в удивительно живом и ярком изображении захолустной обывательщины процветающей под толчайшим ланом советизации. «Голубые Города» надо причислить к лучшим рассказам одного из наших лучших рассказчиков, может быть единственного русского писателя наших дней соединяющего настоящую художественную ценность с безусловной «читаемостью» и полным отсутствием скуки.

Новый роман Андрея Белого должен был бы стать литературным событием. К сожалению мы изменчивы и неблагодарны, и легко забываем наших благодетелей. Андрей Белый стал не «современен», а так как для литературных реакционеров он всегда был неприятелем, ему очевидно придется пройти через период всеобщего невнимания, прежде чем он будет окончательно признан классиком. Вышедшие два первых тома его нового романа «Москва» («Московский Чужак» и «Москва под Ударом», изд. Круг, Москва 1926) выделяются на фоне текущей беллетристики *quantum lenta solent inter vi-burna suppressi*. Прежде всего бросается в глаза до какой степени Андрей Белый неизмеримо лучше владеет техникой романа чем кто бы то ни было из младших. Его ученики «орнаменталисты» разглядывали в нем

только стилиста и только этому у него и учились (и ничему не научились: поскольку орнаментальная проза жива, она всецело восходит к традиции Ремизова и Иескова, не Белого). Но «Серебряный Голубь» и «Петербург» — романы, романы столь же крепко построенные, как романы Достоевского и Бальзака с сюжетным развитием такого напряжения на какое не способен ни один из наших современников. «Москва» тоже роман, и сколько мы можем судить по началу роман не хуже двух первых.

Оригинальность Белого как романиста определяется сочетанием в его романах двух как бы несовместимых элементов. С одной стороны напряженная сюжетность, по природе своей определенно мелодраматическая, и этой мелодраматичностью близко родственная кинематографу — «Петербург» кажется уже был переложен на экран, и из «Москвы» вышла бы превосходная фильма. Но этот кинематографический мелодрамматизм развивается на фоне стиля случайного целым чисто-метафизическим. Посредством стилистических приемов Белый разлагает строй видимого мира на бесконечно-текучие и разнообразно-пересекающиеся вихревые «фои». Стиль Белого, как оружие его метафизики, сводит действительность к вихрям и словам. Монотонный анастетический ритм, непрерывающийся в прозе Белого с «Петербургом» — внешнее выражение восприятия мира, как непрерывного потока «фоев», а напряженная «словесность» его стиля и непрекращающееся словотворчество — постоянно возобновляемая работа удовлечения этих «фоев» в постоянно рассылающийся и никогда не адекватный «строй».

Самые «обще-доступные» страницы «Москвы» (как и в «Преступлении Котика Летаева») комические и сатирические эпизоды, и они легче всего отделяются от ткани романа и пригодные

всего для цитат.*) Драматические эпизоды гораздо теснее связаны с основным сюжетным стержнем, и оторванные от него теряют свой смысл.

Основной недостаток Белого всегда было некоторое отсутствие человечности, некоторая безответственная, как бы, духовность — духовность «стихийного духа» бесплотной, не сгорающей в огне саламандры. Отсюда невозможность для него быть человечески серьезными. В новом его романе, как будто замечается некоторый поворот от саламандры к человеку и отдельные люди, особенно сам герой Профессор Коробкин несомненно человечнее всего до сих пор созданного Белым. Но до высшего выражения человеческого, до трагедии и до возможности трагического Белому все-таки далеко. И поэтому «крестный путь» профессора Коробкина с его кощунством и по настоящему потрясающим мученичеством приходится воспринимать как символическую мелодраму, но не как трагедию, или может быть как трагедию в ее до-художественном ритуальном смысле страстей страдающего бога, не в человеческом, праведно-бессмысленном смысле «Антигоны» и «Агамемнона».

Единственный из молодого поколения которого бы можно было, как романиста сравнивать с Белым — Федин. Его роман «Города и Годы» выдающийся и одинокое явление. Как мне раньше уже приходилось отмечать, Федин единственный из наших младших современников умеющий создавать живых людей, как это умели делать Тургенев, Толстой и Достоевский. Поэтому я приветствую перепечатку отдельной книжечкой эпизодов его романа в которых появляется мужик Федор Лепендин (Федор Лепендин Гос. Изд. 1926), одно из лучших соз-

даний во всей портретной галерее русского романа.*)

Но кроме Федина никто из молодых бытописателей не умеет изобразить отдельного живого человека — все лица расплываются у них в какой-то однородный, безиндивидуальной массе, — может быть законное и неизбежное следствие величайшего в мировой истории движения масс. Это отсутствие людей распространяется даже на писателей той группы к которой принадлежит сам Федин, тех кого можно назвать петербургской или «западнической» школой. Роман Крайнего и принципиального «западника» В. Каверина «Девять Десятых Судьбы» (Государственное Издательство, 1926) населен такой же недифференцированной толпой, как и романы Пильняка и рассказы Пилипюта. Действие романа происходит в октябре 1917 года. В нем есть массовое движение, есть биение Октябрьской революции, но (кроме явно взятого у Достоевского плантаниста Главенного) нет людей, а только марионетки. А в области сюжета «сюжетнику» Каверину бесконечно далеко до «орнаменталиста» Белого. История — октябрьский переворот дан живо и убедительно, как движение масс: на движение все беллетристика мастера. Но сюжет — сухая, плохо натянутая проволока. Каверину не удалось преодолеть гипноза-массового романа.

«Массовый роман» стал национальной формой искусства. Со времени талантливого, хотя и не по чину претенциозного «Голого Года» Пильняка он застал другие роды прозы, и

*) «Города и Годы» были перепечатаны в «Днях». Там же печатались отрывки из «Москвы» Белого и из «Кюхли» Тьянкова. Вообще среди зарубежной прессы, «Дни» приятно выделяются культурностью своего литературного отдела и определенным интересом к отечественной литературе.

*) Один из таких эпизодов воспроизводится в настоящей книжке «Верста».

привлек почти что все лучшие силы. К массовому роману принадлежит и первый роман Артема Веселого, «Страна Родная» (Земля и фабрика, Москва 1926). Начав с великолепной полифонической прозы «Волны» (см. «Версты» № 1) Артем Веселый в «Диком Сердце», написанном тем же полифоническим слогом, показал себя мастером авантюрного, или скорей героического рассказа. В «Стране Родной» он несколько умерил свой стилистический разгул обнаружил новый редкий в наши дни дар, настоящего юмора, и написал мне кажется, лучший «массовый роман» из всех доселе написанных. Артем Веселый не даром выбрал себе такое имя (я предполагаю что это псевдоним) — в нем действительно есть какая то бодрящая веселость от которой мы давно отвыкли. Это не легкость А. Толстого, потому что у Артема Веселого есть мозги — есть сила суждения, есть приближение к тому истинному духу комедии, который как о том пишет в этой книжке «Верст» Рамон Фернандес, предполагает установившуюся иерархию ценностей. Тема Артема Веселого совершенно сходна с темой «Голого Года» — 1918-1920 года в дальнем уезде Восточной России. Но какая разница — какое отсутствие претензий, рассуждений и потуг на историософию; какой бодрый быстрый слог; какое здоровье даже в юмористическом подходе к ужасам. И вместе с тем какой широкий образительный размах, какое подлинное проникновение духом этой новой формы «массового романа». В Артеме Веселом больше чем в комнибудь я чувствую «бодрящий холодок» молодости, который позволяет мне надеяться на будущее русской литературы.

Единственное что мне не нравится в «Стране Родной» — это эпизод деревенского быка бросающегося на поезд и наконец раздавленного. Из дальнейшего видно, что это символ неизбеж-

ной неудачи деревни в борьбе с городом. Такие дешевые украшения можно оставить газетчикам. Еще маленькая небрежность: эс-эровский начальник штаба восставших крестьян в одной главе называется Павел Иванович, а в других Борис Иванович. Это досадно.*)

Говорят, что Артема Веселого особенно урезывает коммунистическая цензура (хотя, если не ошибаюсь, он сам коммунист). Это очень вероятно, так как ничего более «объективного», ничего менее «официозного» и в то же время более жизненного, чем «Страна Родная» (за исключением совершенно лишнего эпизода быка с поездом) в «советской» литературе еще не появлялось.

Новый роман Леонова «Барсуки» (Государств. издательство, 1926) — разочаровывает. Это то же «массовый роман» но Леонов слишком склонен к рефлексии и интроспекции чтобы удачно справиться с этой формой. Лучшее в «Барсуках» первая часть, но и она скучна и полна реминисценций: все это было когда-то сделано гораздо лучше Ремизовым и Горьким. Эти слепые искатели правды отмечены знаком стиликом определенной эпохи. Тем не менее Леонов остается большой надеждой и большой «заботой». Это писатель внутренне стесненный советской несвободой, и поэту (может быть подсознательно) неискренний в своем творчестве. Но духу своему он тесно связан с Горьким, — у него есть Горьковское инстинктивное отвращение ко всякой грубости, ко всему что (духовно) не в белых перчатках. И необходимость писать только о грязи и грубости приводит Леонова к пезантивному надрыву. Самое главное для Леонова найти свой стержень и в нынешних условиях

*) Эпизод из романа «Страна Родная» воспроизводится в настоящей книжке «Верст».

ствах это может быть безнадежно. Отсутствие же стержня пока обесмысливает его как творящее целое. Единственные его достижения «Туатамур» и «Ковалки» еще только блестящие упражнения виртуоза за которыми не встает личности художника и человека.

«Юхля» Тынянова (Государственное Издательство, 1925), биографический роман о Вильгельме Кюхельбекере, — произведение нового в русской литературе рода. Его сравнивали с «Ариэлем», биографическим романом Андрея Моруа о Шелли но если в Моруа и Тынянов ставили себе задачей дать цельный образ исторического лица, у Тынянова есть то чего нет у Моруа — подлинное чувство истории. (Приписывал Тынянову качества которых нет у Моруа я вовсе не хочу приписывать ему какое нибудь превосходство над французским писателем: по совершенству своего мастерства, по уверенной экономии средств, по умению строить роман, Моруа настолько выше Тынянова, насколько большой мастер может быть выше начинающего ученика.)

Исторический роман еще недавно был не в чести и казался жанром годным разве что для юношества. Жанр, соединивший познавательные задачи истории с задачами собственно художественными по самой природе своей казался убогим. Но для нас различие между историческим знанием и искусством кажется гораздо меньше чем оно казалось эпохе односторонне эстетической в литературе и односторонне историко-ведческой в истории. Нам все яснее, что историческое познание, как только оно перестает быть просто критической каталогизацией источников и переходит к синтезу, — является почти того же порядка, что художественное творчество. С другой стороны роман, за ред-

кими и эксцентричными исключениями, никогда не был, чисто «художественный» формой. От «Princesse de Clèves» до Пруста он всегда стремился вобрать элементы познавательные, объяснительные — растолковывать и расширять наше знание, оценивать явления — психологические, социальные, исторические. Изображение «общественных типов» у Тургенева, толкование исторического процесса у Толстого, оценка моральных основ провинциального дворянства у Шелли, были законными частями в сложном составе романа. Теперь и историки признают исторический роман ценным средством исторического познания, — и он возрождается уже не как популяризация готовых знаний, а как самостоятельный прием понимания прошлого. Новый исторический роман будет отделом истории в той же мере, что и художественной литературы.

Зарубежному читателю естественно сравнивать Тынянова с Алдановым. И тот и другой стремятся к историческому роману, понятому именно как пограничное явление между искусством и истолкованием прошлого. Но отношение к прошлому у них совершенно разное. Алданов идет от Толстого для которого индивидуальное разнообразие прошлого бессмысленно, историческое становление не представляет ценности, и вся история сводится, в конечном счете, к суете сует. Алданов «не историчен» в том смысле, что для него неинтересна историческая индивидуальность эпохи; его интересует не то что отличает прошлое от настоящего, а то, что их сближает. Поэтому, несмотря на очень большую и добросовестную эрудицию индивидуальности эпохи он дает не в состоянии. Но неизменное в потоке времени он видит и дает. На человеческую индивидуальность он очень зорок, и некоторые его фигуры останутся памятны: Алдановского Суворова — например, нельзя

не признать великолепным достижением. Но в этом Суворов нет ничего неотделимого от его времени, и он мог без изменений перенесен в обстановку скалам, Ледяного похода, как Толстовский Кутузов мог бы быть перенесен в обстановку крымской кампании.

В противоположность Алданову, Тынянов определенно «историчен»: для него двадцатые годы неповторимы и непохожи на двадцатый век; вместе с тем он остро чувствует течение истории, неповторяющийся и непрекращающийся поток исторического изменения. Тынянов, надо заметить, один из наиболее видных историков литературы формальной школы; по моему мнению самый тонкий и чуткий из всех формалистов. Его книга о «Стихотворном Языке», несмотря на отшугивающий жаргон, совершенно выдающаяся работа, и его недавнее исследование о Катенине и том же Кюхельбекере (Сборник «Пушкин в Мировой Литературе», Ленинград, 1926) методологически лучший образец «формального метода». «Кюхля», сразу заметно, книга начинающего. Недостатки ее слишком очевидны — плохо рассчитанные пропорции (особенно скомканность первых глав); явная ошибка (новизмизму издатель торопил к юбилею декабристов); невыработанный, срывающийся хотя в основе правильно намеченный, стиль; одностороннее (почти исключительно литературное) знакомство с эпохой, сдвигающееся в дилетантские претенциозные рассуждения о 14-ом декабря. Несмотря на это «Кюхля» надо признать выдающимся явлением. Эпоха декабристов представлена с большой зоркостью, зоркостью одновременно исторической и художественной. Движение времени передано с убедительностью. Кюхельбекер дан нам: целое существование im Werden, в росте и увядании, — это уже ручается за подлинное дарование художника. Эпизодические лица, иногда слегка намеченные удач-

но угаданы, — у них есть физиономия, это не тени и не маршкетки, хотя они и не уплотнены до полной человечности. Пушкин, в частности, кажется мне особенно удавшимся.

Из отдельных глав книги особенно хороша последняя — «Копец»*) в ней особенно ярко выступает историческая интуиция автора, — постепенное, медленное, но неизбежно нарастающее умирание декабристов в глухой пустыне Николаевского царствования производит впечатление глубокое и безысходное. Этот конец в большой традиции русской литературы, — и неслучайно что он заставляет вспомнить о «Рудине» и «Обломове» выросших в те самые «годы глухие», когда умирал Кюхельбекер. После книги Тынянова, Вильгельм Кюхельбекер, чистейший и благороднейший из русских Дон-Кихотов, станет, я уверен, на всегда родным и близким русской памяти.

Ки. Д. Святополк-Мирский

Ramon Fernandez Messages

Première série. Nouvelle Revue Française. Paris 1926.

Рамон Фернандес один из самых интересных французских писателей младшего поколения, и один из центров кристаллизации молодой французской мысли. Влияние его отчасти противоположно, но отчасти и параллельно влиянию неомизма Жана Маритэна. Оба отмечены печатью ясно-выраженного интеллектуализма. Но тогда как интеллектуализм Маритэна опирается на Фому Аквината, т. е. на статическую, давно замкнувшуюся систему про-

*) Воспроизводится в настоящей книжке «Вест».

шлого (систему при том вовсе не религиозную, а чисто позитивистскую, только с устаревшей научной базой), Фернандес основывает свое учение на современных формах мысли, исходя из научного мирозерцания, но включая в него и весь иррационализм современной философии. По своему своему складу интеллектуалист и логик (его логические построения восхищают своей истинно атлетической элегантностью), Фернандес резко враждебно относится к рационализму сводящему к своим схемам всю живую действительность. Его философская почва Бергсонизм (хотя романтический эволюционизм Бергсона ему совершенно чужд), и разум он подчиняет интуиции, — делному воззрению, неразложимому восприятию конкретного. Разум сводится к дисциплиневеряющей логике. (Это напоминает формулу Баратынского «шаман воображения творческого и холод умаверяющего» перевесшую из теории творчества в теорию знания). Цельная интуиция наиболее свойственна художнику, но полное познание конкретного в конечном счете требует ее же. В частности, критик должен прежде всего уметь увидеть и передать неделимое ядро изучаемой им личности. Выяснению этих вопросов посвящен в настоящей книге ряд блестящих очерков о Бальзаке, Стендале, Меридите, Конраде и Прусте. Но основной интерес Фернандеса — этический; основная задача — построение иерархии этических ценностей на месте эстетической пустыни недавнего эротицизма и нигилистического психоизма достигнутого своей крайней точки у Пруста. Цель Фернандеса — целый человек, разносторонне физически и нравственно развитой, с прочной иерархией этических ценностей. Этот «глобальный гуманизм», понятийный и близкий молодому поколению французов — главное что привлекает их в Фернандесе. Самое, с этой точки зрения, ин-

тересные страницы в книге — небольшая заметка о Фрейд, идущая в разрез с господствующим «вульгарным» пониманием Фрейдизма, и показывающая как на основании открытий психоанализа можно построить систему новой «стойческой дисциплины». Не последнее качество книги Фернандеса его удивительный стиль, предельно ясный, но до того сжатый что читателю ни на одну минуту нельзя распустить.

Мысль Фернандеса определенно ориентирована против религии (что читатель заметит и в печатаемой в настоящей книжке его статье о современной французской литературе), но особенно против схоластического рационализма католиков. По существу она отнюдь не антирелигиозна, и его «глобальный гуманизм» может неожиданно напомнить славянофильское учение о целом разуме (и еще больше, может быть самую личность Хомякова). Вообще, хотя Фернандес поднимает и отвечает на вопросы прежде всего французские, нам кажется, что его мысль может быть плодотворна и для нас. Без какой-то резкой реакции в сторону возрождения этики и воспитания личности, нам грозит утонуть в соблазнительном и труднопреодолимом для нынешнего русского сознания «роевом» или «хоровом» коллективизме и безиндивидуальном историческом динамизме. Личная активность и личная ответственность исчезли из нашей жизни и из нашего сознания, нам надо сделать большое усилие, чтобы их вновь обрести, и в этом обретении Фернандес может и нам оказаться полезен.

Д. С. М.

Poems. 1905-1925, by T. S. Eliot.

Faber and Gwyer. London. 1925.

Выход собрания стихов Т. С. Элиота крупное событие не для одной Английской литературы. Это несомненно без срав-

нения крупнейший из современных английских поэтов, может быть величайший поэт послевоенной Европы. Влияние его на современное по ремеслу уже теперь огромно, но большей частью критиков его поэзия еще не замечена. Им Элиот лучше известен как критик и теоретик искусства, и как редактор прекрасного журнала The New Criterion. Эта сторона его деятельности при всей своей значительности не идет в сравнение с его достижениями как поэта. Как поэт он очень мало плодотворит: настоящее собрание в которое включены все его стихи с 1909 года (которые он желает сохранить) (как сказано на обложке) состоит из двадцати пяти стихотворений, написанных до 1920 (в том числе четырех французских, не очень удачных), из поэмы «Бесплодная Земля» (The Waste Land, 1922) и из од его только стихотворения написанного с тех пор — «Полые Люди» («The Hollow Men, 1925»). Со времени выхода книги в The New Criterion напечатан «Отрывок из Пролога» возбуждающей большой интерес стихотворной драмы.

Большинство критиков упрекают Элиота в темноте и непонятности, и вообще это надо признать вполне реальным. Темнота его поэзии неизбежно вытекает, во первых, из крайней сложности и новизны выражаемого в ней опыта, во вторых из крайней *сжатости* выражения, пренебрегающей всеми «мелочами» и принуждающей читателя стать «подмастерьем автора» и в третьих из самого существа его поэтического метода. Местом этот лучший истолкователь Элиота, умнейший критик I. A. Richards назвал «музыкальнейшей идеей». Элиот — символист, и его символы располагаются по особым внутренним законам, ассоциативным скорее чем логическим. Но это ассоциация не «по сходству» и не «по смежности», а «по значению». Символы эти постоянно повторяются в разных сочетаниях чередуясь как му-

зыкальные темы. Взяты они из самых разнообразных областей (философии, антропологии, уличной жизни Лондона). Большую роль играют цитаты из поэтов, философов, религиозных писателей, которые нужны поэту своей огромной эмоциональной и ассоциативной содержательностью, являясь как бы сокращениями длинных ходов поэтической мысли. Эти цитаты и аллюзии особенно отсутствуют неподготовленного читателя. Впрочем «трудность» Элиота особенно велика только в «Бесплодной земле». Некоторые из ранних стихов (особенно изумительная сатирическая серия, включающая Swenung Erest и The Hippopotamus) и последняя вещь «Полые люди», гораздо проще и односторонней, и хотя «понятными» в том смысле как пошлость «О Пользе Стекла» и Art Poétique их признавать нельзя, «понятность» их значения, «заразительность» их несомненна и непосредственна. Везде Элиот несравненный мастер слов и ритмов по своей власти над словом, как и по значительности своего содержания он в числе самых великих, и нам не кажется странным когда Литтон Стреч упоминает его имя рядом с Шекспиром.

Несмотря на свою «непонятность» Элиот поэт общего гораздо больше частного. Он поэт социальный, исторический, поэт Европы и человечества. Может быть он кажется самым центральным и ответственным из выразителей современной Европы. Тема его трагедия Европейской культуры, «бесплодной» и «ислой» после катастрофы Великой Войны, трагедия предсмертия и бессилия, — и трагедия ценностей в бессмысленном мещанском мире. В этом глубоком «переживании» европейского и человеческого в личном. Элиот поэт подлинно-пророческого качества, лишний раз подчеркивая пророческую природу всей наиболее ценной части современной поэзии. Замыкающее книгу стихотворение

«Полые Люди» где все его темы скрещиваются в один, узел в аккорд одновременно простой и полный (но аккорд глубоко *дисгармонический*), представляет нам одной из вершин современ-

ной Европейской поэзии, — самым изумительным созданием английской поэзии за несколько поколений.

Кн. Д. Святополк-Мирский.

«Les Pincengrain» -- «Monsieur Godeau Intime»

Par Marcel Jouhandeau. Ed. de la Nouvelle Revue Française 1924-1926.

Марсель Жуандо, один из самых своеобразных мистиков нашего времени и вместе с тем исключительно талантливый писатель, изобразил в своих двух книгах жизнь, или, скорее «жизни» и всю буржуазную прожиточную ссмы.

Мы находим в его герое смесь обидного и таинственного, презренного и божественного. Пепел-сироты и их спутник, господин Годо, трагикомичны, или — просто комичны.

Они обыкновенные люди и живут самой обыкновенной, человеческой жизнью. Они жалки и бедны, и того хуже — в них порою проявляется какой-то чудовищный эгоизм, отталкивающий сухость. И вместе с тем, мы чувствуем, что герои Жуандо — духи, «астраль», облеченные в тончайшую телесную оболочку. Жуандо как бы нарочно избрал самую благодарную почву, самый голый камень, чтобы посадить на нем мистическое семя, и тем более кажется чудесным зеленый сочный злак выросший в этой пустыне.

«Пепел-сироты» — семья мелких лавочников: отец, мать и три дочери, — Элиан, Вероника, Приска. Приска приходит на помощь Мадам Пенсенгрев, Элиан и Вероника на ее старость. Они бездельны, печальны, безутешны. Элиан религиозна и «находит свое счастье в христианском подвиге». Веронике «важно лишь нравственные переживания; она любит прежде всего добродетель, а после добродетели жалкий цвет».

Приска выходит замуж, Элиан

и Вероника влюбляются в господина Годо.

Кто такой господин Годо? — Ханжа и волокита, заигрывающий с двумя старыми девами, или герой мистической драмы? Весь пафос творчества Жуандо заключается в том, что мистерия и буфф у него неразрывно связаны.

Мадам Пенсенгрев называет Годо «мой сын». Элиан и Вероника называют его «мой брат». Он занимает почетное место в их доме, «соседа», как солнце в пустыне, между двумя пальмами». После сближения с господином Годо, Элиан уходит в монастырь. Семья Пенсенгрев и Годо ее торжественно провожают, Годо платит за такси. Вероника думает про себя: «Накопел-то я буду одна с Господином Годо». В первый же день своего послушничества, Элиан умывает покойника, и ей кажется, что «она умывает Господина Годо». Такова первоначальная драма «Пенсенгрев». Во втором томе, «Истинная жизнь Господина Годо» автор развивает свою тему: любовь Элиан и Вероника к Господиному Годо, любовь Господина Годо к самому себе, — и к Богу.

Через господина Годо, Элиан полюбила Бога, ее внутренняя жизнь стала глубже, напряженнее: в монастыре все дивились ее рвению и премудрости. «Она раздумывала вещи сверхъестественные, и познавала тайны природы. Благодаря таинственному канону, вписанному в центре ее души, она знала точные размеры каждой души, которая к ней подходила. Люди с удивлением спрашивали себя, кто воспитал ее, какой

ангел среди Властей, Престолов и Начал стал краеугольным камнем ее души. Настоятель говорил, что она походила на седьмой день, сотворенный Богом.

Элиан спрашивала сестру:

— Молишься ли ты?

— Нет, отвечала Вероника, я не умю молиться Богу. Даже если бы я Его видела, я не могла бы о Нем думать. Я вижу повсюду лишь господина Годо, я думаю лишь о своем друге. Тогда, Элиан, до того любящая Бога, что она видела лишь Его одного в господине Годо и в Веронике, содрогнулась от ужаса и тайного восторга.

Господин Годо посещал раз в месяц монахиню.

«Сидя между Приской и Вероникой он блаженно отдыхал. Но ему казалось, что одна Элиан превозносила его душу... Она одна пользовалась правом проникнуть в печное сердце господина Годо. И случилось, что улыбка, весьма жестокая для Вероники, блуждала на устах господина Годо и Элиан».

Вероника служит в магазине «Художественный Восток» фирма Бюжаду. Сидя в тесной конторке, она принимает господина Годо, который приходит к ней чтобы «видеть», как Вероника его любит. Но Вероника никогда не говорит о любви, а только о дружбе. Она создала мистику дружбы, в ее одинокой, целомудренной жизни кроется сгущенная пламенная страсть, которой наслаждается господин Годо. И Бюжаду, владелец магазина «Художественный Восток» ослепленный этой дружбой, «проходит мимо огненного порога Вероники, не смея даже приветствовать господина Годо».

В такие часы Вероника говорила своему «другу»:

«Все то, что мы делаем, мы исполняем, как чуждую нам необходимость, и мы храним нашу жизнь для нашей мечты, мы находим всю нашу жизнь в себе и для себя. Воистину великая душа исполняет самую поглощающую работу, не заботясь о ней... Этими словами, добав-

ляет автор, она хотела сказать: — мои руки, и все, что есть наименее благородного во мне, занимаются презренным трудом. Но ни на одну минуту я не перестаю любить вас так же внимательно, как если бы я обнимала ваши колени, положив голову на ваше сердце».

Но кто же такой господин Годо?

Описывая его «интимную жизнь» автор постоянно иронизирует: он издевается над этим неделимым манекеном, который, «в черных перчатках» посещает парижские вертепы и рассказывает Веронике о своих похождениях с проституткой Розой и ее братом, прозванным «Костяной Рот».

Но вот — телесная оболочка спадает, и вдруг вспыхивает пламя мистического экстаза. Господин Годо никого не любит, разве только самого себя. Но в себе он любит Бога. Господин Годо созерцает Бога. Замурованный в самом себе, отрешившийся от всего земного, он прозрел для неземного мира. Никого не любить — высшая степень отречения; любить себя — первая степень мистической любви. Люди, его окружающие, перестали существовать для него, он селел и не желал видеть того, что творится кругом. «Созерцая страсти Христовы, господин Годо думал о том, что самая ужасная из крестных мук — это невозможность закрыть лицо руками. Он полагал, что видеть людей, еще мучительнее чем быть видимым ими... Одиночество! абсолютное одиночество моего Я, одиночество Бог в моем Я! Молчи и прислушивайся к беседе ангелов в тебе самом!»

Годо — созерцатель космического бытия и Годо, посещающий Веронику в магазине «Художественный Восток» — это одно и то же существо, одно неделимое целое. Нелетая, скудная жизнь с одной стороны, а с другой стороны исключительная напряженность духовных переживаний.

Манекен, прислушивающийся к беседе ангелов. Недаром при виде ослы, Годо — созерцатель восклицает: «О мудрость ослы! его непреходящая философия, его большие глаза, липкие взоры, его толстая кожа, не чувствующая ударов! простота его желаний, отсутствие роско-

ши: вода, хлеб и созерцание.

О воля дремлющая в шерстяном сердце!»

На голем камне распускается редчайший цветок. «Шерстяное» сердце преобразается в сердце вечное.

Елена Извольская.

B. GROETHUYSEN

Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche.
Paris, Librairie Stock, 1926.

Блестяще и увлекательно написанная книга Грутхейсена несомненно отвечает своему заглавию. Это не столько введение в изучение германской философской мысли последних десятилетий, сколько история одной — правда, кардинальной — философской проблемы. Проблемы, ставшей особенно острой во вторую половину XIX века — о сущности философии и праве ее на существование.

Что такое философия? и можно ли в наше время быть философом? — вот вопросы, которые должна была поставить себе философская мысль после «крушения» метафизических систем начала XIX века; и можно сказать, что весь XIX век был для философии веком борьбы за право — или вернее — за оправдание собственного существования.

«Никто больше не верит в философию», говорит Ницше, «потому что философия сама больше не верит в себя». И действительно, в то время как в древности, в средние века и даже в новое время, философия претендовала на роль *reginae scientiarum*, в XIX веке она скромно старается отказом от всякого самостоятельного значения и от всякой самостоятельной роли заставить простить себе свою прежнюю гордыню.

Науки эмансипировались от философии; даже психология,

«наука о душе» и та претендует на звание науки, на научный, экспериментальный метод; хочет быть «психологией без души»; протестует против смешения ее с метафизикой. Термин «метафизика» стал в XIX веке почти бранным словом, и претензии философии на «единственно достоверное познание вечных истин» вызывают даже не возмущение, а только смех.

Что же остается на долю философии? Ведь если она наука, познание, то она должна же иметь и собственный метод и особый объект изучения.

Но повидимому, найти такой объект и такой метод нелегко. И мы видим как все больше и больше философия превращается или в историю философии, или в теорию научного познания, в методологию и теорию науки. Но история философии все же не философия, а только история; а методология и теория науки есть не что иное как попытка примирить науку с существованием философии, из *reginae* превратившейся в *ancillam scientiae*. Попытка не удачная вдобавок, ибо наука, не желающая иметь *reginam*, не пуждается в *ancillam*.

Приходится, повидимому, признать, что философия есть дело прошлого. Что в наше время, хотя еще и можно быть профессором философии, но быть философом уже нельзя.

Таково было *grosso modo* положение германской философской мысли до Ницше. Не таково оно теперь. Как это ни странно, говорит Грутхейсен, обращаясь к французскому читателю, в Германии вновь существует философия и в то время как во Франции «un jeune homme qui... croit avoir quelque chose à dire... fera un roman... en Allemagne il essaya à faire une Philosophie».

Этим «возрождением» философии Германия по мнению Грутхейсена, главным образом, обязана Ницше, освободившему философию от связи с наукой, противопоставившему ее науке не как познание *более* объективное, чем эта, а наоборот, как наиболее субъективное выражение творческой личности философа. Вдобавок, по мнению Ницше, нет и не может быть познания объективного. Всякое восприятие есть выбор, интерпретация, реакция живого существа на окружающий его на него действующий мир. Жизнь сама творит себе свой «мир», и философ, творец «миросозерцания» только более откровенно и сознательно делает дело жизни.

Нет и не может поэтому быть «общепризнанной» философии, одной для всех, ибо каждый философ, поскольку он заслуживает этого имени, должен сам творить себе свой собственный, его личность выражающий мир. И поэтому, хотя философы прошлого стремились к абсолютному познанию вечных и общеобязательных истин, они де facto только выражали каждый свой собственный, индивидуально отличный мир. В этом как раз залог их ценности и непреходящего исторического интереса. Каждый из них, творя собственный мир, творил новые ценности; в этом, — в нахождении новых ценностей — и должна заключаться роль философии.

Оставим в стороне виталистический прагматизм и биологизм Ницше, — не будем искать

«источников» его учения. Это все, по мнению Грутхейсена, не важно. Что важно, это то, что Ницше открыл для философии новую область, область ценностей; и, пожалуй, еще важнее то, что он постарался найти для философии ей одной принадлежащую область творчества, что для него философия вновь воплотилась в жизнь. Мы не будем следовать за Грутхейсеном в его изложении решений — или попыток решений — Дильтея, Зиммеля, Гуссерля. Философия духа Дильтея, философия жизни Зиммеля, философия чистой интуиции Гуссерля охарактеризованы им настолько удачно, насколько вообще возможно в нескольких словах охарактеризовать философское учение.

Грутхейсен вполне прав, указывая, что концепции Ницше, Зиммеля и Дильтея не выводят нас на широкую дорогу философского творчества. Они прекрасно объясняют нам прошлое философии, вскрывают субъективный характер псевдо-объективных систем. Но может ли философская мысль отказаться от истины? И может ли философ сознательно творить свой субъективный мир? Уйдя от науки не попадет ли он в царство фикции, в царство романа? Познание смысла собственной деятельности не убьет ли в нем наивный импульс к творчеству?

Грутхейсен прав, и мы могли бы указать, как на подтверждение его сомнений на тот факт, что из школы Зиммеля и Дильтея вышло много прекрасных историков, но не вышло ни одного «философа» и что единственный последователь Ницше, который мог бы претендовать на это звание, Н. Гартман не отвергает объективного смысла познания и не отказывается от метафизики.

Нам хотелось бы однако сказать несколько слов о «феноменологии» Гуссерля и его школы. Грутхейсен, как нам кажется, слишком суживает значение феноменологического метода, сводя его к анализу имманент-

го смысла интенциональных актов. Феноменологическая интуиция стремилась к большему: она, грозящая метафизическим устремлением древней философии, пытается достигнуть интуиции сущностей; отказываясь иметь дело с «фактами», констатируемыми и объясняемыми наукой, она не уходит от реальности, замыкаясь в царство чистой мысли. Наоборот, устремления ее онтологичны. Она стремится научить нас «видеть» сущности, те *quidditates*, те *идеи*, о которых так много писали и смысл которых так мало понимали историки.

Как раз сравнение с теорией познания Ницше могло бы бросить свет на сущность феноменологического метода: познание реальной действительности, как справедливо учил Ницше, всегда активно; оно никогда не бывает чистым восприятием, чистой интуицией. Оно всегда пронизано волевым устремлением. «Феноменологическая редукция», «отвлечение от реальности», о которых говорит Гуссерль, не есть абстракция; это просто на просто уничтожение (*nichtausführung, suppressio*) с сложным познавательным актом его волевой, активно проникающей в действительность, компоненты. Освобождение от этого волевого момента, от установки на действие, вот что дает возможность достигнуть чистой интуиции. Что чистая интуиция не может иметь своим объектом реальной действительности само собой понятно: эта «реальная действительность» коррелятивна действию воле, активности и жизни. Но мир интуиции не менее, а более реален, чем этот мир. Мир сущностей и качеств — не абстракция. Он не беднее, а богаче мира жизни и мира науки.

Здесь, кажется нам, основная, слишком мало освещенная Грутхейсеном, особенность современной философии; в стремлении к обогащению нашего опы-

та, нашего мира, в отказе от упрощающего действительность научного объяснения лежит то новое, что объединяет столь непохожих друг на друга тенденции Зиммеля, Дильтея, Ницше и Гуссерля. И в этом, анти-научном устремлении путь к освобождению и к возрождению философской мысли.

Немалую роль тут сыграла и сама наука — по о современной науке Грутхейсен не говорит. Придется нам поэтому отложить рассмотрение этого вопроса до другого раза.

Emile Meyerson.

La déduction relativiste. Paris, Payot 1923

В отличие от всех посвященных теории относительности философских работ, книга Э. Мейерсона не пытается дать «популярного и общедоступного» изложения теории Минковского и Эйнштейна. И в этом, по нашему мнению, его огромное преимущество.

Действительно, как заявляет сам Мейерсон, изложить на «простом», «общепонятном» языке сложную физико-математическую теорию невозможно. Тот, кто не обладает нужной — и очень серьезной — математической подготовкой, никогда не поймет точного смысла учения. Математический аппарат не «внешняя одежда», от которой можно «свободить» теорию относительности; он неразрывно связан с самым существенным ее содержанием. Великий «перевод» языка формул и математических символов на язык обычной жизни и здравого смысла неизбежно сопровождается *искажением*. И лучше гораздо не *излагать* теории, чем внушать читателю превратное мнение, что он понимает то, что в действительности ему недоступно. Сознание непонимания, по крайней мере, уберет его от тех безчисленных ошибок, которые делались почти всеми философами, писавшими о теории относительности: ибо все они,

за редким исключением, черпали свои сведения в «популярных» источниках и даже неверных изложениях; неверных и неточных, хотя и принадлежащих подчас самим творцам теории.

Второе отличие труда Мейерсона столь же, пожалуй, важно. Мейерсон не критикует теории относительности и не защищает ее. Он не пытается ни показать, что теория относительности «согласуется» или «предполагает», или «подтверждает»... неокантианство или позитивизм, монадологический плюрализм или идеалистический монизм, и, поэтому должна быть признана истинной; ни что она не согласуется или «противоречит» неокантианству, позитивизму etc. etc. и, поэтому, должна быть отвергнута. Или, наоборот, — что соответственные философские теории должны быть «признаны» или «отвергнуты».

«Верна» ли теория относительности или нет — до этого Мейерсону нет дела. Вопрос этот — не его компетенция. Не компетенция философа. Дело философа понять логическую структуру издаваемой им теории. Будь ли то теория Ньютона или Эйнштейна — задача философа не меняется. Будет ли теория относительности «признана» научной истиной, или, быть может, через двадцать лет, отвергнутая и «опровергнутая» она окажется всеми забытой, — какое до этого дело философу? Его задача от этого не зависит. Теория относительности являет собой момент в истории развития научной мысли. Она есть исторический факт — такой же факт, как теория Ньютона или Декарта, Кеплера или Птоломея.

Как видим, Мейерсон отказывается — более того, считает недопустимым для философа — защищать или критиковать издаваемую им научную теорию. Философ, как летописец, «добру и злу внимая равнодушно», должен и по отношению к современным теориям сохранять безпристрастие историка. Он, если можно так выразиться, должен

быть историком современной науки. Это не значит, конечно, что роль философа сводится к историческому изучению науки, или, если угодно, к изучению ее истории. История науки и философии науки не одно и то же. Но как для историка, так и для философа наука есть материал его изучения. И вмешиваться — как философ — в научный спор он не имеет права. Его задача иная: он должен *понять* логическую структуру научных понятий, психологическую структуру научной мысли; причины возникновения и смерти научных теорий — к из всего этого материала реконструировать основные черты, основную структуру в них выражающейся и в них документирующей себя человеческой мысли. Философия науки есть рефлексия, самопознание — и для этого, рефлексивно направленного, акта подчас больший интерес представляют теории «неудавшиеся», чем удачные; доктрины в момент их «опровержения», чем в тот период, когда они являются «признанной» научной истиной. Для философского анализа больше дает наука в процессе становления, наука строящаяся, живущая, чем научная теория законченная, исчерпывающая свои возможности.

Отметим мимоходом чрезвычайно важный момент: Мейерсон отказывается отвечать на вопрос: сторонник или противник он теории относительности, потому, что, по его, вполне справедливому по нашему мнению, утверждению, теория относительности является *не философской*, а строго и чисто научной теорией.

И, не желая быть парадоксальным, приходится сказать, что Мейерсону удалось написать философскую книгу о теории относительности только потому, что увидел он в ней *не философскую*, а *естественно-научную* доктрину. Это точное разграничение областей философского и естественно-научного исследования позволило Мейерсону избежать того злостного сме-

шения философии и науки (вульгаризированной философии и популярной науки), в котором повинны не только философские сторонники или противники теории относительности, но и сами ее творцы: позволило, не «излагаемая» теория, вскрыть большинство ошибок, в которые обычно впадают ее исследователи.

Одной из самых важных ошибок, по мнению Мейерсона, является односторонний анализ так называемой «частной» теории относительности, в то время как «общая» теория относительности обычно оставляется философами без рассмотрения. Легко понять почему: частная теория относительности, сформулированная Эйнштейном еще в 1905 году для равномерного прямолинейного движения, кажется более «доступной» для популяризации. К тому же учение о неравномерном течении времени в с различной скоростью движущихся системах, парадокс «отстающих» часов и замедляющихся вследствие движения жизненных процессов (знаменитый пример Langevin доказывающего, что человек, брошенный в пространство со скоростью 200.000 км. в секунду, прожил бы всего два года в то время, как на земле прошло бы 200 лет), отождествление в концепции Минковского времени с четвертым измерением пространства (что, по мнению многих «философов» должно было повлечь за собой обратимость времени, и может быть возможность реализации *Машины времени* придуманной Уэлсом) — давало слишком обильную пищу воображению и слишком мало навстречу современному пристрастию к действительным или кажущимся парадоксам.

Иное дело общая теория относительности: тут, прежде всего, с самого начала ясно было что без солидных математических познаний понять ее невозможно, а кроме того, новая теория пространства и новое объяснение закона притяжения, конечно, не могли возбудить такого широкого интереса, как парадоксы

частной теории относительности.

А между тем, как правильно отмечает Мейерсон, — и в этом трезве основное преимущество его труда, — интерес теории относительности *для науки*, то новое, что она принесла и что позволило лорду Haldane, не встретив протеста сравнить Эйнштейна с Ньютоном, именно и заключается в *объяснении* притяжения, которое Эйнштейн *первым* попытался вывести из свойств самого пространства.

Теория относительности, по мнению Мейерсона, блестяще подтверждает и иллюстрирует анализ научной мысли, данный им в его предыдущих работах, *Identité et Réalité* и *Explication dans les sciences*. Она является последним — по времени — звеном в длинной цепи попыток полного объяснения действительности; последней главой в истории науки, истории, которую можно было бы назвать повестью de reductione physicae ad geometriam; теория относительности не означает поэтому разрыва с прошлым; наоборот: она продолжает дело прошлого и, в нашу эпоху, на основе несравненно большего экспериментального и теоретического материала, пользуется несравненно более могущественным аппаратом математической дедукции, пытаясь — и пока, по видимому, с успехом — дать эквивалент построений Платона и Декарта.

Теория относительности насколько не связана с философским релятивизмом; наоборот, поскольку релятивистический позитивизм Маха*) и Петцольда претендует на истолкование науки и научного познания, она так же противоречит ему, как и концепция Ньютона, так же мало связана она (что бы об этом ни говорили сам Эйнштейн или его ученики) с идеализмом кантовского типа, и даже, поскольку Наторп или Кассирер

*) Мах, как известно, был противником теории относительности так как он считал ее реализмическую природу.

претендуют дать анализ действительной логической и психологической структуры научной мысли, она противоречит им, ибо теория относительности не менее, если не более *реалистична*, чем концепция Ньютона или Гюйгенса.

Теория относительности, как ни парадоксально может показаться подобное утверждение, есть теория *абсолютного*, ибо не относительно только, а *абсолютное* значение придает она форме законов природы: она, впервые, быть может, позволяет нам сознательно игнорировать роль индивидуального наблюдателя, ибо, с точки зрения теории относительности, *все* измерения *всех* наблюдателей, независимо от состояния покоя или движения, в котором они находятся, имеют абсолютное значение.

Четырехмерная «вселенная» Минковского, многообразие временно-пространственных величин имеет абсолютную действительность. Главное отличие и главное преимущество этой «вселенной», этой «действительности» перед реальностью до-эйнштейновской физики заключается именно в абсолютном характере этого однородного и рационального многообразия.

Эйнштейн освободил физику от иррационального понятия *силы*; от иррационального характера ньютоновского притяжения; от дуализма пустого пространства и частично заполняющей его материи, являющейся носительницей *сил*.

Для новой, эйнштейновской, физики не существует отдельных друг от друга материи, пространства и действующих в этом «пустом» пространстве сил. Существует *одно* только многообразие, охватывающее всю совокупность реальности. Пространство и материя — одно и то же. Геометрические законы этого нового «пространства» и законы «материального бытия» вполне совпадают. Притяжение материальных частиц и тел,

бывшее камнем преткновения теоретической физики, как необъяснимый, иррациональный элемент, вполне объясняется законами внутренней структуры пространства. То, к чему вечно стремились научная мысль человечества, та полная дедукция действительности (физической), которую предвидели и пытались осуществить Платон и Декарт по видимому, удалось Минковскому и Эйнштейну.

Надо, впрочем, отдать себе отчет в том, что эта победа научного разума над иррациональной действительностью куплена дорогой ценой.

Во-первых, ценой отказа от обычного представления о пространстве. Пространство теории относительности, как мы только что сказали, имеет структуру. И эта структура (кривизна) его вдвойне непостоянна. Различная в различных точках пространства она и в этих точках является изменчивой. Присутствие в определенной точке пространства физического тела влияет на «кривизну» пространства; вызывает в «моллюскообразной», по выражению Эйнштейна, его структуре «складки» и «морщины». Вернее, сами тела суть не что иное, как центры «сгущения» этих складок и морщин. Пространство теории относительности является таким образом более «реальным», более «вещным», чем пустое пространство Ньютона.

Во-вторых, «пространство» Эйнштейна и «мир» Минковского не безграничны. Мир теории относительности — мир не *Эвклидовой*, а *Римановской* геометрии. И в этом мире размеры имеют *абсолютное* значение.

По мнению Мейерсона, эти модификации нашего представления о пространстве не могут служить основаниями для философской критики теории относительности. Представление пространства не является чем то абсолютно неизменным, раз навсегда данным. Пространство не априорная форма восприятия. История человеческой мысли

есть в значительной мере история эволюции понятия о пространстве. Пространство примитивных народов гораздо богаче нашего. Оно ограничено; направления в нем качественно различны; пространство древности и средних веков беднее и для Аристотеля оно конечно; а качественное различие пространственных направлений еще имеет абсолютное значение даже для атомистов (атомы Демокрита «падают»). Пространство нового времени, пространство Декарта, Ньютона и Канта еще беднее; еще менее «представимо»; еще дальше от воображения. Концепция теории относительности есть лишь дальнейший шаг на пути развития, на пути удаления от обыденного восприятия, от воображимости.

Мейерсон полагает, что этот шаг закончен и окончателен. Человеческая мысль никогда не возвращается к раз пройденным этапам; всегда предпочитает несовершенство и трудности новой гипотезы, новой теории, новой концепции несовершенствам и трудностям старой.

Но, по его мнению, теория относительности неизбежно натолкнется на трудности научного характера. Теория квант, по видимому, несовместима с концепцией Эйнштейна; есть и другие данные, которые теория относительности, по видимому, не в состоянии объяснить и этих трудностей будет чем дальше, тем больше.

Теория относительности, быть может, является научной истиной сегодняшнего дня. По всей вероятности, она не будет таковой для завтрашнего. Ее, по мнению Мейерсона, ждет судьба концепций Платона и Декарта. В самом успехе ее залог того, что, как и все попытки полной дедукции, полной рационализации действительности, ее в будущем ждет поражение. Ибо теория относительности, верная духу научной мысли, преследует цель невозможную. Идеал абсолютной рационализации, полной дедукции, со-

вершенного объяснения реальности, противоречив, ибо действительность в самой сущности своей иррациональна. Ибо иррациональна в своей основе всякая данность; иррационально само бытие. Иррационально всякое многообразие.

Всякое объяснение есть, как мы знаем, попытка сведения многообразия к тождеству: попытка отрицания реального существования различия, подмены его скрытым, но единственно реальным тождеством; каждый шаг на пути рационализации связан с превращением какой либо сферы данности из реально существующей в только кажущуюся; полное объяснение ведет поэтому к полному отрицанию всякой реальности, к отождествлению бытия и мышления; идеал полного объяснения находит свое осуществление в аксизме. Процесс рационализации стремится разрушить иррациональное бытие, или, что же, вывести его из разума. Но это значит вывести существование из ничто. Бытие из небытия.

Мейерсон не случайно пользуется этими гегельянскими формулами. Мы знаем, что, по его мнению, Гегель глубоко проникнул в смысл и структуру научного мышления; понял его парадоксальную и внутренне противоречивую природу. Больше того: теория относительности пытается осуществить задачу философии Гегеля, с той разницей, конечно, что применяет дедукцию математическую там, где Гегель пытался применить дедукцию логическую. В этом отличии огромное преимущество теории относительности и объяснение ее успеха. Но и панлогизм Гегеля и пангеометризм Эйнштейна приводят к потере действительности и чрезвычайно характерными являются приводимые Мейерсоном цитаты из трудов Кузена и Тана, с одной стороны, Eddington'a и Weyl'a, с другой. При всем отличии обеих дедукций они оставляют одно и то же впечатление; действительность объяснена вполне, но в

то же время она куда-то исчезла. И бледные схемы гегельевских категорий точно также как сложные формулы Эйнштейновской дедукции не в силах наполниться плотью и кровью и превратиться в элементы реального мира.

«Теория относительности, — по очень верному и точному определению Гавронского, — есть попытка резать реalsы математическими формулами». Попытка удачная, добавим мы, удачная постольку, поскольку «реalsы» сами могут быть заменены формулами. Но эта замена никогда не удастся вполне. Иррациональность действительности непреодолима. Победа, одержанная теорией относительности, — кажущаяся победа. Иррациональность множества, иррациональность данности, иррациональность фактов, необратимость времени неустранимы. И можно с уверенностью сказать, что имманентное развитие науки, для существования которой иррациональность так же существенна, как и рационализация, неизбежно приведет к открытию нового слоя иррационального бытия, «объяснить» который теории относительности окажется бессильной.

История *reductionis physicae ad mathematicam* обогатится еще одной главой, и научная мысль вновь примет отскивать методы осуществления своей несуществующей цели.

Такова, по мнению Мейерсона, неизбежная судьба теории относительности. Слишком, по нашему мнению, блестящее будущее. Мы не собираемся, конечно, в краткой журнальной заметке пытаться подвергнуть критическому разбору замечательный труд знаменитого философа. Нам кажется, все же, что, с точки зрения его же собственной теории, роль переворота произведенного теорией относительности в научном представ-

лении о пространстве охарактеризована не совсем верно. Действительно, по мнению Мейерсона, история представления пространства есть история постепенной потери им данной чувственному восприятию структуры; история опустошения обидения данного в непосредственном опыте многообразия. Но пространство Эйнштейна, хотя и дальше от интуиции, чем пространство Ньютона, тем не менее богаче его. Оно обладает внутренней структурой; оно неоднородно; не есть ли это возврат к уже пройденной ступени? И если «человеческая мысль не возвращается к уже пройденному этапу» то можно ли представить себе отказ научной мысли от столь трудом добытого понятия безконечности? Правда, теория квант, казалось бы, лишает нас возможности отрицать абсолютное значение пространственных величин. Но, как мы знаем, теория квант несовместима с теорией относительности, и именно потому, что кванты являются иррациональной данностью, реальностью несводимой к чистому пространству.

Пророчествовать всего удобнее *ex eventu*. Но все же, пророчеству Эмиля Мейерсона позволим себе противопоставить собственное: история науки не отведет теории относительности места рядом с концепциями Декарта и Ньютона. Скорее — рядом с открытиями Лобачевского и Римана, а попытки измерить кривизну пространства — рядом с знаменитыми «опытами» Гауса. И, может быть недалеко уже то время, когда какой-нибудь гениальный физик найдет физическое истолкование гениальной концепции Минковского и Эйнштейна и теория относительности также потеряет свой парадоксальный характер, как потеряли его построения неевклидовой геометрии.

А. Кофре.

ПУТЬ, орган русской религиозной мысли

№ 4 Июнь — Июль 1926

Среди сотрудников «Пути» ясно обрисовываются две группы, отличающиеся своим подходом и отношением к религиозно-философским вопросам. Одни исходят из самого центра религиозного сознания и выдвигают задачу своего умознания лишь в философском освещении и истолковании церковно-христианского учения. — Другие подходят к религиозной сфере со стороны ее периферии и стремятся прежде всего согласовать достижения «светской» философии и наука с теми требованиями, которые их мировоззрению предъявляет религиозная вера. Встреча этих двух течений знаменательно; ведь это встреча хранителя церковной традиции и религиозности с той частью старой русской интеллигенции, которая идет воссоединения с церковью и приобщения к накопленным ею духовным сокровищам. Только взаимное сближение и сотрудничество обеих групп способно сообразить русскую религиозную мысль ту силу и широту захвата, которая ей нужна, чтобы вновь обладать и подчинить себе духовную культуру современности. Задача эта — чрезвычайно трудная и ответственная: с одной стороны необходимо хранить чистоту церковной традиции и в философском толковании ее соблюдать особую осторожность. Но с другой стороны необходимо также, чтобы под мощным напором религиозного опыта философское зрение не утратило своей острой зоркости, чтобы научная совесть сохранила свою интеллектуальную требовательность и чуткость. Ведь и религиозная ревность может служить основанием для *ignava ratio*.

К сожалению, до сих пор в «Пути» подлинно-церковные круги принимают лишь незначитель-

ное участие, и потому трудно судить, в какой мере этот журнал может повлиять на мышление церковного Православия. — В настоящем номере эти круги представлены только двумя статьями проф. Н. Глубоковского и прот. С. Булгакова. Первая «Христианское объединение и богословское просвещение в православной перспективе» воспроизводит речь, произнесенную Н. Глубоковским в Королевском Исландии в Майдане и для русского не представляет особого интереса. Напротив, очень серьезная и интересная статья С. Булгакова «Церковь и инославие», входящая в серию его «Очерков учения о церкви». На основании тщательного разбора церковной практики, учения отцов церкви и постановлений Вселенских Соборов, касающихся отношений Православной Церкви к инославиям, автор приходит к заключению, что необходимо признать существование *ecclesia extra muros*, т. е. существование «внешней», зовы Церкви, находящейся за пределами ее ограды и не совпадающей с единством ее органов заш», но вместе с тем все таки единой с Православием Церковью поскольку в этой внешней зоне действует сила Христова и Благодать Св. Духа». Это непрерываемый канонический факт, которым в основе своей определяется отношение церкви к инославиям (к расколу, к ересям и т. п.).

Самая яркая статья в настоящем номере «Пути» — это статья Г. Флоровского о «метафизических предпосылках утопизма». Флоровский — мыслитель с несомненным литературным даром, способный к тонкому и глубоко захватывающему анализу, умеющий резко и не шаблонно ставить проблемы. Всеми этими достоинствами обладает и статья об утопизме. Флоровский

ставит проблему утопизма шире, чем это обыкновенно делают; он пытается вывести утопизм общественного идеала из более глубокого источника, из утопизма, заложенного в самом познавательном опыте и его философского истолкования. Овеществление общественного идеала является лишь следствием того объективизма, который господствует в европейском мышлении, и который неизбежно ведет к натуралистическому монизму. Монизму этому, субъективно выражающемуся в «космической одеревенелости» философствующей мысли, мир представляется как законное, замкнутое органическое всеединство, в котором все элементы и части находятся в строго закономерном, изначально предустановленном единстве и в котором поэтому парит абсолютная необходимость. В таком мире нет места для свободы и самостоятельности личности нет места для ее нравственно-религиозного самоопределения и для творческого подвига. — Отголоски этого натурализма автор видит и в современном либерализме, понимая как непосредственное пассивное восприятие объекта и выключającego из познавательного акта творческий момент. — Утопическому опыту натурализма Ф. противопоставляет «опыт Истины», определяемый, как опыт религиозной веры, как опыт свободы. Только на почве этого опыта может вырасти философское умозрение, способное правильно понять отношение между Богом-Творцом и Миром-Тварью (человеком), а вместе с тем и уподобить подлинный смысл исторического процесса, свойственный ему трагизм свободы. Между истинной верой (православием) и истинной неутопической философией существует поэтому неразрывная связь. — Такова приблизительно основная концепция статьи Г. Флоровского. — В его критике руководящих тенденций европейского мышления несомненно много мистического и верного. Ф. совершенно правильно указывает на внут-

ренние трудности, кроющиеся в понятии вещества. Не без основания он усматривает и в интуитивизме некоторые элементы натурализма. Но в целом его концепция европейской философии по меньшей мере односторонняя. Именно новой европейской философии мотив свободы вовсе не чужд; он составляет отличительную черту не только философии Канта, но и философии Фохта (несмотря на то, что оба подчиняют индивиду нравственному миропорядку). Пафос свободы — дерзания один из сокровенных мотивов философии Ницше. Поэтому безоговорочное отождествление опыта религиозной веры с опытом свободы необосновано; и только более глубокий анализ существа свободы мог бы его философски оправдать. — Вообще вторая положительная часть статьи Ф. менее разработана и поэтому менее убедительна, чем первая критическая. Автор предпочитает здесь говорить языком богословия, не раскрывая старого философского смысла употребляемых богословских формул и понятий. Неясным поэтому остается и понятие религиозного опыта. Между тем именно Ф. следовало бы заняться философской разработкой этой проблемы. Ведь он один из немногих, которые одинаково владеют богословским и философским языком.

Хороша и содержательна статья В. Ильина «Иночество и подвиг», дающая характеристику специфически православного понимания аскезы. Правда, с философской точки зрения, статья эта имеет скорее подготовительный характер. Очерчивая самую сферу подвижничества и устанавливая понимание его и оценку, со стороны православной церкви в лице ее авторитетных представителей, статья Ильина приводит проблему как раз до той точки, где должен был бы начаться феноменологический анализ подвижничества и его религиозной сущности. Ведь и в данном случае задача заключается именно в том, чтобы раскрыть чисто фи-

лософский смысл тех богословских понятий, которыми определяется существо иночества и подвига. Надо надеяться, что автор продолжит свою работу именно в этом направлении.

Об основном замысле статьи Н. Арсеньева «Пессимизм и мистицизм в древней Греции» еще нельзя судить. Пока напечатана только первая часть, которая содержит довольно живое и снабженное обильными выдержками из первоисточников изложение того, что известно современной науке о пессимизме и мистицизме Греции.

К тем статьям, которые исходят из «светской» философии и рассматривают религиозные проблемы со стороны их периферии, принадлежат статьи С. Франка «Религия и наука в современном сознании» и П. Выпеславцева «Два пути социального движения». — С. Франк подходит к вопросу о взаимоотношениях религии и науки с большой осторожностью. Разграничив предварительно их сферы и установив автономию каждой из них, автор указывает однако на то, что автономия религии и науки не одинаковая. Если религия в своей основе совершенно независимо от науки, то научное знание напротив в своем историческом развитии всегда так или иначе обусловлено общим мировоззрением духовными интересами, жизнью, ощущением, — или кратко говоря верой тех лиц и эпох, которые его создают. Новая наука, по мнению автора, определила атеистическим или по крайней мере скептическим сознанием и потому в противоположность античной и средневековой науке создала представление о мире, как о хаосе слепых и мертвых сил. Живое религиозное сознание современности не может мириться с такой концепцией; оно поставлено поэтому перед задачей творческого овладения научной мыслью и такой ее переработки, которая позволила бы ее выключить — не мешая ее научного существа — в состав цельного религиозного мировоззрения. И процесс

этот фактически уже совершается самостоятельно благодаря тому, правда еще очень слабому, пробуждению религиозных интересов, которое за последнюю четверть века наблюдается в научных сферах. Об этом свидетельствует позитивный переворот произшедший в основных научных воззрениях, как в области психологии, так и в естествознании (биологии и физике). Повсюду почти механическое представление о мире, как о хаосе слепых сил, уступающее место органической концепции, восстанавливающей античную идею гармоничного сложения, полного живых сил космоса. Переворот этот — бесспорный факт. — Но можно ли новую «версию» в современной науке объяснить пробуждением религиозных или даже просто более глубоких духовных интересов в научном сознании? Конечно, органическая концепция мира лучше мирится с религией чем механическое миропонимание, но сама по себе она еще не заключает в себе ничего такого, что родило бы ее с религиозным сознанием и опытом. Вообще вопрос этот обстоит не одинаково для отдельных отраслей научного знания. Решающее значение имеет в каждом случае основная установка научного сознания. Если, например, установка, из которой исходит наука о духе в основе своей родственна той, в которой корнями является религиозное сознание, то чисто объективирующая установка точного естествознания, наоборот ей прямо противоположна и как бы предполагает некоторый «отпосылительный атеизм». Ведь то, что тормозило развитие точного естествознания в античности и даже в Средние века, были в значительной мере не внешние, а внутренние причины, и прежде всего неспособность к последовательному проведению чисто объективирующей установки, т. е. неспособность преодолеть односторонность господствующего «органического миропонимания». — Статья С. Франка ставит проблему о взаимоотношении религии и науки лишь в

самой общей форме. Решение ее требует более глубокого исследования самых основ (основных оснований) религиозного и научного сознания.

П. Вышеславцев в своей статье «Два пути социального движения» ставит себе задачей выяснить отношение христианства к современным социальным движениям. Центральным пунктом проблемы он считает вопрос о допустимости и о недопустимости организационного преступления. Перед современностью, по мнению автора, открываются два противоположных пути социального развития. Один — «это путь социального преступления, путь революционно-коммунистической, путь умаления индивидуальной свободы», конечною целью которого является абсолютная власть общественного механизма. — Другой путь — есть путь социальной правды, отрицающий преступление и насилие, как средства для достижения социальной справедливости, признающей неприкосновенность субъективных прав и стремящийся в конечном итоге к осуществлению «правового идеала безвластной организации». Пути анализа современных социалистических учений автор показывает, что все они запутываются в неразрешимых противоречиях, поскольку смешивают эти два исключаящих друг друга пути. Но по существу — социализм может идти только одним — революционно-коммунистическим путем. Принципиальный отказ от него был бы для него равносильным самоуничтожению и отречению от своей идеи. Вот почему социализм и христианство несовместимы, ибо Христианство может признать только первый путь социального развития. — С общими выводами статьи нельзя не согласиться, но вместе с тем они оставляют в читателе чувство некоторой принципиальной неудовлетворенности. О внутренних противоречиях в социализме писалось уже много, и навряд ли дальнейшая разработка вопроса в этом направ-

лении может дать что-либо существенно новое. Между тем остается невыясненной другая, быть может более важная, сторона проблемы: что собственно надо разуметь под идеей социализма? Есть ли это некоторый частный идеал общественности? Или же это — идеал взятый в определенном историческом аспекте? Или же это прежде всего идея политики, ведущей к общественному идеалу? И выражается ли идея социализма чаще всего в его крайних формах, как утверждает Н. Бердяев? Только разграничение всех этих различных смыслов идеи социализма и точное определение их взаимоотношений, а также их отношения к исторической действительности могло бы внести в философскую проблему социализма принципиальную ясность.

Вышеславцев справедливо отмечает, что социализм принадлежит к тем полустигмам, которые особенно опасны и соблазнительны именно тем, что в них смешаны правда и не правда, добро и зло. Преодолеть его соблазна можно только в том случае, если вскрыть его внутреннюю ложность, показать, что он не может дать прямого и ясного ответа на такой решающий вопрос, как вопрос о допустимости или недопустимости преступления. Только тогда удастся отделить кроющуюся в социализме правду от неправды и тем самым лишить его всякой жизненной силы. — Но автор забывает поставить другой вопрос: не возникает ли в таком случае на месте погибнувшего социализма другое подобное ему уродливое сочетание правды и неправды, и не может ли самая идея безвластной организации послужить ядром для такого новообразования? Не заключается ли трагедия всякой идеи (в том числе и христианство) именно в том, что в процессе своего осуществления она должна приспособиться к действительности, терпеть известный ущерб и унижаться или даже соединяться с неправдой? Поэтому необходимо встает вопрос: как и в какой ме-

ре может и должен быть обоснован и оправдан компромисс идеи с действительностью? Проблема социальной утопии должна быть заменена проблемой об условиях правомочности социального компромисса. Только на почве решения этой более общей проблемы может быть принципиально решен и вопрос о социализме и его отношении к допустимости преступления.

Сам редактор журнала Н. Бердяев представлен в этом номере тремя статьями, из которых две несут полемический — критический характер (Кошмар злого добра и Дневник философа). Полемика и критика несомненно одна из самых сильных и ярких сторон в писательстве Н. Бердяева, хотя он по складу ума совсем не драматик и никогда не выступает во всеоружии строго логической аргументации. Но обычно он очень верно подмечает слабые стороны в позиции своих противников и умеет в меткой формуле выявить те противоречия или заблуждения, к которым приводят их учение. — Мы здесь не беремся судить по существу о полемике, возникшей между Н. Бердяевым и И. Ильиным, по поводу книги последнего «Социализм и злое слово». Возможно, что некоторые из обвинений, которые Н. Бердяев предъявляет Ильину, как утверждает сам Ильин в газетной статье «Необходимая оборона» (Возрождение, от 29 10 26 № 514.) основаны на недоразумении. Но написана статья Бердяева с большим темпераментом, и в основной своей тенденции представляется весьма убедительной. Во всяком случае в понятии злого добра Бердяев очень метко определил сущность проблемы, вокруг которой идет спор. Вторая статья Бердяева «Дневник философа», посвященная спору о монархии, буржуазности и о свободе мысли, развивает мысли, уже знакомые читателю по другим произведениям автора. Бердяев излагая здесь свое политическое credo, одинаково чуждое и правой и левой ориентации,

и правильно указывает, что вопрос о создании монархической власти в России утратил сейчас всякое принципиальное значение.

Третья статья Бердяева «Жозеф де Местр и масонство» направлена главным образом против того переувеличенного представления о политическом значении масонства, которое господствует в правой части русской эмиграции. Взгляд на масонство, как на централизованный мировой заговор против христианства, как справедливо замечает Б., заимствован из католицизма и по существу совершенно чужд духу Православия. Вновь опубликованный трактат Ж. де Местра: *La franc-maçonnerie*, удостоверяющий его причастность к «мартинизму» обнаружил тесную личную несостоятельность православно-католической концепции масонства. По мнению Б. в современном масонстве нет никакого идеологического единства; оно есть лишь форма тайного общества, которой пользуется все организации и партии для осуществления своих целей, как злых так иногда и добрых.

Мало удачной оказалась на этот раз статья иностранного сотрудника, — П. Аршаго, о «Философии действия Мориса Блонделя и аббата Лабретоньера». Статья эта носит какой-то случайный характер, написана упрощенно-схематично и не вводит в более глубокое понимание того нового течения в католической мысли, которое представляют М. Блондель и А. Лабретоньер. Воспоминания Ельчанинова об епископе Антонии Флеренсове вышли довольно бледными и не вносят ничего существенного в характеристику старчества и его религиозного значения для России. — Гораздо содержательнее посвященный памяти игумении Екатерины краткий биографический очерк, рисующий внушительную картину ее культурной и религиозно-православной деятельности в Леснинском и Богородицком женском монастыре в Холмщине.

Довольно скуден библиографический отдел (рецензия С. Франка на философию мифологии Кас-

сирера и отзыв В. Ильина о первом томе «Начал» Л. Карсавина).

В. Сеземан.

Charles Richet. — *Traité de metapsychique*

Deuxième édition refondue. Paris. Librairie Félix Alcan. 1923.

Перед нами монументальный труд (IX — 847 стр.). Тема, которую он разрабатывает, такова, что за серьезную ее трактовку автор с самой установившейся репутацией еще не так давно серьезно рисковал бы своим ученым именем. Констатирование и объяснение таких явлений, как криптоптезия (ясновидение во всех его формах и проявлениях), телекинезис (движение неодушевленных предметов), левитация (поднятие на воздух с уничтожением как бы силы тяготения), эктоплазма (появление и исчезновение материальных масс тел, иногда настоящих призраков и проч.) — вводят в науку совершенно новые объекты. Да и сама трактовка этих объектов является собственно новой наукой, правда, тесно примыкающей одновременно как к психологии, так и к физиологии. Новая наука очень удачно названа автором этого труда «*Метаспсихикой*», хотя, быть может, было бы лучше назвать ее метаспсихологией. Автор книги — один из крупнейших ученых не только во Франции, но и в Европе. Его многочисленные труды разрабатывают главным образом физиологическую психологию и, частью, биологию и медицину. Не чужд он и философского творчества (им написана в сотрудничестве с знаменитым Сюлли-Прюдомом интересная книга *Le problème des causes finales*). Шарль Рише — выдающийся экспериментатор. Он неистощим в своей изобретательности. Постановка его опытов отличается блестящим остроумием и неожиданными их вариациями. Он совершенно лишен каких бы то

ни было предвзятостей в области общего мирозерцания и является типичным натуралистом, правда, свободным от рутин и косности. Поэтому сообщаемые им научно обработанные данные приобретают сугубый интерес. «Я удовлетворился тем — говорит Ш. Рише, — что издал факты и обсудил их реальность, не только не притязая на какую-нибудь теорию, но почти даже не имея в виду никакой теории». Это во всяком случае лучше, чем самый худший вид из всех теоретических предвзятостей — огульное отрицание всего выходящего за пределы привычного шаблона. Единственный вывод, который себе позволил сделать автор, столь скупой на теории, это констатирование простой и постоянно отрицавшейся вульгарным рационализмом истины, что человеческий дух помимо нормальных ощущений имеет еще совершенно иные пути познания (стр. IV).

На странице 2 и след. автор вводит в терминологию понятия «метаспсихического», предложенного им еще в 1905 году. Этот термин означает такие данности и явления, которые выводят за пределы обычного круга психических явлений. Это явления — *за-психические*. (Однако следует заметить, что как автор книги, так и оспаривающий у него пальму первенства в введении этого термина Лютоставский — оба ошибаются. Заслуга эта должна быть приписана замечательному немецкому психологу и философу Вильяму Штерну. *)

*) См. William Stern. *Person und Sache*.

Ш. Рише различает метаспсихику объективную и метаспсихику субъективную (стр. 3 и сл.). Первая касается внешних явлений, воспринимаемых нашими органами чувств — механических, физических или химических, которые однако являются следствием действия разумных и в настоящее время не известных сил. Вторая — изучает явления исключительно интеллектуального характера. Их особенность — познание реальностей, недоступных нашим органам чувств. «Все происходит так, как будто бы мы имели таинственную способность познания, ясновидение, которое наша классическая физиология ощущений не может еще объяснить» (ibid). Этот способ познания Рише и называет «криптоптезией» (тайнопознание, познание скрытого). Окончательное определение метаспсихики будет таково: «Наука, имеющая своим предметом явления механические или физиологические, обязанные своим происхождением силам, которые кажутся разумными, или же не известным способностям, скрывающимся в человеческом духе». (Стр. 5). В истории изучения этих явлений Ш. Рише различает четыре периода: 1) Мифический, заключающийся в Месмере (1778 г); 2) Магнетический (сестры Фокс, 1847 г); 3) Спиритический (от сестер Фокс до Вильяма Крукса (1847-1872); 4) Научный, начинающийся с В. Крукса. Автор надеется, что с его трудом наступит 5-ый период — классический. Этим он, повидимому, стремится отмежевать себя от вульгарной научности, что можно только приветствовать, ибо есть все основания отдавать решительное предпочтение подлинной науке перед фальшивым и претенциозным научничеством, наукоподобием и прочими фикциями позитивистического безвременья.

На стр. 16-43 дается краткий очерк перечисленных периодов. Далее идет изложение. Оно начинается с анализа сущности медиумов и медиумизма (стр. 43 и 54). С научной точки зрения

медиум есть человек, обладающий свойствами производить метаспсихические феномены в большой, иногда совершенно исключительной степени. Так и рассматривает их Ш. Рише. Среди медиумов многие приобрели мировую известность; к числу их надо отнести Home, Mad. d'Esperance, Florence Cook, Stainton Mores, Piper, Mad. Leonard, Marthe Beroud, William Crookes, Katie King, Eusopia Paladino и др.

На стр. 55-62 рассматривается важный в методологическом отношении вопрос о границах между психическим и метаспсихическим. Здесь Рише приходит к установлению простого и точного закона: «находящийся в бессознательном состоянии способен производить все то, что производит находящийся в сознании» (стр. 56). Равновесие нарушается именно в пользу метаспсихического. Метаспсихическое обладает свойствами, ему одному принадлежащими и в этом смысле превосходит область психического. На стр. 63-73 разбирается имеющий также важное методологическое значение вопрос о применении понятия случайности и исчисления вероятностей, равно как и ошибок наблюдений в метаспсихическом. На стр. 74-97 даются общие определения и классификация криптоптезии. К криптоптезии относятся явления ясновидения и телепатии. Их общая сущность та, что «в определенные моменты наш дух может познавать реальности, о которых наши чувства, наша прозорливость и наши рассуждения не могут дать нам знать» (стр. 80). Следует отличать явления так называемого психического автоматизма, относящихся к обыкновенной психологии и лишь по видимости приурочиваемые к криптоптезии. Сюда относятся различные измышления личности, автоматическое письмо и др. Криптоптезия может наблюдаться: а) на нормальных субъектах, субъектах зарегистрированных, с) у медиумов и d) у особо чувствительных субъектов. К последним

относятся те, кто кактусы при обычных условиях совершенно нормальными, но в некоторых специальных случаях обнаруживается способность к криптостезии (зрение через кристалл, психометрия и др.). На основании исследований криптостезии у нормальных субъектов (стр. 101-117). Ш. Рише приходит к заключению, что «у всех людей, даже по видимости не так чувствительных есть иной, сравнительно с обычными, способ познания. Но у мало чувствительных эта способность чрезвычайно слаба почти ничтожна» (стр. 116). На стр. 117 - 164 анализируется криптостезия в состоянии гипнотического и сомнамбулического. С точки зрения чисто медицинской особенно интересна способность некоторых субъектов видеть болезненное состояние внутренних органов. Не менее интересна и так называемая внутренняя, аутокопия, заключающаяся в видении своих собственных внутренних органов. Явление это упомянуто у Дю-Потэ, изучено д-ром Комар и затем д-ром Соэлье. Стр. 164 - 205 посвящены спиритической криптостезии, т. е. криптостезии, обнаруживаемой на спиритических сеансах. Здесь приведена масса интересных вполне засвидетельствованных фактов. Осторожно и естественно автором отнесены к криптостезии хиромантия («приближающаяся к здоровой физиологии») и являющаяся ее ответвлением графология. Особенно интересен тот вид криптостезии, который назван Ш. Рише «перенесением чувств» (transposition des sens). Сюда относятся ощущения того, к чему неприкасаются, видения содержания разных закрытых предметов, чтение запечатанных писем и т. д. «Все происходит так, как будто бы знание содержания письма доходит до сознания через посредство особого рода чувства ощущения. Быть может, это только видимость, но невозможно отрицать эту видимость» (стр. 256). К субъективной метаспсихике относится ксеноглоссия (разговор на незнако-

мом языке), спиритическая идентификация (одеждаемость другим существом), палочка отгадывательница (открытые подземных вод и металлов с помощью ее) и др. (Стр. 275 - 306). Обширный отдел (стр. 312 - 450) посвящен так называемой «случайной криптостезии» (cryptosthesie accidentelle), куда относятся: 1) сообщение о маловероятных случаях, 2) сообщение о смерти и 3) коллективные сообщения. Не подлежит сомнению, что «часто смерть человеческого существа делается известной человеческим существом без того, чтобы это могло быть объяснено с помощью нормальных чувств; большей частью эти сообщения о смерти имеют характер безочечно разнообразных символов; и, наконец, эти сообщения почти всегда субъективны» (стр. 427). Другой не менее интересный отдел субъективной криптостезии посвящен предсказаниям и предчувствиям (стр. 451 - 522). Дело обстоит так, как будто бы «сила, скрытая в высших или в душах, ищет воспринимающего и действует на некоторые области его подсознания» (стр. 450). Далее идет изложение и анализ фактов объективной метаспсихики (стр. 523 - 780). К ним относятся: а) телекинезис (движение предметов на расстоянии без прикосновения, шум и стук без появления живых, материализованных образов, в) эктоплазма (материализация живых образов, предметов, лиц) и с) одержимость (des hantises дома, лица посещаемые неизвестными силами). Первые два проявления объективной метаспсихики могут быть контролированы с помощью фотографии, для чего пользуются магнитными вспышками. Превосходные образцы даются автором на стр. 557, 558, 559, 565, 654, 661, 668 и 694. Установленный факт телекинезиса может быть формулирован так: «при известных условиях может быть движение различных предметов, даже крупных и тяжелых, без приложения и без вмешательства какой бы то

ни было неизвестной механической силы» (стр. 568). Нередко явления телекинезиса соединяются с явлениями эктоплазмы, когда от тела медиума исходят различные формы, материальные отростки по направлению к переловляемым предметам. (Это засвидетельствовано как автором так и известным Шренк-Ноттингем). Сюда же относятся опыты с известной Евзипией Паладино (стр. 574 и сл.).

Телекинезис тесно связан с эктоплазмией. Последняя является вичем иным как проекцией разумной механической силы, иногда она бывает видимой и приобретает материальные формы. Тогда на лицо часто бывает прогрессивная концентрация особого типа материи («эктоплазмы» — термин Рише) вокруг центрального ядра, ее образующего. Характерным свойством эктоплазмы является то, что она целиком оказывается как бы функцией производящих ее сил, почему она способна исчезать без остатка — хотя всевозможные результаты ее действия фиксируются и остаются на лице (снятие масок, фотографии и пр.). Здесь как будто бы полное поправление закона сохранения вещества. Эктоплазма доходит в своем пределе до образования совершенно сформированных человеческогоподобных тел, отделяющих животную теплоту, углекислоту, имеющих вес, говорящих и, повидимому, думающих. Все это тоже абсолютно необъяснимо при настоящем состоянии науки и Ш. Рише бросает по этому поводу крылатый афоризм: «Да, это абсурд; но ничего не поделаешь — это правда».

К объективной метаспсихике относятся еще левитация и биллокация (одновременное нахождение одного и того же индивидуума в разных местах, близких или отдаленных. (Стр. 524 - 738).

Отдел книги, посвященный одержимым домам, важен уже потому, что он устанавливает объективную достоверность того, что было известно на протяжении истории всего челове-

чества и огульное отрицание всего в новую эпоху явилось результатом тоже одержимости духом рационалистического идеализма. Сущность одержимости (наращаемости) домов Ш. Рише видит в том, что «метаспсихические явления объективные или субъективные повторяются в определенных местах». (Стр. 741) Особенный интерес представляют явления так называемых «призраков». Они несомненно представляют явление родственное эктоплазмии, при чем медиум в данном случае не известен, и в этом причина специфического ужаса, вызываемого подобного рода явлениями: ведь не исключена возможность, что причины, их вызывающие (медиумы), находятся в ином плане бытия и представляют собою существа особого порядка. (Мнение рецензента).

Явлению призрака — говорит Ш. Рише, цитируя известного Боциано — предшествует широко развивающееся чувство ужаса, *чувство чьего то присутствия*, соединенное с ледяным величием: почти всегда они кажутся совершенно равнодушными к живым людям, которые на них смотрят. Иногда они занимают некоторые домашними работами, иногда делают явсты отчаяния. Наблюдается большое разнообразие в их движениях» (стр. 744).

В одержимых домах наблюдается также порою весьма интенсивно проявляющийся телекинезис (стр. 758 и сл.).

В заключение книги дана сводка результатов, приведены дополнительные факты и представлены некоторые общие выводы и соображения, — правда, весьма скупо и осмотрительно. (Стр. 781 - 822) Автор отказывается высказывать какие либо конкретные теоретические соображения и утверждает, что «у нас нет еще никакой возможности выставить серьезную гипотезу» (стр. 819). Он решительно отказывается давать какие либо объяснения в духе мистического спиритуализма. Единственное по-

ложительное утверждение, высказываемое им, это то, что *«существует воздействие нашего духа на материю»* (стр. 811). В контексте этого огромного труда даже по видимости скромное утверждение звучит, как одно из крупных приобретений в разрушении психо-физической проблемы. Анализ явлений метаспсихики приводит к определенному примату психического над физическим и превращает даже последнее в функцию первого — что ясно видно из явлений эктоплазмии. Однако Ш. Рише остерегается даже делать и этот вывод. Он предлагает *«настойко»* же быть точным в экспериментировании, как и смелым в построении гипотез» (стр. 822). Для него, как для представителя чистой науки, самым важным является выведение метаспсихики из стадии алхимии» оккультизма, «подобно тому как химия вышла из стадии алхимии» (там же).

Значение разобранной книги двойное: во-первых она является монументальным трудом по систематике и типологии фактов, объединенных под чрезвычайно удачным термином метаспсихики. Во-вторых она, оставаясь на строго научной и чисто экспериментальной почве тем не менее до конца разрушает старомодный позитивизм в психологии с его рутинно-консервативной трактовкой раз на всегда выбранных фактов и с упорным нежеланием видеть новые. Это тем было важно что как многие профессора университетов, так и питающихся от их «творчества» фабриканты газетно-журнальной мануфактуры, пребывая в той стадии умственного развития, которую можно характеризовать, как смесь просветительства XVIII века с позитивизмом стиля Конта середины XIX века, уверены и стараются увердить других, что они обладают последним словом науки. Этих субъектов книга заставит не-

режывать немало неприятных минут, ибо пробуждение от всякой спячки вообще, и тем более от просветительски-позитивистической — мучительно и тягостно. Лицом к лицу с этими фактами они очутятся в жалком и нелепом положении. Им остается или твердить фразы из того, что было когда то наукой (социал-коммунисты, должно быть отделаются ссылкой на крепнущую реакцию да на «опиум для народа») или *faire comme mine au mauvais jeu* и не замечать разворачивающегося нового Космоса.

Положение психологии среди других наук до самого последнего времени было двусмысленным. Его любили характеризовать иногда, как находящееся в до-Ньютоновской стадии. И это утверждение не лишено известной доли правды. Но такое положение психологии объясняется тем, что как по выбору фактов, так и по их трактовке, сознательно или бессознательно, избегали самостоятельной и адекватной трактовки, желая, чтобы эта наука подражала другим наукам, не только в принципах общенаучной методологии (чего нельзя отрицать), но в частных деталях и даже объектах. Все это приводило к тому, что психология превращалась в часть комбинирования элементарных ощущений, частью (в изучении высших духовных явлений) растворялась в трансцендентальном априоризме. Так, напр., для Наторпа психология есть сведение непосредственных данных сознания к их субъективному источнику (этот источник понимается в духе трансцендентализма). Для Германа Когена психология есть описание сознания, исходящее из его элементов. Еще последовательнее проведена эта агрегатная точка зрения у Мюнстерберга. Новейший, Гейзер, в своей *Lehrbuch der Psychologie* хотя и обращается к феноменологическому методу, но на деле при всей его талантливости все сводится к спиритуалистической реакции в духе Аристотеля и Оома Аквината. Своеоб-

разие психических явлений, основное ядро психофизической проблемы оказалось совершенно обойденным.

Книга Ш. Рише является одним из могучих рычагов, став-

ящих психологию на ей одной свойственные пути и вскрывающих часть того материала, из которого надлежит строить ее здание.

В. Ильин.

МАТЕРИАЛЫ

В. ГРОЗАНОВ

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫПУСКИ 1—9

ПО ПОВОДУ АПОКАЛИПСИСА НАШЕГО ВРЕМЕНИ В. РОЗАНОВА

Религиозная мысль и настроенность русской интеллигенции в предреволюционные десятилетия определялись скрещением двух основных влияний — Достоевского и Вл. Соловьева. Но истинными героями религиозной трагедии жизни, биографически связавшими себя с мукой о Боге, были, конечно, Толстой и Розанов.

Достоевский и Вл. Соловьев, прежде всего — явления литературные. Диалектика и философская изобретательность загораживают непосредственное ощущение их личного опыта и жизненных образов. Оба они, и гностик Соловьев, и психоаналитик Достоевский связываются с окружением, литературной общественностью и направлением их времени. Толстой и Розанов, вопреки «толстовству» и яснополянской суете одного, «нововременству» и декаденству другого — остаются сами по себе, являются прежде всего субъектами и вершителями собственных биографий. Толстого выгородила отшельническая строгость; Розанова — самозащитное юродство.

В основе огромной личности Толстого лежала аскетическая страсть, так компромиссно и не до конца им осуществленная. Сама психологическая структура его — явно аскетического типа. В отгораживании себя от людей он искал опоры для своего гуманистического пафоса и проповедничества. И если Толстой до конца своей жизни позволил себе мириться с окружающими, подменяя монастырь и аскезу семьей и деревней, то причиной этому было не одно малодушие. Наивная, но строгая вера в свое общественное призвание, повидимому, часто побеждала в Толстом его органическую тягу к личному подвигу.

Судьба Розанова была менее благоприятной. Ему всю жизнь пришлось околачиваться по редакциям и собраниям, одновременно среди жидоедов и революционеров, митрополитов и «богоискателей».

Отсюда защитная гримаса, двойничество, псевдопимы, болезненные прикидывания и возмутительные мистификации.

Для людей природно одиноких, находящихся в непрестанном «тайно-замкнутом» стоянии перед Богом, крордство оказывается естественной мимикрией. Вся вывороченность и пазойлизое, пияичное интимничание Розанова определились неленостью его биографии, которую ему, подобно Толстому, не удалось изменить. Он всю жизнь, как в ознобе, продрожал под ударами и тисками нечеловеческой руки, кривлялся и извивался в пожатии каменной десницы с того света, лишь делая испуганно вид, что живет и ощущает со всеми и подобно всем. Иго и одновременная потребность одиночества и умение пребывать в нем независимо от всего окружающего — неожиданно сближают неподвижную фигуру Толстого с суетливой фигуркой Розанова. Есть аналогия и в конечных этапах их жизни: у Толстого — смерть на пути в Оптину Пустынь; у Розанова — Сергейс Посад...

Можно ли походить на Достоевского или Соловьева, пайти людей лично схожих с ними? Конечно нет. Они и индивидуально сложны, и переменчивы, и уже очень определены профессией; Достоевский — журнальной богемой, Соловьев — ученой. Но быть в типе Толстого или Розанова — это возможно и понятно. В русской типологии — их личности определены и даже классичны. Всякий, хотя бы, средний русский человек, если только он схвачен «томлением духа», должен в той или иной мере, на какой либо ступени своего духовного развития, пройти сквозь один из двух, а может быть и через оба типа религиозного опыта. Ведь между пафосом этического моизма, так часто самозамыкающимся в тупиках рациональных прописей, и неистовством мистагогии (граничащей с нигилизмом) всегда качалась и будет качаться стихия русского богосознания. Достоевский — роздал себя своим же героям. В итоге, за всеми призрачными персонажами, проблемами и идеями его романов, его личность развоплощается и гибнет. Рядом с галлереей фигур и вымыслов Достоевского, чудовищно-гипертрофированных и диспропорциональных, — сама биография их закланателя и автора, становится неинтересной. Достоевский остается «сочинителем» даже в своих дневниках и статьях, в противо-

положность Толстому, который оголенно проступает за спиной каждого выводимого им лица. Фантомы и порождения Достоевского отняли у него право говорить от самого себя, от собственного местоимения. Но уничтожив свое я, Достоевский, в то же время, не смог до конца реализоваться в создаваемом им искусственном мире. Его герои лишь недо воплощенные призраки, бесы, маски от имени которых плетется сложная и путанная диалектическая сеть абстрактной философии. Романы Достоевского — не запечатленные куски жизни — а инсценированные психологемы. Все творчество его движимо каким то магическим потоком психоаналитической импровизации, разжигающейся по инерции и по пути расширяющейся в сложные спекулятивные построения. В этом процессе есть покоряющая властность, но конечного доверия к себе — мир Достоевского не вызывает. Возникает сомнение: а может быть весь этот кошмар неправдоподобен, в самом существенном смысле слова — *не верен*. А что, если многообразие психологических коллизий, надрывов и истончений «Подростка», «Бесов», и «Братьев Карамазовых» есть лишь чудовищно-гениальный, актерский поклеп, возводимый одним человеком на всех остальных ему *не* подобных? Пусть самые идеи Достоевского верны и общечеловечны, но разве именно *так*, в аспекте «достоевщины», живут они действительно в людях?... И если только отдался подобным сомнениям, то подлинность и достоверность психологического материала Достоевского безнадежно опорачивается, и исчезает гарантия опытной правды его «откровений».

В этом отношении Розанов противоположен Достоевскому. Он не разыгрывает мелодрам из воображения: подобно Толстому, ему чужд процесс автоматической импровизации. Он только «накрывает» и судорожно фиксирует свои наблюдения над собой, что и определяет фрагментарность его литературных приемов. Это же свойство так часто делало Толстого косноязычным и стилистически беспомощным. Ведь именно Толстой, а не Достоевский, — как принято считать — обладает трудным слоком. Достоевский — в сущности и многоречив и *красноречив*. Не этим ли определяется любовь Достоевского к разного рода законченным формам речей, исповедей и декламации...

Но зато обнаженность и подлинность Толстого и Розанова, их свидетельства о душевном дне человека пожалуй не имеют себе равных. Они являются действительными субъектами небывалых че-

ловческих исповедей, тогда как Достоевский сплошь и рядом может сам служить объектом научного медицинского рассмотрения и анализа.

Каждый человек — в целом — всегда определяется каким либо из своих возрастных этапов; характерные черты и существо каждой личности находят себе наиболее острое выражение в ту или иную пору жизни. Есть люди юношеского типа, есть зрелого и старческого. Толстой и Розанов — люди юношеского типа. Оба они в сущности так и не смогли духовно созреть и состариться, растянув на всю жизнь Sturm - und - Drangperiode своей молодости. Отсюда, при кажущейся сложности, — действительная элементарность их духовного процесса, бурная статичность вместо углубляющего развития, вызывающая запальчивость их общественных выступлений.

Развитию и созреванию Толстого мешало отсутствие духовной благодати. У Розанова был недостаток духовной сухости и четкости. Поэтому и остались они, каждый по своим немощам, лишь «около церковных стен». Но отлучая Толстого и в то же время мириась с Розановым — православная иерархия показала, несмотря на кажущуюся непоследовательность, и справедливое чутье и мудрость. Это и оправдалось — опять таки в биографии Розанова: вскоре после появления «Апокалипсиса» он умер примиренный с церковью.

Розанов — юродствовал и кощунствовал *на людях*, в гуще церковной и приходской обывательщины, топтался и задибался среди людей, которые были по отношению к церкви «своими». Он чувствовал церковную массу, тянулся к давке и духоте церквей, жался к церковным службам. Это давало ему какое то право на ересь и вольномыслие. А представить себе Толстого в церковной толпе просто невозможно. Он прежде отлучения сам отделил себя не только от православного вероучения, но и от церковной толпы и оказался в трагическом уединенном плену, у своего же собственного беспомощного аскетизма. Церковь как бы подтвердила только его одиночество и оторванность. И все же, как строгий, коренастый Толстой, так и распушенный, щуплый Розанов — являются подлинными и единственными духовными гениями предреволюционной поры.

Религиозно-философское движение 90-900 гг., возникшее на почве эпигоных обработок проблем и идей Достоевского-Соловьева, — возлагавшейся на него исторической миссии совершить не сумело. Революция оттеснила и оборвала эту традицию. Одни ее представители — онемели; другие, — и именно те, что больше других приложили руку к революции — задыхаются от злобы. Лишь Н. Бердяев, обогатившийся новым церковным и социальным опытом, сохраняя, прежнюю установку, тем не менее чутко и остро переживает надвигающуюся эпоху.

Революция разоблачила многое; и прежде всего тех, для кого, выражаясь словом пынешних формалистов, Бог был приемом, все равно литературным, или стерильно диалектическим. Среди стольких пустоцветов и несостоявшихся духоводителей, только Толстой и Розанов — своим человеческим ростом — могут действительно учительствовать в будущее. Но это будущее должно, обновлением всей культурной традиции, застраховаться и от возможности новых срывов, подобно тем, что пережили Толстой и Розанов. Эти срывы суть факты не только биографические, но и культурно исторические. Религиозным типам Толстого и Розанова постигшие их катастрофы не имманентны. В другое время их духовных данных хватило бы на большее; и страсть к правде Толстого и розановская «богосвязанность» вывели бы их к иной, высшей цели.

П. П. Сувчинский

Къ читателю

Мною съ 15-го ноября будутъ печататься двухъ недѣльные или ежемѣсячные выпуски подъ общимъ заголовкомъ: «Апокалипсисъ нашего времени». Заглавіе не требующее объясненій, въ виду событий, происходящихъ не мнимо апокалипсическій характеръ, но дѣйствительно апокалипсическій характеръ. Нѣтъ сомнѣнія, что глубокий фундаментъ всего теперь происходящаго въ томъ, что въ европейскомъ (всемъ, — и въ томъ числѣ русскомъ) человечествѣ образовались колоссальныя пустоты отъ былого христіанства; и въ эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословія, трудъ, богатства. Все потрясено, все потрясены. Все гибнуть, все гибнетъ. Но все это проваливается въ пустоту души, которая лишилась древняго содержанія.

Выпуски будутъ выходить маленькими книжками.

Складъ въ книжномъ магазинѣ М. С. Ялова, Сергіевъ Посадъ, Московск. губ.

АПОКАЛИПСИСЪ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ

1. Разсыпанное царство. 2. Какъ мы умираемъ.

Разсыпанное счастье

Филаретъ Святитель Московскій былъ послѣдній (не единственный-ли?) великій іерархъ Церкви Русской.. «Былъ крестный ходъ въ Москвѣ. И вотъ все прошло, — архіерей, митрофорные іерей, купцы, народъ: пронесли иконы, пронесли кресты, пронесли хоругви. Все кончилось, почти... И вотъ поодаль отъ послѣдняго народа шло оно. Это былъ Филаретъ».

Такъ рассказывалъ мнѣ одинъ старый человекъ. И прибавилъ, указывая отъ полу — на крошечный ростъ Филарета:

— «И я всехъ забылъ, все забылъ: и какъ вижу сейчасъ — только его одного».

Какъ и я «все забылъ» въ Московскомъ университетѣ. Но помню его глубокомысленную подпись подъ своимъ портретомъ въ актовой залѣ.

Слова, выговоры его были разительны. Совѣты мудры (императору, властямъ). И весь онъ былъ великолѣпенъ.

Единственный...

Но что-же «опрежъ того» и «потомъ»? — незамѣтное, дробн. «Мы ихъ видѣли» (отчасти). *Nota bene*. Все сколько-нибудь выдающееся были уже съ «ересью потасовкою». Незамѣтно, безмолвно, но съ ересью. Тогда — какъ Филаретъ былъ «во всемъ правъ».

Онъ даже Синодъ читалъ. Былъ «сознательный синодаль». И Николая Павловича читалъ — хотя отъ него-же былъ «уволень въ отпускъ отъ Синода и не появлялся никогда тамъ»). Тутъ — не въ церкви, но въ императорствѣ — уже совершился или совершался переломъ, надломъ. Какъ было великому Государю, и столь консервативному, не содѣлать себѣ ближнимъ совѣтникомъ величайшій и тоже консервативный умъ перваго церковнаго свѣтила за всю судьбу Русской Церкви?

Разошлись по мелочамъ. Правъ этотъ бѣсъ Гоголь.

Между тѣмъ Пушкинъ, Жуковскій, Лермонтовъ, Гоголь, Филаретъ — какое осіяніе Царства. Но Николай хотѣлъ одинъ сѣять «со своимъ другомъ Вильгельмомъ-Фридрихомъ» которымъ-то. Это былъ

*) Столкновеніе съ оберъ-прокуроромъ, генераломъ Протасовымъ. «Шпоры генерала цѣпляются за мою мыатю», выразился Филаретъ заочно. Это было донесено Государю.

плюсскій баранъ, запутавшійся въ терновникѣ, и уже приготованный къ закланію (династія).

И вотъ рушилось все, разомъ, царство и церковь. Попамять лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснѣе, чѣмъ царство. Царь выше духовенства. Онъ не ломался, не лгалъ. Но видя, что народъ и солдатчина такъ ужасно отреклись отъ него, такъ предали (ради гнусной распутинской исторіи), и тоже — дворянство (Родзянко), какъ и всегда фальшивое «представительство», и тоже — и «господа купцы», — написалъ просто, что въ сущности онъ отрекается отъ такого подлаго народа. И сталъ (въ Царскомъ) колотъ ледъ. Это разумно, прекрасно и полномочно.

«Я человекъ хотя и маленький, но у меня тоже 32 ребра» («Дѣтскій міръ»).

Но Церковь? Это-то Андрей Уфимскій? Да и всѣ. Раньше ихъ было «32 іерея» съ желаніемъ «свободной церкви» «на канонахъ поставленной». Но теперь всѣ 33333... 2...2...2...2 іерея и подъ-іерея и сверхъ-іерея подскочили подъ-соціалиста, подъ-жида и не подъ-жида*); и стали вопіять, глаголатъ и сочинять, что «церковь Христова и всегда была въ сущности социалистической», и что особенно она ужъ никогда не была монархической, а вотъ только Петръ Великій «принудилъ насъ лгать».

Русь слиняла въ два дня. Самое большее — въ три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть такъ скоро, какъ закрылась Русь. Поразительно, что она разомъ рассыпалась вся, до подробностей, до частныхъ. И, собственно, подобнаго потрясенія никогда не бывало, не исключая «Великаго переселенія народовъ». Тамъ была — эпоха, «два или три вѣка». Здѣсь — три дня, кажется, даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что-же осталось-то? Страннымъ образомъ — буквально ничего.

Остался подлый народъ, изъ коихъ вотъ одинъ, старикъ лѣтъ 60-ти, «и такой серьезный», Новгородской губерніи, выразился: «изъ бывшаго паря надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т. е. не сразу сорвать кожу, какъ индійцы скальпель, но надо по-русски вырѣзывать изъ его кожи ленточка за ленточкой.

И что ему царь сдѣлалъ, этому «серьезному мужичку»**).

Вотъ и Достоевскій...

*) Пишу безъ порицанія и ироніи, а лишь въ томъ отгнѣненіи, что для духовенства и въ его словооборотахъ они всегда были въ уничижительно-презрѣнномъ смыслѣ «жидами». Но дѣло поворачивается къ Апокалипсису, съ его «пѣснью Моисея, раба Божія», и объ нихъ еще долгіе сказки, — какъ оказывается, — болѣе долгіе, чѣмъ о нашей несчастной Руси.

**) Рассказъ мнѣ въ мѣстечкѣ Суда (станція Николаевской ж. - д.) Новгородской губ., г-жи Непениной, жены управляющаго хозяйственною частью «Нов. Времени».

Вотъ тебѣ и Толстой, и Алпатычъ, и «Война и Миръ».

Что — въ сущности произошло? Мы все падали. Мы падали подъ солнцемъ и на землѣ не думая, что солнце видятъ и земля слушаетъ. Серьезнѣе никто не былъ, я, въ сущности, цари были серьезнѣе всѣхъ, такъ-какъ даже Павелъ, при его способностяхъ, еще «трудился» и былъ рыцарь. И, какъ это нерѣдко случается, — «жертвою палъ невинный». Вѣчная исторія и все сводится къ Израилю и его тайнамъ. Но оставимъ Израиль, сегодня дѣло до Руси. Мы въ сущности играли въ литературѣ. «Такъ хорошо написалъ». И все дѣло было въ томъ, что «хорошо написалъ», а что «написалъ» — до этого никому дѣла не было. По *содержанію* литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость безстыдства и наглости, — какъ ни единая литература. Въ большомъ Царствѣ, съ большою силою, при народѣ трудолюбивомъ,мышленномъ, покорномъ, — что она сдѣлала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этотъ народъ хотя научили гвоздь выковыривать, серпъ исполнить, косу для косебы сдѣлать («вывозимъ косы изъ Австріи», — географія). Народъ росъ совершенно первобытно съ Петра Великаго, а литература занималась только, «какъ они любили» и «о чемъ разговаривали». И всѣ «разговаривали» и только «разговаривали», и только «любили» и еще «любили».

Никто не занялся тѣмъ (и я не читалъ въ журналахъ ни одной статьи, — и въ газетахъ тоже ни одной статьи), что въ Россіи нѣтъ ни одного аптекарскаго магазина, т. е. сдѣланнаго и торгуемаго русскими человекомъ, — что мы не умѣемъ изъ морскихъ травъ извлекать іоду, а горчишники у насъ «французскіе», потому что русскіе все-человѣки не умѣютъ даже намазать горчицы разведенной на бумагу съ закрѣпленіемъ ея «крѣпости», «духа». Что же мы умѣемъ? А вотъ, видите ли, мы умѣемъ «любить» какъ Вронскій Анну и Литвиновъ Ирину и Лежневъ Лизу и Обломовъ Ольгу. Боже, по любить нужно въ семьѣ; но въ семьѣ мы кажется не особенно любили, и, пожалуй, тутъ тоже вмѣшался чертовъ бракоразводный процессъ («люби по долгу, а не по любви»). И вотъ церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, это кстати и «по закону»...

Какъ мы умираемъ?

Ну, что-же: пришла смерть и значитъ пришло время смерти.

Смерть, могила для 1/6 части земной суши. «Простое этнографическое существованіе для бывшаго Русскаго Царства и имперіи», о которомъ уже поговариваютъ, читаютъ лекціи, о которомъ могутъ думать, съ которымъ въ сущности мирятся. Какіе-то «полабскіе славяне», въ которыхъ преобразуется *бывшая* Русь.

«Бывшая Русь»... Какъ это выговорить? А уже выговаривается. Печаль не въ смерти. «Человѣкъ умираетъ не когда онъ со-

зрѣлъ, а когда онъ доснѣлъ». Т. е. когда жизненные соки его пришли къ состоянію, при которомъ смерть становится необходима и неизбежна.

Если нѣтъ смерти человѣка «безъ воли Божіей», то какъ мы могли-бы допустить, могли-бы подумать, что можетъ настать смерть народная, царственная «безъ воли Божіей»? И въ этомъ весь вопросъ. Значитъ, Богъ не захотѣлъ болѣе быть Руси. Онъ гонитъ ея изъ подъ солнца. «Уйдите, ненужные люди».

Почему мы «ненужные»?

Да ужъ давно мы писали въ «золотой своей литературѣ» «Дневникъ *лишнего* человѣка», «Записки *ненужнаго* человѣка» Тоже — «*справднаго*» человѣка». Вы думали «*подполья*» всякія... Мы какъ-то прятались отъ свѣта солнечнаго, точно стыдись за себя.

Человѣкъ, который стыдится себя? — развѣ отъ него не стыдится солнце? Солнышко и человѣкъ — въ связи.

Значитъ, мы «не нужны» въ подсолнечной и уходимъ въ какую-то ночь. Ночь. Небытіе. Могила.

Мы умираемъ какъ фанфароны, какъ актеры. «Ни креста, ни молитвы». Ужъ если при смерти чьей нѣтъ креста и молитвы — то это у русскихъ. И страшно. Всю жизнь крестился, богомолникъ: вдругъ смерть — и мы сбросили крестъ. «Просто, какъ православнымъ человѣкомъ русскій никогда не живалъ». Переходъ въ социализмъ и значитъ въ полный атеизмъ совершился у мужиковъ у солдатъ до того легко, точно «въ баню сходили и окатились новою водой». Это — совершенно точно, это дѣйствительность, а не дикій кошмаръ.

Собственно, отчего мы умираемъ? Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, — какъ выразить въ одномъ словѣ, собрать въ одну точку? Мы умираемъ отъ единственной и основательной причины: *неуваженія* себя. Мы собственно самоубиваемся. Не столько «солнышко насъ гонитъ», сколько мы сами гонимъ себя. «Уйди ты, чертъ».

Нигилизмъ... Это и есть нигилизмъ, — имя, которымъ давнѣе окрестилъ себя русскій человѣкъ, или, вѣрнѣе — имя, въ которое онъ раскрестился.

— Ты кто? блуждающій въ подсолнечной?

— Я нигилистъ.

— Я только *думалъ* видѣть, что молится.

— Я только дѣлалъ видъ, что *живу въ царствѣ*.

— На самомъ дѣлѣ — я самъ себя свой человѣкъ.

— Я рабочій зрубочнаго завода, а до *остального* мнѣ дѣла нѣтъ.

— Мнѣ-бы поменьше работать.

— Мнѣ-бы побольше гулять.

— А мнѣ-бы не воевать.

И солдатъ бросаетъ ружье. Рабочій уходитъ отъ станка.

— Земля — она должна сама родить.

И уходитъ отъ земли:

— Известно, земля Божія. Она всѣмъ поровну.

Да, но не Божій ты человѣкъ. И земля, на которую ты надѣешься, ничего тебѣ не дастъ. И за то, что она не дастъ тебѣ, ты оближешь ее кровью.

Земля есть Каинова и земля есть Авелева. И твоя, русскій, земля Каинова. Ты проклялъ свою землю и земля прокляла тебя. Вотъ нигилизмъ и его формула.

И солнышко не свѣтитъ на чернаго человѣка. Черный человѣкъ ему не нуженъ.

Замѣчательно, что мы уходимъ въ землю упоенные. Мы начинали войну самоупоенные: помните, этотъ августъ мѣсяцъ, и встрѣчу Царя съ народомъ, гдѣ было все притворно? И побѣды, — гдѣ самая замѣчательная была побѣда казака Крючкова, по обыкновенію отрубившаго семь головъ у нѣмцевъ. И это Меньшиковское храброе — «Должны побѣдить». И Долиной — побѣдные концерты, въ пиркѣ Чинизелли и потомъ въ Царскомъ. Да почему «должны побѣдить»? Побѣда создается не на войнѣ, а въ мирное время. А мы въ мирное время ничего не дѣлали, и ужъ если что мы знали хорошо, то это — то, что ровно ничего не дѣлаемъ. Но дальше — еще лучше. Ужъ если чѣмъ мы утѣшились восторженно, то это — революціей. «Полное исполненіе желаній». Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ мы не сыты. «Ужъ самъ жаждающій когда утолился, и голодный — насытился, то это въ революціи». И вотъ еще не износить революціонеръ первыхъ салоговъ — какъ трупомъ валится въ могилу. Не актеръ-ли? Не фанфаронъ-ли? И гдѣ-же наши молитвы? и гдѣ-же наши кресты? «Ни одинъ погъ не отпѣлъ-бы такого покойника».

Это кодуитъ, оборотень, а не живой. Въ немъ живой души нѣтъ и не было.

— Нигилистъ.

О нигилистахъ панихиды не правятъ. Ограничиваются: «яко его къ черту».

Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть.

1/6 часть суши. Упоенная революція, какъ упоенна была в война. «Мы побѣдимъ». О, поспремѣнно. Такъ не есть-ли это страшный фактъ, что 1/6 часть суши какъ-то все произрастала изъ себя «волчцы и тернии», пока солнышко не сказало: «мнѣ не надо тебя». «Мнѣ надо свѣтитъ на пустую землю».

Нигилизмъ. — «Что-же растеть изъ тебя?»

— Ничего.

Надъ «ничего» и толковать не о чемъ.

— Мы не уважали себя. Суть Руси, что она не уважаетъ себя.

Это понятно. Можно уважать трудъ и потъ, а мы не потѣли и не трудились. И то, что мы не трудились и не потѣли, и есть источникъ, что земля сбросила насъ съ себя, планета сбросила.

По заслугамъ-ли?

Слишкомъ.

Какъ 1.000 лѣтъ существовать, прожить княжества, прожить царство, имперію, со всѣми придти въ связь, надѣть плюмажи, шляпу, сдѣлать богомольный видъ: выругаться, сояственно — выругать самого себя «нигилистомъ» (потому-что по нормальному это вѣдь есть ругательство) и умереть.

Россія похожа на ложнаго генерала, надъ которымъ какой-то ложный попъ поетъ панихиду. «На самомъ-же дѣлѣ это былъ бѣглый актеръ изъ провинціального театра».

Самое разительное и показующее все дѣло, всю суть его, самую сутенку — заключается въ томъ, что «ничего въ сущности не произошло». «Но все — разсыпалось». Что такое совершилось для паденія Царства? Буквально, — оно пало въ будень. Пала какая-то «среда», ничѣмъ не отличаясь отъ другихъ. Ни — воскресенья, ни — субботы, ни хотя-бы мусульманской пятницы. Буквально, Богъ поклонулъ и задулъ свѣчу. Не хватало провизіи и около лавочекъ образовались хвосты. Да была оппозиція. Да царь скапризничалъ. Но когда же на Руси «хватало» чего-нибудь безъ труда еврея и безъ труда нѣмца? когда-же у насъ не было оппозиціи? и когда царь не капризничалъ. О, тоскливая пятница или понедѣльникъ, вторникъ...

Можно-же умереть такъ тоскливо, тошно, скверно. — «Актеръ, ты-бы хоть жестъ какой сдѣлалъ. Вѣдь ты всегда, былъ «съ готовностью на Гамлета». «Помнишь свои фразы? А то даже Леонидъ Андреевъ ничего не выплюнулъ. Полная проза».

Да, ужъ если что «скучное дѣло», то это — «паденіе Руси».

Задую свѣчку. Да это и не Богъ, а... пала пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. «Ты намъ трагедія не играй, а подавай водевиль».

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ

1. *Мое предвидѣніе.* 2. *Послѣднія времена.*

Мое предвидѣніе

Я прочелъ въ «Новомъ Времени», въ передовой статьѣ, что «съ Германіею Россія можетъ заключить миръ *хоть сейчасъ*, если уступить ей Курляндію и Лифляндію съ Ригею, и еще нѣкоторыя части отечественной территоріи. Думаю, что это изъ тѣхъ опасныхъ иллюзій, за которыя мы вообще уже столько заплатились. Не будемъ даже вспоминать слова Бисмарка, что «побѣжденному побѣдитель оставляетъ только глаза, чтобы было чѣмъ плакать». Это совсѣмъ не нужно, т. е. припоминаній о Бисмаркѣ. Но нельзя представить себѣ, чтобы Германія, потерявъ, во всякомъ случаѣ, нѣсколько милліоновъ не населенія вообще, а той отборной части населенія, которую образуетъ армія, удовлетворилась крошечною территоріею съ такимъ-же числомъ только населенія. Нельзя вообще представить себѣ, чтобы Германія подъяла войну такой страшной опасности и риска, такой невѣроятной тяжести, ради разсчета на такое смѣхотворное приобрѣтеніе. Несомнѣнно, она только успокаиваетъ насъ иллюзіей мира; и почти это входитъ въ составъ ея жестокости. Какъ это нужно и для поблагованія и духовнаго обмана глупыхъ россійскихъ социалистовъ. Какъ послѣдній аргументъ своей мысли, я беру то, что для Германіи, — оставъ она цѣлою Россію и, такъ сказать, способною къ выздоровленію, — она, конечно, еще никогда не увидитъ ее столь беззащитной, съ арміею, которая просто кидаетъ оружіе и уходитъ домой. И воображать, что Германія не разработаетъ этотъ исключительный, этотъ невѣроятный случай, никогда ей и не мечтавшійся, со всѣмъ богатствомъ возможностей, со всѣмъ обиліемъ плода, — это просто показываетъ, что мы совершенные дѣти въ политикѣ.

Я имѣю самыя печальныя предчувствія. Я думаю, она разработаетъ дѣло въ смыслѣ уже былаго факта, такого же: именно — какъ было нѣкогда *завоеваніе Англіи норманнами*. И Вильгельмъ не мечтая нисколько о незаманчивой роли Наполеона, съ заключеніемъ на о-вѣ св. Елены, манится гораздо болѣе удачнымъ жребіемъ второго Вильгельма Завоевателя. Конечно, — послѣ Петрограда онъ двинется на Москву, на Волгу, и завоюетъ *именно Великороссію*, какъ центръ «Всей Руси», послѣ чего захватитъ и Малороссію съ Новороссіей, — причѣмъ ему и

вознаградить союзника будетъ изъ чего. Мы вообще стоимъ передъ фактомъ завоеванія Россіи, покоренія Россіи, — къ чему *препятствийъ нѣтъ*. А такое отсутствіе препятствій къ покоренію Россіи конечно никогда на произшествіи всей германской исторіи не повторится. И это не трудно предвидѣть, предсказать; и это въ Берлинѣ предвидѣется также хорошо, какъ — если бы были позорче люди въ Петроградѣ — можно было бы предвидѣть и въ Петроградѣ.

Защита Англіи и Франціи? Это такъ далеко. Не десантъ-же имъ дѣлать. Да и Германія теперь десанта уже не пропуститъ. Это вполне въ ея власти, при владѣніи проливами около Эзеля и Даго. Да, освободивъ часть арміи изъ Россіи, она представитъ такую угрозу и самой Франціи и Англіи, съ какою имъ справиться будетъ чрезвычайно трудно. А, во всякомъ случаѣ, черезъ самое небольшое число лѣтъ, обогатившись всѣми средствами Россіи, и, между прочимъ, пользуясь и ея людскими матерьяломъ (вотъ у нѣмцевъ русскіе солдаты и бывшие социалисты пойдутъ въ сраженія!), Германія несомнѣнно расправится и съ Франціею, и съ Англіею, и съ Италіею. И моя почти шутливая игра воображенія «Итальянскихъ впечатлѣній»: — «Возможный гегемонъ Европы» (отдѣльная глава) — осуществится. Уже тогда было что-то такое въ Берлинѣ, что-то носилось въ самомъ воздухѣ, почему чувствовалось это. Да и пѣсенка: «Deutschland, Deutschland — über alles», можетъ быть была не столько реально-глупою, сколько вытѣренно-пророческою, сколько жаднымъ аппетитомъ. Германскій волкъ зовъ и толстъ. И нашей бѣдной Россіи, стоящей передъ нимъ такимъ пушистымъ огнемкомъ, онъ не пощадитъ. А огнемокъ совершенно беззащитенъ.

Хороши-же социалисты и вообще всероссійская демократія: скормить, все отечество скормить, лютойшему врагу. Скормить не въ переносномъ смыслѣ, а въ буквальномъ. Но нельзя не сказать: хороши и «лучшіе люди Россіи», начинавшие революцію въ такую роковую войну, и, какъ оказалось потомъ, ничего рѣшительно не предвидѣвшіе. Ленинъ и социалисты оттого и мужественны, что знаютъ, что ихъ некому будетъ судить, что судьи будутъ отсутствовать, такъ-какъ они будутъ съѣдены. (Октябрь).

Послѣднія времена

Не довольно-ли писать о нашей вонючей Революціи, — и о прогнившемъ насквозь Царствѣ, — которыя во-истину стоятъ другъ друга. И — вернуться къ временамъ стройнымъ, къ временамъ отвѣтственнымъ, къ временамъ страшнымъ...

Вотъ — Апокалипсисъ... Тайнственная книга, отъ которой обжигается языкъ, когда читаешь ее, не умѣетъ сердце дышать... умираетъ весь составъ человѣческій, умираетъ и вновь воскресаетъ... Онъ открывается съ первыхъ же строкъ *судомъ надъ церквами*

Христовыми, — тѣми, которыя были въ Малой Азіи, въ Лаодикии, въ Смирнѣ, въ Біатирѣ, въ Пергамѣ и другихъ городахъ. Но, очевидно, не Лаодикия, не Пергамъ, и проч., лежащіе нынѣ въ руинахъ, на самомъ дѣлѣ имѣютъ значеніе для «послѣднихъ временъ», какіе имѣетъ въ виду писатель странной книги. Но онъ разсмотрѣлъ посаженное Христомъ дерево, и уловилъ съ неизъяснимою для себя и для времени глубиною, что оно — не Дерево жизни; и предрекъ его судьбу въ то самое время, въ которое церкви только-что зарождались.

Никакого нѣтъ сомнѣнія, что Апокалипсисъ — не христіанская книга, а — противо-христіанская. Что «Христосъ» упоминаемый — хотя немного — въ немъ, «съ мечомъ, исходящимъ изъ устъ его», и съ ногами «какъ изъ камня сардиса и халкедона», — ничего-же не имѣетъ общаго съ повѣствуемымъ въ Евангеліяхъ Христомъ. Въ устроеніи Неба — ничего-же общаго съ какими-бы то ни было представленіями христіанскими. Вообще — «все новое»... Тайнозритель Самъ, волею своею и вспомошествоющею ему Божіею волею, — срываетъ звѣзды, уничтожаетъ землю, все наполняетъ развалинами, все разрушаетъ: разрушаетъ — христіанство, страннымъ образомъ «плачущее и вонющее», безсильное и никѣмъ не вспомошествоемое. И — сотворяетъ новое, какъ *утишенье*, какъ «утертыя слезы» и «облеченіе въ бѣлыя одежды». Сотворяетъ радость жизни, на землѣ — *именно на землѣ*, — превосходящую какую-бы то ни было радость, изжитую въ исторіи и испытанную человечествомъ.

Если-же окинуть всю вообще компановку Апокалипсиса, и спросить себя: — «да въ чемъ-же дѣло, какая тайна суда надъ церквами, откуда *гнѣвъ, ярость*, прямо ревъ Апокалипсиса» (ибо это книга ревущая и стонущая), то мы какъ разъ уткнемся въ наши времена: да — въ *безземли* христіанства устроить жизнь человѣческую, — дать «земную жизнь», именно — земную, тяжелую, скорбную. Что и выразилось въ нашей минутѣ, — именно къ нашей, генеральной... въ которую «Христосъ не провозитъ хлѣба, а — желѣзныя дороги» выразимся уже мы цинично и грубо. Христіанство вдругъ все позабыли, въ одинъ моментъ, — мужики, солдаты, — потому-что оно не *всемооществоуетъ*; что оно не предупредило ни войны, ни безхлѣбныя. И только все поетъ, и только все поетъ. Какъ пѣвчиха. «Слушали мы васъ, слушали. И перестали слушать».

Ужасъ, о которомъ еще не догадываются, больше, чѣмъ онъ есть: что не грудь человѣческая сгноила христіанство, а что христіанство сгноило грудь человѣческую. Вотъ ревъ Апокалипсиса. Безъ этого не было-бы «земли новой» и «неба новаго». Безъ этого не было-бы вообще Апокалипсиса.

Апокалипсисъ требуетъ, зоветъ и велитъ новую религію. Вотъ его суть. Но что-же такое, что случилось?

Ужасно апокалипсично («сокровенно»), ужасно странно: что

люди, народы, человечество — переживают апокалипсический кризис. Но что само христианство кризиса не переживает. Это до того очевидно, до того читается в самом Апокалипсисе, вот «в самых этих его строках», что поразительно, каким образом ни единый из читателей и бесчисленных толкователей, этого совершенно не замечал. Народы «поют новую пѣснь», утѣшаются, облачаются в бѣлую одежду и ходят «къ древу жизни», на «источники воды». Куда ни палы, ни прежние священники вовсе на кого не водили.

Блудницы вопиют. Первосвященники плачут. Цари стонут. Народы извиваются в муках: но — *остаток от народа спасается* и получает величайшее утѣшеніе, в котором, однако, ни одной черты христианскаго, — христианскаго и церковнаго, — уже не сохраняется.

Но что-же, что-же это такое? почему Тайнозритель так очевидно и неоспоримо говорит, что *человѣчество переживет* «свое христианство» и *будет еще долго после него жить*: судя по изображенію, ничѣм не оканчивающемуся, — бесконечно долго, «вѣчно».

Проведемъ параллели:

Евангеліе — рисуетъ

Апокалипсисъ — ворочаетъ массами, глыбами творить.

Въ образахъ, которые силою превосходятъ евангельскія картины, а красотою не уступаютъ имъ, и которые пронзительны, кричатъ и вопиютъ къ небу и землѣ, онъ говоритъ, что еще не перешедшія за городки Малой Азии церкви, — первые общины христианскія, — распространяются во всей Вселенной, по всему міру, по всей землѣ. И въ моментъ, когда настанетъ полное и казалось-бы окончателное торжество христианства, когда «Евангеліе будетъ проповѣдано всей твари», — оно падетъ сразу и все, со своими царствами, «съ царями помогавшими ему», и — «восплачутъ его первосвященники». И что среди полного крушенія настанетъ совершенно «все новое», при «падающихъ звѣздахъ» и «небѣ, свившемся какъ свитокъ». «Перестанетъ небо», «перестанетъ земля», и станетъ «все новое», ни на что прежнее *не похожее*. Сказать это за 2.000 лѣтъ, предречь съ нѣкоторыми до буквальнойности теперь сбывающимися исполненіями, перенесая черезъ всю христианскую исторію, какъ-бы пронзая «рогомъ» такую толпу временъ и необъятность событій, — это до того странно, невѣроятно, что никакое изъ рѣченій человѣческихъ по-истинѣ не идетъ въ сравненіе. Апокалипсисъ — это событіе. Апокалипсисъ — это не слово. Что-то похоже на то, что Вселенная изрыгнула его сейчасъ послѣ того, какъ другой Учитель тоже Вселенной проговаривалъ свои вѣщія и грозныя слова, тоже въ первый разъ произнесъ «судъ міру сему».

И вотъ — два суда: изъ Иерусалима о самомъ этомъ Иерусалимѣ, главнымъ образомъ — объ Иерусалимѣ; и съ острова Патмоса — надъ Вселенною, которую научилъ тотъ Учитель.

Нѣтъ-ли разницы въ самой компановкѣ словъ? И, хоть это очень странно спрашивать о такихъ событіяхъ-словахъ: нѣтъ-ли чего *показующаго для души въ стилѣ литературнаго изложенія*? Евангеліе — человѣческая исторія, намъ разсказанная; исторія Бога и чловѣка; «богочеловѣческий процессъ» и «союзъ».

Апокалипсисъ какъ-бы кидаетъ этотъ «богочеловѣческий союзъ» — какъ негодное, — какъ изношенную вещь.

Но фундаментъ? фундаментъ? Но — почему? почему?

Въ образахъ до такой степени чрезыѣрныхъ, что даже Книга Іова кажется около него безсиліемъ и изнеможеніемъ, что даже «сотвореніе міра и чловѣка» въ Книгѣ Бытія — тоже тускло и слабо, блѣдно и безкровно, онъ именно *въ структурѣ могущества и показываетъ суть свою*. Онъ какъ-бы реветъ «въ концѣ времени», для «конца времени», для «послѣдняго срока чловѣчества»:

Безсиліе.

Конецъ міра и чловѣчества будетъ таковъ, потому-что Евангеліе есть книга изнеможеній.

Потому-что есть:

мочь

и — не мочь.

И что Христосъ пострадалъ и умеръ за

не мочь... хотя-бы и былъ въ полной и абсолютной истинѣ.

Христианство — неистинно; но оно — не мочно.

И образъ Христа, начертанный въ Евангеліяхъ, — вотъ именно такъ, какъ тамъ сказано, со всею подробностью, съ чудесами и прочее, съ явленіями и т. под., не являетъ ничего однако, кромѣ *немощи, изнеможенія*...

Апокалипсисъ какъ-бы спрашиваетъ: да, Христосъ могъ описывать «красоту полевыхъ лилій», призвать слушать себя «Марію, сестру Лазаря»; но Христосъ не посадилъ дерева, не выростилъ изъ себя травки; и вообще онъ «безъ зерна міра», безъ — *ядеръ*, безъ — *икры*; не травлялъ, не животелъ; въ сущности — не бытіе, а — почти призракъ и тѣнь; какимъ-то чудомъ пронесшаяся по землѣ. Тѣнистость, тѣниность, пустынность Его, небытіе-существо — сущность Его. Какъ будто это — только Имя, «разсказъ». И что «послѣднія времена» потому и покажутся такъ страшны, покажутся до того невѣроятно-ужасны, такъ вопиюще «голодны», а сами люди превратятся въ какихъ-то «скорпіоновъ, жалающихъ самихъ себя и одинъ другого», что вообще-то — «ничего не было», и сами люди — точно съ отошавшими отвислыми животами, и у которыхъ можно ребра сосчитать, — обратились таинственнымъ образомъ въ «тѣней чловѣка», въ «призраки чловѣка», до извѣстной степени — въ чловѣка «лишь по имени».

О, о, о...

Вотъ, вотъ, вотъ...

Не узнаемъ-ли мы себя здѣсь? И какъ тогда не реветъ Апока-

липису, и не наполнять Престоль Небесный — животными, почти — животами, брюхами — все самых мощных животных, тоже — ревущих, кричащих, вопиющих — льва, быка, орла, дьвы. Все — полеть, все — сила. Почему-бы не колибри и не «лили» полемия? Маленькая птичка — хороша как и большая, а «лилия» не хуже бабаба. И вдруг Апокалипсис оретъ:

— Больше мяса...

— Больше вопля...

— Больше рева...

— Миръ отоцать, онъ боленъ... Тайственная Тѣнь навела на миръ хворь...

— Миръ — умолкаетъ...

— Миръ — безжизнень...

— Скорѣе, скорѣе, пока еще не поздно... Пока еще послѣднія минуты длятся. «Повероть всего назадъ», «новое небо», «новые звѣзды»...

Обиліе «водъ жизни», «Древо жизни»...

Солнце загорѣлось раньше христіанства. И солнце не потухнетъ если христіанство и кончится. Вотъ — ограниченіе христіанства, противъ котораго ни «обѣдья», ни «панхиды» не помогутъ. И еще обѣдьяхъ: ихъ много служили, но человѣку не стало легче.

Христіанство не космологично, «на немъ трава не растетъ». И скотъ отъ него не множится, не плодится. А безъ скота и травы человѣкъ не проживетъ. Значить «при всей красотѣ христіанства» — человѣкъ все-таки «съ нимъ однимъ не проживетъ». Хорошо монастырскъ, «въ немъ полное христіанство»; а все-таки *питається онъ около сосѣдней деревеньки*. И «безъ деревеньки» всѣ монахи перемерли-бы съ голоду. Это надо принять во вниманіе, и обратить вниманіе на ту вопль «апокалипсическую мысль», что *само въ себя и одно* — христіанство проваливается, «не есть», гнило, голодаетъ, жаждетъ. Что «питається» оно — *не христіанствомъ*, не христіанскими знаками, не христіанскими произрастаніями. Что, такимъ образомъ, — христіанство само и одно, чистое и самое восторженное, зоветъ, требуетъ, алчетъ — «и *не христіанства*».

Это — поразительно, но такъ. Хороша была бѣда Спасителя къ пяти тысячамъ народа. Но пришелъ вечеръ и народъ возжаждалъ: — «Учитель, *хлѣба*!»

Христосъ далъ хлѣба. Одно изъ величайшихъ чудесъ. Не сомнѣваемся въ немъ. О, сколько, ни мало, ни юточки. Но скажемъ: каково-же солнце, которое неизрѣченными тьмамъ народа даетъ хлѣбъ, — даетъ какъ «по службѣ», по «должностя», почти «по пепсѣв». Даетъ и *можетъ* дать. Даетъ и значитъ *хочетъ* дать?

У солнца — воды и... *хотѣніе*?

Но... тогда «вааль-солнце»? вааль-солнце — финикіанъ?

И тогда «поклонимся Ему»? Ему и его великой — *моши*?

— Это-то уже несомнѣнно. Ему и его великому, *благородному* *человѣколюбивому* хотѣнію?...??? Это-же невѣроятно. Но что «солнце больше можетъ, чѣмъ Христосъ» — это сама пала не оспорить. А что солнце больше Христа жезаетъ счастья человѣчеству — объ этомъ еще сомнѣвается, но уже ничего не можетъ возразить Владиміръ Соловьевъ, изучавшій весь «бого-человѣчскій процессъ» и строившій «ветхозавѣтную теургію» и «ветхо-завѣтное домостроительство» (или «теократію»).

Мы же беремъ прямо Финикію:

«Ты — ходилъ въ Саду Божіемъ... Сіялъ среди игристыхъ огней... «Ты былъ первенецъ Мой, первенецъ отъ созданія міра», — говоритъ Іезекіиль или Исаія, — кто-то изъ ветхо-завѣтныхъ, — говорить городу, въ которомъ поклапались Ваалу и ни мало ни Іеговъ.

Ну, кто-же не видитъ изъ моихъ тусклыхъ словъ, что «бого-человѣчскій процессъ воплощенія Христова» потрясается. Онъ потрясается въ буряхъ, онъ потрясается въ молніяхъ... Онъ потрясается въ «голодовкахъ человѣчества», которыя настали, настаютъ нынѣ... Въ вопіаніяхъ народныхъ. «Мы вопіали Христу и Онъ не помогъ». «Онъ — немогъ». «Помолимся Солнцу: оно больше можетъ. Оно кормитъ не 5.000, а тьмы тьмъ народа. Мы только не взирали на Него. Мы только не догадывались.

— «Христосъ — мяса!».

— «На ребра, въ брюхо, дѣтямъ нашимъ и намъ!».

Христосъ молчитъ. Не правда-ли? Такъ не Тѣнь-ли онъ? Тайственная Тѣнь, наведшая отоцаніе на всю землю.

ВЫПУСКЪ ТРЕТІЙ

1. Кроткая. 2. Что-то таксе случилось. 3. Зачѣмъ они звонятъ? 4. Дѣдъ. 5. «Москва слезамъ не върится». 6. Объ одномъ народѣ. 7. Ежедневность. 8. Солнце.

К р о т к а я

Ты не прошла мимо міра, дѣвушка... о, кротчайшая изъ кроткихъ... Ты испуганнымъ и искривленнымъ глазкомъ смотрѣла на него. Задумчиво смотрѣла... Любяще смотрѣла... И запѣвала пѣсню... И заплетала въ косу ленту...

И сердце стучало. И ты томилась и ждала.

И шли въ мірѣ богатые и знатные. И говорили рѣчи. Учили и учились. И все было такъ красиво. И ты смотрѣла на эту красоту. Ты не была завистлива. И тебѣ хотѣлось подойти и пригласить къ чему-нибудь.

Твое сердце ко всему приставало. И ты хотѣла-бы пѣть въ хорѣ.

Но никто тебя не замѣтилъ и пѣсню твою не взяли. И вотъ ты стоишь у колонны.

Не пойду и я съ міромъ. Не хочу. Я лучше останусь съ тобой. Вотъ я возьму твои руки, и буду стоять.

И когда міръ кончится, я все буду стоять съ тобою и никогда не уйду.

Знаешь-ли ты, дѣвушка, что это — «міръ проходить», а — не «мы проходимъ». И міръ пройдетъ и пройдетъ уже. А мы съ тобой будемъ вѣчно стоять.

Потому-что справедливость съ нами. А міръ во-истину не-

Что-то такое случилось

Есть въ мірѣ какое-то недоразумѣніе, которое можетъ быть неясно и самому Богу. Въ сотвореніи его «что-то такое произошло», что было неожиданно и для Бога. И отсюда собственно иррационализмъ, мистика (дурная часть мистики) и неясность. Міръ гармониченъ, и это — «конечно». Мудрѣ, благѣ и красотѣ, и это — Божіе. Но «хищники питаются травоядными» — и это ужъ не Божіе. Сова пожираетъ зайчика — тутъ нѣтъ Бога. Бога, гармоніи и добра.

Что такое произошло — этого отъ начала міра никто не знаетъ, и этого не знаетъ и не понимаетъ Самъ Богъ. Борются или побѣдить — это тоже безуменъ Самъ Богъ. Такъ «я хочу родить мальчика красиваго и мудраго», а рождается «о 6-ти пальцахъ», съ при-

дурью и непредвидѣнными пороками». Такъ и планета наша. Какъ будто она испугана была чѣмъ-то в беременноти своей, и родила «не по мысли Божіей», а «нѣсколько иначе». И вотъ «божественное» смѣшалось съ «иначе»...

И передъ этимъ «иначе» покоренъ и Богъ. Какъ тоскующій отецъ, который смотритъ на малютку съ «иначе», и хочетъ поправить и не можетъ поправить. И любить «уже все вмѣстѣ»...

Зачѣмъ они звонятъ?

Бомъ. Бомъ. Бомъ. Но уже звукъ пустой.

И отъ того, что подъ колоколомъ пѣтъ вѣнчанія невѣсты и жениха. Тотъ, другой — не помогъ. А этотъ, который все-таки помогъ по мелочамъ, — немного, но помогъ, — немного, но старался, по земному и глупо, но все-таки старался — усядься далече.

И не вздохнула невѣста по жениху. И я увидѣлъ, что она горбатая.

Эхъ, не горбать вотъ жидъ; написалъ въ мартѣ:

«... Напишите, какъ вы умѣете писать, — правдиво и страстно, — мнѣ о «мартовскихъ» дняхъ. Тутъ зима, — и лютая, — весны еще нѣтъ. Весь этотъ гулъ и шумъ противенъ моей душѣ. Въ санаторіи уже умерло 4 воина. Смерть сильнѣе всего на этой планетѣ. Есть-ли дупа? Есть-ли загробная жизнь? Вотъ это важнѣе всѣхъ революцій! Жаль царя Николая. Догадываюсь, что онъ былъ человѣкъ мягкаго характера и безвольный очень. Все, все — пройдетъ, но что будетъ «тамъ»? Вамъ 61 годъ, вы много думали, страдали, — скажите мнѣ вы, дорогой душевный другъ. Лейзеръ Шапманъ.

Санаторіи «Дергачи», Харьковской губерніи и уѣзда. Всероссийскаго Земскаго Союза. № 11 (туберкулезный). (Лично мнѣ не знакомъ).

Д ѣ д ѣ

Когда не хочется больше любить, не ждется одежда, и кушаешь кашку-размазю съ кой-какимъ масломъ, — то и называетъ себя естественно «христианиномъ».

Лысый, съ бѣлой бородою,

Дѣдушка сидитъ.

Чашка съ хлѣбомъ и водою

Передъ нимъ стоитъ.

— Кто ты, дѣдушка?

— Християнинъ... крестьянинъ...

Или, какъ Достоевскій и софистически и вѣрно перефразировать:

— «Христіанинъ».

Боже: къ чему догматики, историки, апологеты нагородили столько ерунды, когда дѣло выражается въ одномъ великомъ:

не надо.

«Москва слезамъ не вѣрить»

— и дѣлаетъ очень глупо. Отъ того она бѣдна. Нужно именно *отричь*, и — не слезамъ, а — вообще, всегда, до тѣхъ поръ, пока получилъ обманъ: финикіяне въ незапамятную древность, въ началѣ исторіи, приучились вѣрить, и образовали простую бумажку, знакъ особый, который писали, дѣлали, и т. д. Онъ былъ условенъ: и кто давалъ его — получалъ «довѣріе», и это называлось — *кредитомъ*. Заведшіе это, «довѣрчивые» люди, но опредѣленно доверчивые, и вмѣстѣ — не по болтовнѣ или «дружеской бесѣдѣ», а — дѣловымъ образомъ и для облегченія жизни, стали первыми въ мірѣ по богатству. Не чета русскимъ. Которые даже въ столь позднее время — все нищаютъ, обманываютъ, и — тѣмъ все болѣе и болѣе раззоряются.

Долгъ платежемъ красенъ

— и русскіе выполняютъ и не могутъ не выполнить этого, насколько это установили финикіяне (вексель)... Но рѣшительно вездѣ, гдѣ могутъ, — стараются жить на счетъ другъ друга, обманываютъ, сутенерничаютъ. И думая о счастіи — впадаютъ все въ большее и большее несчастье.

Объ одномъ народцѣ

Имя были даны чудныя пѣсни всѣмъ людямъ. И сказанія его о своей жизни — какъ никакія. И имя его было священно, какъ и судьбы его — тоже священны для всѣхъ народовъ.

Потомъ что-то случилось... О, что-же, что-же случилось?...

Нельзя понять...

Ни одинъ народъ не можетъ. Никто изъ человѣчества...

Ни мудрецъ, ни ученый, ни историкъ.

И сталъ онъ поругаемымъ народомъ, имя котораго обозначаетъ хулу. И имя котораго, національное имя, стало у каждаго племени ругательнымъ названіемъ всякаго человѣка, къ кому оно приложится въ этомъ чужомъ племени.

О, что-же случилось?...?

Большее, большее: будемъ-ли мы читать «Лѣтопись Тацита» — когда томимся? Или — Геродота о скиѣхъ и Вавилонѣ? Будемъ-ли читать о Пелопонезской войнѣ — Фукидида? Нѣтъ, нѣтъ: когда *въ томлѣніи души* — то какъ все это чуждо и посторонне... Все это мы изучали-бы, только чтобы прочесть лекцію, написать ученый трудъ, и — «такъ, отъ нѣкотораго бездѣлья».

Но вотъ — юная вдова, подбирающая колосья пшеницы на полѣ богатаго землевладѣльца: и то, *какъ* она это дѣлаетъ, — и слова ея своей свекрови, — проливаютъ въ душу утѣшенія. И много еще...

Народъ этотъ пролилъ утѣшеніе во всѣ сердца.

И все-таки онъ проклятъ. Что-же случилось, — о, что такое, особенное???...

Сказать: «утѣшеніе» — и это сказать *все* о томъ народѣ. Читаемъ-ли мы хронику о Меровингахъ у Григорія Турскаго, или изящные очерки Августина Тьері, написанные по канвѣ этой хроники, — мы въ обоихъ случаяхъ читаемъ милое, граціозное, прелестное. Но это чтеніе даетъ только наслажденіе вкусу, душа-же остается если не холодною, то спокойною. По вотъ мы читаемъ о войнѣ, о грозѣ: одинъ царь — побѣдитель, другой — побѣжденъ. Побѣжденный боится за жизнь свою, обыкновенно боится — какъ боялся-бы каждый человѣкъ, и ищетъ потаенной комнаты во дворцѣ своемъ. Побѣдитель спрашиваетъ о врагѣ своемъ, и ему приближенные передаютъ о всемъ униженіи и страхѣ, въ какомъ тотъ находится. Вдругъ побѣдитель отвѣчаетъ вовсе не тѣмъ гордымъ, самоувереннымъ тономъ, какой такъ естествененъ въ самоупоеніи побѣды, и какимъ въ самоупоеніи побѣды говорили *все* цари и полководцы, а — совсѣмъ инымъ, новымъ, неожиданнымъ:

«Зачѣмъ онъ бѣжитъ отъ меня? Онъ — *братъ мой*».

Кто въ исторіяхъ Ассиріи видалъ, какъ со связанными за спиною руками плѣнникъ стоитъ передъ побѣдившимъ царемъ на колыняхъ, а ассирійскій царь, поднявъ копьё, выкалываетъ ему глаза, и вмѣстѣ приметъ во вниманіе, что переименованіе «врага» въ «брата своего» произошло въ ту же самую эпоху, тотъ оценитъ *всю разницу* въ душевномъ строѣ одного и другого. И пойметъ, почему я упорно называю «утѣшеніемъ» то особое чувство, какое льется на душу читателя отъ исторіи этого единственнаго народа.

И онъ — проклятъ.

Но тогда что-же случилось, почему мы также ненавидимъ этотъ народецъ, какъ ассиріяне ненавидѣли своихъ враговъ. И, оглядываясь на цивилизацію нашу, не подумаемъ-ли о ней съ печалью-страхомъ, сказанныхъ Алексѣемъ Толстымъ:

Ассиріяне или какъ на стадо волки,
Въ багрецъ ихъ и въ златѣ сіяли полки,

И безъ счета ихъ копы сверкали окрестъ,
Какъ въ волнахъ Галилейскихъ мерцаніе звѣздъ.

Словно листья дубравные въ лѣтніе дни,
Еще вечеромъ такъ красовались они;
Словно листья дубравные въ вихрь зимы,
Ихъ къ разсвѣту лежали развѣяны тьмы.

Ангель смерти лишь на-вѣтеръ крылья простеръ
Идохнулъ имъ въ лицо, и померкнулъ ихъ взоръ,
И на мутныя очи палъ сонъ безъ конца,
И лишь разъ поднялись и остыли сердца.

Вотъ расширившій ноздри, повергнутый конь,
И не пышетъ изъ нихъ гордой силы огонь,
И какъ хладная влага на брегѣ морскомъ,
Такъ предсмертная пѣна бѣлѣетъ на немъ.

Вотъ и всадникъ лежитъ, распростертый во прахъ,
На бронѣ его ржа, и роса на власахъ;
Безотвѣтны шатры, у знаменъ ни раба,
И не свищетъ конь и не трубятъ труба.

И Ассиріи вдовъ слышенъ плачъ на весь міръ,
И во храмѣ Ваала низверженъ кумиръ,
И народъ, не сраженный мечомъ до конца,
Весь растаялъ, какъ снѣгъ, передъ блескомъ Творца!

И вотъ народъ, который всемірно былъ утѣшителемъ всѣхъ скорбныхъ, утомленныхъ, нуждающихся въ свѣтѣ душъ, — теперь во тьмѣ, и не только самъ безъ утѣшенія но пинаемъ и распинаемъ... Что-же, что такое случилось? Явно — случилось въ планетѣ и въ судьбахъ человѣчества?

Ежедневность

Булочки, булочки...
Хлѣба пшеничнаго...
Мясца-бы немного...

Это ужасное замерзаніе ночью. Страшныя мысли приходятъ. Есть что-то враждебное въ стихіи «холода» — организму человѣческому, какъ организму «теплокровному». Онъ боится холода, и какъ-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жестокою, какъ «гусиная кожа на холоду». Вотъ

вамъ и «свобода человѣческой личности». Нѣтъ, «душа свободна» — только если «въ комнатѣ тепло натоплено». Безъ этого она не свободна, а боится, напугана и груба.

Впечатлѣнія бѣды теперь главные. И я замѣтилъ, что, къ позору, и господа и прислуга это равно замѣчаютъ. И уже не стыдятся бѣдный человѣкъ, и уже не стыдятся горькій человѣкъ. Проѣхавъ на дняхъ въ Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу, съ грубымъ желаніемъ видѣть, что бѣдятъ. Провожавшая меня дочь сидѣла грустно, уткнувшись носикомъ въ муфту. Одинъ солдатъ, вывернувъ изъ тряпки огромный батонъ (витый хлѣбъ пшеничный), разломилъ его широкимъ разломомъ и началъ ѣсть, даже не понюхавъ. Между тѣмъ пахучесть хлѣба, какъ еще пахучесть мяса во шахъ, есть что-то безмѣрно неизмѣримѣ самаго питанія. О, я понимаю, что въ жертвенникѣ Соломонова храма были сдѣланы ноздри и сказано, — о Боги сказано, — что онъ «вдыхаетъ туки своихъ жертвъ».

С о л н ц е

Заботится-ли солнце о землѣ?

Не изъ чего не видно: оно его «притягиваетъ прямо пропорціонально массѣ и обратно пропорціонально квадратамъ разстояній».

Такимъ образомъ 1-ый отвѣтъ о солнцѣ и о землѣ Коперника былъ глупъ.

Просто — глупъ.

Онъ «сосчиталъ». Но «счесть» въ примѣненіи къ нравственному явленію я нахожу просто глупымъ.

Онъ просто отвѣтилъ глупо, негодно.

Съ этого глупаго отвѣта Коперника на нравственный вопросъ о планетѣ и о солнцѣ началась пошлость планеты и опустошеніе Небесъ.

«Конечно, — земля не имѣетъ объ себѣ заботы солнца, а только притягивается по кубамъ разстояній».

Тѣфу.

ВЫПУСКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

1. Правда и кривда. 2. Изъ таинствъ Христовыхъ. 3. Сынъ.
4. Солнце.

Правда и Кривда

«Безъ *истиннаго* человекъ не проживеть, а безъ *святого* — слишкомъ проживеть». Это-то и составляетъ самую, самую главную часть а-космичности христианства.

Не только: «читаю-ли я Евангеліе съ начала къ концу, или отъ конца къ началу», я совершенно ничего не понимаю:

какъ міръ устроенъ? и — почему?

Такъ-что Іисусъ Христосъ ужъ никакъ не научилъ насъ міро-зданію; но и сверхъ этого и главнымъ образомъ: «дѣла плоти» онъ объявилъ грѣшными, а «дѣла духа» праведными. Я-же думаю, что «дѣла плоти» суть главное, а «дѣла духа» — такъ, одни разговоры.

«Дѣла плоти» и суть космогонія, а «дѣла духа» приблизительно выдумка.

И Христосъ, занявшись «дѣлами духа» — занялся чѣмъ-то въ мірѣ побочнымъ, второстепеннымъ, дробнымъ, частнымъ. Онъ взялъ себѣ «обстоятельства образа дѣйствія», а не самый «образъ дѣйствія», — т. е. взялъ онъ не *сказуемое* того предложенія, которое составляетъ всемірную исторію и человѣческую жизнь, а — только одни *обстоятельственыя, истинныя, штриховыя* слова.

«Сказуемое» — это ѣда, питье, сокоупленіе. О всемъ этомъ Іисусъ сказалъ, что — «грѣшно», и — что «дѣла плоти соблазняютъ васъ». Но если-бы «не соблазняли» — человекъ и человѣчество умерли-бы. А какъ «слава Богу — соблазняютъ», то — то же «слава Богу» — человѣчество продолжаетъ жить.

Позвольте: что за «слава Богу», если человекъ (человѣчество) умеръ?

Какъ-же онъ могъ сказать: «Азъ есмь путь и жизнь»? Ничего подобнаго. Ничего даже приблизительнонаго. «Обстоятельственыя слова».

Напротивъ, отчего есть «звѣзды и красота» — это понятно уже изъ насажденія рая человекомъ. Уже *онъ* — прекрасенъ, и это есть

утренняя звѣзда. Я хочу сказать, что «утреннюю звѣзду» Богъ далъ человеку въ рай: и тайнымъ созданіемъ Адема онъ выразилъ и вообще весь планъ сотворенія чего-то изумительнаго, великолѣпнаго, единственнаго, неповторимаго. Все къ этому рвется: «лучше», «лучше», «лучше». Есть мѣры и измѣримость: Богъ какъ-бы изрекъ — «Я — безмѣрный, и все сотворенное мною рвется къ безмѣрности, безконечности, нескончаемости». А, это понятно. «Тамъ оникъ и камень бдолахъ» (о раѣ). Напротивъ, когда мы читаемъ Евангеліе, то что-же мы понимаемъ въ безмѣрности? Да и не въ одной безмѣрности: мы вообще — ровно ничего не понимаемъ въ мірѣ.

«И вотъ, на небѣ великое знаменіе — жена облеченная въ солнце; подъ ногами ея — луна; и на головѣ ея вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ. Она имѣла во чревѣ и кричала отъ мукъ рожденія».

(Апокалипсисъ, 12).

Тутъ мы понимаемъ, что роды, именно, человѣческіе роды, лежатъ въ центрѣ космогоніи.

Библія — нескончаемость.

«Іисусъ-же сказалъ: «Есть скопцы, которые изъ чрева матернаго родились тако; и есть скопцы, которые оскоплены отъ людей; и есть скопцы, которые сами стѣбали себя скопцами ради Царства Небеснаго. Кто можетъ вмѣстѣ это да вмѣсти».

(Евангеліе отъ Маттея, 19).

Тутъ мы совершенно ничего не понимаемъ, кромѣ того, что это — не нужно.

Евангеліе — тулукъ.

Теперь: «грѣхъ» и «святость», «космическое» и «космичность»: мнѣ кажется, что если ужъ гдѣ можетъ заключаться «святое», «святость» — то это въ «сказуемомъ» міра, а не въ «обстоятельствахъ образа дѣйствія». Что за эстетизмъ. Поразительно великолѣпно Евангеліе: говори о «дѣлахъ духа» въ противоположность «дѣламъ плоти» — Христосъ черезъ это именно показалъ, что «Азъ и Отецъ — не одно». «Отецъ» — такъ Онъ и отецъ: посмотрите Ветхій Заветъ, — чего-чего тамъ нѣтъ. Отецъ не пренебрегаетъ самонадѣйшимъ въ болѣзняхъ дитяти, даже въ капризахъ и своевоіи его: и вотъ *тамъ*, въ Ветхомъ Заветѣ, мы находимъ «всѣческое». Всѣ страсти кипятъ, никакіе случаи и исключительности — не обходятъ. «Отецъ» беретъ свое дитя въ руки, моетъ и очищаетъ его сухимъ и мокрымъ, отъ кака грязнаго и мокраго. Посмотрите о леченіи болѣзней, парши, коросты. Въ пустынѣ Онъ идетъ надъ ними *тѣнью* — днемъ (облако, зной), и столбомъ огненнымъ — ночью *освѣщаетъ путь*. Похитили золотыя вещи у египтянъ, и это не скрыто; ибо такъ естественно, такъ просто: вѣдь они работали на нихъ въ рабствѣ, работали — безплатно. Этимъ таинственнымъ и глубокимъ пощеніемъ о человекѣ, какимъ-то кутающимъ и целе-

нающимъ. — отличается «отцовскій завѣтъ» отъ сыновняго.

Сынъ — именно «не одно» съ Отцомъ. Пути Физиологіи суть пути космическіе, — и «роды женщины» поставлены впереди «солнца, луны и звѣзды». Тутъ тоже есть *объясненіе*, чего абсолютно лишено Евангеліе. Дѣйствительно: тутъ показано, въ видѣніи Апокалипсиса, что и луна, и звѣзды, и солнце — все для облегченія «родовъ». *Жизнь поставлена выше всего*. И именно — жизнь человѣка. Пирамида ясна въ основаніи и завершеніи. Евангеліе оканчивается скопчествомъ, тушикомъ. «Не надо». Не надо — самыхъ родовъ. Тогда для чего-же солнце, луна и звѣзды? Евангеліе со страннымъ эстетизмомъ отвѣчаетъ — «для украшенія». Въ производствѣ жизни — этого не нужно. Какъ «солнце, луна и звѣзды» явились не для чего въ сущности, такъ и роды — есть «не нужное» для Евангелія, и міръ совершенно обезсмысливается. «Все понятно» — въ Библии, «ничего не понятно» — въ Евангеліи.

И вотъ — Престоль Апокалипсиса, посреди коего сидятъ животныя. Что за представленіе небесъ? Но развѣ роды коровы ниже чѣмъ-нибудь родовъ женщины? Это — «пути Божіи». Въ «оправданіи всего» Апокалипсиса — именно и лежитъ оправданіе Божеское, оправданіе Отцовское, и съ болячками, и съ коростами, и съ поясами, и съ запорами дитяти-человѣка. Какъ чудно! О, какъ хорошо! Славны и велики пути Твои, Господи, и славны они въ болязнь и въ исцѣленіи. Апокалипсисъ изрекаетъ какъ-бы правду Вселенной, правду *цѣлаго* — вопреки *узенькой* «евангельской правды», которая страннымъ образомъ сводится не къ богатству, радости и полнотѣ міра, а къ точкѣ, молчанію и небытію скопчества. Воистину — «поколебались основанія земли». Христосъ пришелъ таинственнымъ образомъ «поколебать всѣ основанія» сотворенной «будто-бы Отцемъ Его» Вселенной. И что Коперникъ на вопросъ о солнцѣ и землѣ началъ говорить, что они дѣйствуютъ «по кубамъ разстояній», — то это совершенно христіанскій отвѣтъ. Это — именно «обстоятельство образа дѣйствія». А «для чего они дѣйствуютъ» — это и не вѣдомо, и не интересно.

Таинственнымъ образомъ христіанство начало обходиться «пустынями». На вопросъ о землѣ и лунѣ оно отвѣтило «кубами разстояній», а на вопросъ о гусеницѣ, куколкѣ и мотылкѣ оно отвѣтило еще хуже: что такъ «бываетъ». «Наука христіанская» стала сводиться къ чепухѣ, къ позитивному и безсмыслицѣ. «Видѣлъ, слышалъ, но не понимаю». «Смотрю, но ничего не разумѣю» и даже «ничего не думаю». Гусеница, куколка и мотылекъ имѣютъ объясненіе, но не физиологическое, а именно — космогоническое. Физиологически — они не объяснимы; они именно — *неизъяснимы*. Между тѣмъ космогонически они совершенно ясны: это есть все живое, рѣшительно все живое, что приобщается жизни, гробу и воскресенію.

Въ фазахъ настѣкомаго даны фазы міровой жизни. Гусеница: — «мы ползаемъ, жремъ, тусклы и недвижимы». — «Куколка»

— это гробъ и смерть, гробъ и прозябаніе, гробъ и обѣщаніе. — Мотылекъ — это «душа», погруженная въ міровой эфиръ, летающая, знающая только солнце, нектаръ, и — никакъ не питающаяся, кромѣ какъ изъ огромныхъ цвѣточныхъ чашечекъ. Христосъ-же сказалъ: «въ будущей жизни уже не посягаютъ, не женятся». Но «мотылекъ» есть «будущая жизнь» гусеницы, и въ ней не только «женятся», но — наоборотъ Евангелію — при сравнительной неуклюжести гусеницы, при подобіи смерти въ куколкѣ, — бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе (поразительно!! — не только хоботокъ ея вовсе не приспособленъ для ѣды, но у нея нѣтъ и кишечника, по крайней мѣрѣ, у нѣкоторыхъ!!), страннымъ образомъ — она имѣетъ отношеніе *единственно къ половымъ органамъ* «чуждыхъ себѣ существъ», приблизительно — именно Деревя жизни: растений, непонятныхъ, загадочныхъ. Это что-то, передъ всякой бабочкою, — неизмѣримое, огромное. Это — лѣсъ, садъ. Что же это значить? Таинственнымъ образомъ жизнь бабочки указываетъ или предвѣщаетъ намъ, что и душа наши послѣ гроба — куколки — будутъ получать отъ нектара двухъ или обоихъ божествъ. Ибо сказано, что сотворена была Вселенная отъ *Элогимъ* (двойственное число Имени Божія, употребленное въ разсказѣ Библии о сотвореніи міра), а не отъ *Элоахъ* (единственное число); что божество — *два*, а не *одно*: «по образу и по подобію которыхъ — мужъ и женою сотворилъ Богъ и человека».

Мотылекъ — душа гусеницы. Сол — душа, безъ приходящаго. Но это показываетъ, что «душа» — не нематеріальна. Она — осязаема, видима, *есть*; но только — *иначе, чѣмъ въ земномъ существованіи*. Но что же это и какъ? Ахъ, наши сны и сновидѣнія иногда реальнѣе бодрствованія. Гусеница и бабочка показываютъ, что на землѣ мы — только «жремъ»; а что «тамъ» будетъ все — полетъ, движеніе, камедь, мирра и фиміамъ.

Загробная жизнь вся будетъ состоять изъ свѣта и пахучести. Но именно — того, что ощутимо, что физически — пахуче, что плотски, а не безплотно — издаетъ запахъ. Не безъ улыбки можно отвѣтить о «соблазнахъ міра сего», что въ нихъ-то и «течетъ», какъ-бы истекаетъ изъ души вещей, изъ энтелехий вещей — уже теперь «жизнь будущаго вѣка», и что вкусовая и обонятельная часть нашего лица, и вообще-то наиболѣе прекрасная и «небесная», именно и прекрасна отъ очертаній губъ, рта и носа. «Что за уродъ, въ комъ нѣтъ носа и губъ», или есть въ нихъ поврежденіе, и даже просто — некрасивая линія. Апокалипсическое въ насъ — улыбка. Улыбка — всего апокалипсичнѣе.

Радость, ты — *искра небесъ*, ты *божественна*,
Дочь *елсейскихъ полей*....

Это — не аллегорія, это — реальная, точнѣе — это ноуменальная правда. «Хорошо соблазняться» и «хорошо быть соблазняемымъ». Хорошо, «черезъ кого — соблазнъ входитъ въ міръ»: онъ вноситъ

край неба на плосковатую землю. Загадочно, что въ Евангеліи ни разу не названо ни одного запаха, ничего — пахучаго, ароматнаго; какъ-бы подчеркнуто расхождение съ цвѣткомъ Библии — «Пѣсню пѣсней», этою пѣснюю, о которой одинъ старецъ Востока выговорилъ, что «все стояніе міра не достойно того дня, въ который была создана *«Пѣсня пѣсней»*. И вотъ, Евангеліе такимъ образомъ представляется «эту» и «будущую жизнь» совсѣмъ наоборотъ: «пути»-то жизни, насколько они *физиологическіе пути*, и есть *жизненное* и *небесное* (Престоль Апokalипсиса): это есть «подлежащее», которое «оправдалось».

А тотъ «путь жизни», «жизнь духа» — есть «обстоятельственный путь», проводимый въ праздности, эстетикѣ и разговорахъ...

И долго на свѣтъ томилась она

это — земная жизнь гусеницы, ползающая и жрущая.....

Желаніемъ чуднымъ полна

это — мотылекъ, бабочка, утопающая въ эфирѣ, въ солнечныхъ лучахъ. Того самаго Солнца, которое «и со звѣздами и съ луною» — только «окружаетъ роды женщины».

*И тѣснѣ любви замкнуть не могли
Ей скучныя тѣсни земли.*

И — никакого «ада и скрежета зубоваго» тамъ, а — собраніе лектара съ цвѣтовъ. За муки, за грязь и соръ и «землеѣденіе» гусеницы, за гробъ и подобіе, — но только *подобіе смерти* въ куколкѣ, — душа возстанетъ изъ гроба; и переживетъ, каждая душа переживетъ, и грѣшная и безгрѣшная, свою невыразимую «пѣсню пѣсней». Будетъ дано каждому человѣку по душѣ этого человѣка и по желанію этого человѣка. Аминь.

Изъ Тайнствъ Христовыхъ

«Не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ яко Іуда....»

Какъ это сказано... О, какъ сказано... И чудятся какія-то дѣйствительно страшныя тайны за сказавшимъ такъ, или, особенно, за увидѣвшимъ что-то.

Сынъ

Чтобы сынъ родился — нужно допустить какой-то недостатокъ въ отцѣ. Отецъ — это такъ *полно*. Отецъ — это *все*. Отецъ — это Солнце и душа и правда солнца. Вездѣ лучи Его до концовъ Вселенной. Отецъ и — *конечно*.

Что-же значить, что *Сынъ родился*? Только если Отецъ въ чемъ-то *недотворилъ*? Или, можетъ быть, онъ не научилъ или не доучилъ? Но и «нравственный законъ» онъ уже принесть (на Синаѣ). Вовсе не одно сотвореніе «глыбъ», «солнца и луны», и «свѣта» и «ночи». Что-же? Какъ-же?

Нельзя понять иначе, какъ заподозривъ Отца въ *недостаткѣ* и *полнотѣ*. «Отецъ — это еще *не все* и *не конецъ*».

Ну, тогда понадобился и Сынъ.

Солнце

Живетъ-ли Солнце?

Вотъ самое загадочное, — и даже единственно загадочное, — о немъ.

Всѣ рѣшительно ученые, до единого всѣ, отъ Лапласа до гимназиста, убѣждены, что оно «конечно не живетъ»; что оно есть «предметъ»....

Но почему не гаснетъ? — «Погаснетъ». Но вѣдь времени было довольно, чтобы погаснуть. Довольно-ли?? О, кажется....

«Отъ него жизнь на землѣ». Отъ него-ли? Повидимому. Живое отъ механическаго? Странно. «Да. Но такъ учатъ атомы». «Они всѣ стучатъ».

Ну, а если оно «живетъ»? Тогда 1-ая мысль кидается къ Христу. «Значить, Ты — не Богъ». Странно.

«Солнце живетъ». Допустимъ эту гипотезу. Допустимъ не какъ фразъ, а какъ дѣйствительность. Но какъ-же оно живетъ? «Въ такомъ-то нѣтъ»? Въ такомъ огнѣ прекращается жизнь. И, если-бы такъ, то значило-бы, что для «жизни» предѣловъ температуры нѣтъ.

Странно.

Нѣтъ, повидимому — «не живетъ». «При такой горячности — все сжигать, сварится». Имѣетъ ли оно душу — вотъ вопросъ. «Что будетъ съ душой при очень высокой т?»

Невѣдомо.

Почему планеты движутся около солнца? Почему не «стоятъ» около солнца? «Тогда-бы упали». Ну, и «упали» — ничего. «Мала куча».

Все-же въ «движеніяхъ планетъ» и въ самомъ «солнцѣ» наука ничего не понимаетъ, даже раз-наука. И Лапласъ понимаетъ столько-же, сколько гимназистъ.

Да, еще: что заключается внутри чего, солнечная система заключается внутри Евангелія, или Евангеліе заключается внутри солнечной системы?

ВЫПУСКЪ ПЯТЫЙ

1. Немножко и радости. 2. Опасная категория. 3. Огонь Христовъ. 4. Тайны міра. 5. Испытаніе въ пустынь. 6. Солнце. 7. Religio. 8. Туфли.

Немножко и радости

«Прійдите володѣть и княжити нами. Земля-бо наша велика и обильна, а наряда въ ней нѣтъ».

Несторова автопись.

«Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ благословляя».

Тютчевъ.

Удивительное сходство съ евреями. Удивительное до буквальности. Историки просмотрѣли, а славянофилы не догадались, что это вовсе не «отречение отъ власти» народа, до такой степени ужъ будто-бы смиренного, а — *неумѣлость* власти, *недаровитость* къ ней, или, что лучше и даже превосходно до единственности: что это прекрасный даръ жить улицею, окологородкомъ, и — не болѣе, не грѣшнѣе.

«Съ насъ довольно и сплетень, да кумовства».

Ей-ей, подъ пѣмцами намъ будетъ лучше. Пѣмцы наведутъ у насъ порядокъ, — «какъ въ Ригѣ». Устроить полицію, департаменты. Согласимся, что вѣдь это было у насъ всегда скверно и глупо. Министерію завести. Не будутъ брать взятокъ, — наконецъ-то... и о чемъ мы были, начиная отъ Сумарокова, и дошли до самаго Щедрина..... «Бо наряда — нѣтъ». Ну ихъ къ черту, болвановъ. Да, еще: наконецъ-то, наконецъ пѣмцы научатъ насъ русскому патриотизму, какъ дѣлали ихъ превосходные Вигель и Даль. Но такихъ было только двое и что-же могли они?

Мы-же овладѣемъ ихъ душою такъ преданно и горячо, какъ душою Вигеля, Даля, Ветенека (Востоковъ) и Гильфердинга. Вѣдь ни одинъ русскій душою въ пѣмца не передѣлался, потому что они во-истину болваны и почти безъ души. Почему такъ и способны «управлять».

Покореніе Россіи Германіею будетъ, на самомъ дѣлѣ и внутренно и духовно, — покореніе Германіи Россіею. Мы наконецъ изъ нихъ, — изъ лучшихъ ихъ, — сдѣлаемъ что-то похожее на чело-вѣка, а не на шталмейстера. А то за «шталмейстерами» и «гофмейстерами» они лицо человѣческое потеряли.

Мы научимъ ихъ танцевать, музыканить и пѣть пѣсни. Можетъ быть даже научимъ молиться. Они за это будутъ намъ рыть руду, т. е. пойдутъ въ каторгу, будутъ пахать землю, т. е. станутъ мужиками, работать на станкахъ, т. е. сдѣлаются рабочими. И будутъ заниматься аптеками, чѣмъ и до сихъ поръ ни одинъ русскій не занимался. «Не призваніе». Будутъ изготовлять намъ «французскіе горчичники», тоже — какъ до сихъ поръ.

Мы дадимъ имъ пророковъ, попытаемся дать имъ понятіе о святости, — что едва-ли мыслимо. Но хотъ попытаемся. Выучимъ говорить, пѣть пѣсни и сказывать сказки.

Въ тайнѣ вещей мы будемъ ихъ господами, а они нашими нянюшками. Любящими и послушными намъ. Они будутъ намъ служить. Матерьяльно служить. А мы будемъ ихъ духовно воспитывать. Ибо и нигилизмъ нашъ тогда пройдетъ. Нигилизмъ есть отчаяніе чело-вѣка о неспособности дѣлать дѣло, къ какому онъ вовсе не призванъ.

Мы, какъ и евреи, призваны къ идеямъ и чувствамъ, молитвѣ и музыкѣ, но не къ господству. Овладѣли-же къ несчастью и къ пагубѣ души и тѣла 1/6-ю частью сущи. И, овладѣвъ, въ сущности испортили 1/6 часть сущи. Планета не вытерпѣла и перевернула все. Планета, а не германцы.

Опасная категория

Обаятельный, обольстительный, лукавый.

Удивительно, что къ категоріи «лукавства», — вотъ этого особеннаго и особой глубины грѣха, — не ведутъ вообще никакія порочныя ступени, кромѣ какъ если ступить на первую:

— Обаятеленъ.....

— Что такое? Какъ? Почему?

— Обаятеленъ, — потому-что не подлежитъ укору, не представляетъ порока и пороковъ, и всѣхъ «обаяетъ», съ перваго-же взгляда, какъ только кто увидитъ или услышитъ его.

— Обольститель, потому-что въ силу качества непорочности и красоты всѣ идутъ за нимъ.

Но вотъ странно: какъ-же изъ непорочности и красоты можетъ вдругъ выйти третье? Это совершенно не натурально. Но однако, глазъ людской, обыкновенный и, такъ сказать нетенденціозный, вдругъ замѣтилъ, что опасная категорія именно и начинается съ двухъ качествъ.

— Обаятельности, обольстительности.

Поэтому-бы, — «по предреченіямъ», — надо быть особенно осторожнымъ, если вдругъ увидимъ человека особенно, исключительно невинного, чистого, непорочного.

— Обаятельнаго.

Въ этомъ отношеніи хорошо-бы поставить зарокъ, въ виду именно предупрежденій:

— Пусть будетъ хоть маленький порокъ. Почти — невинный, но — однако недостатокъ. Величайшій изъ древнихъ, коего люди могли счесть «Богомъ», — и даже дѣйствительно начали было «искать его могилу какъ Бога», и не могли найти, — что человекъ этотъ былъ — говоря славянскимъ словомъ, — «гугнивь». Т. е. онъ былъ косноязыченъ, заикался. «Спасъ народъ Божій отъ рабства» и далъ всѣ (всѣ!!!) законы, и, съ тѣмъ вмѣстѣ, былъ ни болѣе, ни менѣе какъ зайкою. Качество — прямо смѣшное. Но качество невинно. И вотъ, по этому соединенію «невиннаго и смѣшного», — мы узнаемъ Божию книгу и узнаемъ Божіе событіе.

Въ самомъ дѣлѣ: отъ событія и отъ книги никакого «худого послѣдствія не произошло». Нужно замѣтить, что «лукавое» начинается узнаваться по «*послѣдствіямъ*».

Ибо прямо-то вѣдь какъ узнать: «обаятеленъ» и «обольщаетъ».

Огонь Христовъ

Гдѣ обожжетъ огонь Христовъ...

Но — по настоящему обожжетъ...

Тамъ уже никогда ничего не вырастетъ.

Вотъ — и градь Салима (Соломона).

И — судьба Іудей.

И Павелъ, просившій распять его «не какъ нашего Господа: но головою книзу», дабы «голова его была тамъ, гдѣ ноги его возлюбленнаго Учителя».

И — наши скѣпны.

Объ этомъ-то и догадались впервые іезуиты.

Сказавшіе: «не увлекайтесь очень». И начавшіе торговать въ Парагваѣ.

Тайны міра

Ты одинъ прекрасенъ, Господи Іисусе! И похулилъ міръ красотой своею. А вѣдь міръ-то — Божій.

Зачѣмъ-же Ты сказалъ: «я и Отецъ — *одно*»? Вы не только «одно», а ты — *идешь на Него*. И сдѣлалъ, что Сатурнъ съ Ураномъ.

Ты осконилъ Его. И только чтобы осконить — и пришелъ. Вотъ! вотъ! вотъ! — наконецъ-то разгадка словъ о скончаніи. И что въ

Евангеліи уже не «любятъ», а живутъ какъ «Ангелы Божіи»: какъ въ плавняхъ при-Дибровскихъ, «со свѣчками и закопавшись». О, ужасы, ужасы...

И весь Ты ужасенъ. Ты — не простой, а именно — ужасенъ. И Ты воскресъ, — о, я вѣрю! «Егда вознесусь — всѣхъ привлеку къ себѣ».

Но, — чѣмъ?

О, ты не *другъ* человекѣвъ. Нѣтъ, не другъ. «Договоръ», «завѣтъ» (о «ветхомъ»), и это кажется формально и сухо. Но какъ Ты ихъ ужасно угнетъ, до послѣдняго рабства. Поистинѣ — «рабы Господни»... Даже и до смерти, до мученичества.

Не потрясаетъ-ли: «ни единый мученикъ не былъ пощаженъ». А вѣдь *могъ-бы*?...

Могъ-ли?

О, ...

Конечно, кто *воскресилъ* Лазаря — *могъ*. Значить — не *захотѣлъ*? О, о, о, ...

Ты *все* могъ, Господи Іисусе. Ты, «потрясшій небо и землю».

И не избавившій даже дѣтей ни отъ муки небесной, ни отъ муки земной.

Рабы, рабы... Да, «договоръ» — онъ «святъ» — «Ты — мнѣ, какъ я тебѣ». Ты-же далъ все униженіе и взялъ себѣ всю славу. И вотъ, неужели Ты не понимаешь, почему на Тебя возсталъ праведный Израиль. Онъ возсталъ — не понимая. «Что-то — *не то*». Что — «не то»? Да похуливъ созданіе Божіе, Ты болѣе всего похулилъ, — похулилъ особенно и страшно, — «отрока Іеговы». И онъ, не понимая, «что» и «за что», — возсталъ на Тебя.

Вотъ разгадка, вотъ разгадка, вотъ разгадка.

Ну, слушай: очень хороши «лиліи полевая». Но вѣдь не хуже и «человѣкъ»? Что-же Ты его все гвоздилъ «грѣхомъ»? И испугалъ муками? «Тамъ будетъ огонь неугасимый» и «скрежетъ зубовъ». Очень мило.

Вообще, все очень мило въ Твоемъ созданіи, по-истинѣ — особомъ созданіи, особомъ «отъ Отца». Люди болѣе не посягаютъ, не любятъ, не множатся. А всѣ слушаютъ Тебя, какъ эта бѣдная Марія.

О, бѣдная, бѣдная... Да ужъ не мученица она «потомъ», которую Ты тоже забылъ въ небесномъ величій.

Искушеніе въ пустынѣ

Чтобы быть «безъ грѣха» — Христу и надо было удалиться отъ міра... Оставить міръ... Т. е. *обезсилить* міръ.

«Силушка» — она грѣшна. Безъ «силушки» — что подѣлаешь? И надо было выбирать или «дѣло», или — «безгрѣшность».

Христосъ выбралъ безгрѣшность. Въ томъ и смыслъ искушенія въ пустынѣ. «И дамъ тебѣ всѣ царства міра». Онъ не-взялъ. Но

тогда как-же онъ спасъ міръ? Не — дѣланіемъ. «Уходите и вы въ пустыню».

Не нужно царствъ... Не нужно міра. Не нужно вообще «ничего»... Нигилизмъ. Ахъ, такъ вотъ *идъ корень его*. «Міръ безъ начинки»... Пирогъ безъ начинки. «Вкусно-ли»? Но, дѣйствительно: Христомъ вывалена вся начинка изъ пирога и то называется «христианствомъ».

С о л н ц е

Говорятъ: «Нѣтъ вѣчнаго *perpetuum mobile*». Доказываютъ. Наука.

Свянька, роющая носомъ землю: посмотри вверхъ. Солнце.

Сказать: «солнце устало», «теряетъ *энергію*» — бессмыслица. По-истинѣ, оно — *не истощается*, и все какъ-то — живетъ. Вотъ что если «не скучно» — то солнышко... Протуберанцы. Игретъ. Вулканы. «Корона солнечная» (видна въ затмѣніяхъ). И — эти таинственные «ультрафіолетовые лучи», отъ коихъ, говорятъ, — вся жизнь.

Religio

Р о с т ъ

было, есть, *будетъ*.

Почему оно «будетъ-то»?

Потому-что — есть *ростъ*...

Возростаніе, «больше». Въ загадкѣ «больше» лежитъ разгадка «прогресса», «развитія».

Все «развертывается» изъ «точки» въ «окружность». И вотъ міръ изъ «точки» Бога развернулся въ «красоту-мірозданіе».

И гдѣ-же «въ мірѣ» нѣтъ «Бога»? И гдѣ-же «въ Богѣ» — нѣтъ «міра»?

И вотъ они связаны. «Religio»... Молитва. Нѣтъ вещи, которая бы не «молилась», потому-что она — «растетъ». И знаетъ, что «изъ точки» растетъ, изъ — *отцовской точки*.

И нѣтъ Бога не-Покровителя. Это — Провидѣніе. Ибо точка знаетъ свою окружность, какъ курица — порожденных ею лица, на которыхъ она сидитъ.

Такъ вышли небо, земля и звѣзды. Они «вышли», потому-что міръ есть религія: — не потому, что «въ мірѣ зародилась религія», а совсѣмъ и вовсе наоборотъ, совершенно и вовсе разное: потому-то и вышли «луна, звѣзды, и земля», и «закружилось все — въ небо», что въ тайнѣ и сущности мірозданія — какъ вздохъ и тѣнь — всегда лежала молитва.

Можно сказать, что вздохъ былъ «тѣмъ паромъ», «туманомъ», изъ котораго и вышло «все». Такъ что «все» — естественно и «задышало», когда появилось.

Оно задышало, потому-что появилось изъ «вздоха». Потому, что «вздохъ» — это «Богъ».

Богъ не бытіе. Не Всемогущество. Богъ — «первое вѣяніе», «утро». Изъ котораго все — «потомъ».

Т у ф л и

Неужели-же, неужели всѣ европейцы, — и первые ученые изъ нихъ, и такъ вообще «толпа», воображаютъ объ еврейхъ и объ отношеніи ихъ ко Христу, что это *одно лишь упорство* народа, сдѣлавшаго ошибку, но затѣмъ — ни за что не желающаго *поправиться*, сознать свою *ошибку*? Хотя «теперь-то уже очевидно все превосходство христианства надъ закономъ Моисеевымъ»? «такимъ узкимъ и такимъ обрядовымъ?!» — «Евреи *ошиблись*, не признавъ своими же пророками, предреченнаго Мессію» и просто въ одинъ скверный день бытія своего они переобували туфли, одѣвъ правую ногу въ лѣвую туфлю, а лѣвую ногу въ правую туфлю? «И вотъ съ тѣхъ поръ такъ и ходятъ, смѣяя людей и лзясь посмѣшищемъ исторіи»...

Такова общая *концепція* европейцевъ и Европы объ Іудѣ и юдизмѣ.

Между тѣмъ, неужели европейцамъ не приходитъ на умъ, что «иначе переобувъ туфли» — еврей каждый и единолично содѣлался-бы въ христианскомъ мірѣ равнозначущъ Апостолу Павлу, и вообще — апостоламъ, которые «всѣ были изъ іудеевъ»? И что это общало-бы и исполнило для нихъ обѣтованіе Исайя: «будетъ время, и народы *понесутъ васъ на плечахъ своихъ*»... И это, т. е. исполненіе обѣтованія, — настало-бы просто «завтра», «завтрашній день»... Неужели же не очевидно, что если власть надъ цѣлымъ міромъ, «которая вотъ въ рукахъ уже», — евреи не берутъ, — если корыстные не берутъ богатства, славолюбивые не берутъ славы, то... то... то...

Это — отъ того, что взять ее

грѣхъ

О, — такой *особенный* грѣхъ, въ такомъ *исключительномъ* видѣ грѣхъ... И который не простится ни въ жизни *этой*, ни — въ *будущей*. Это уже не воровство, кража, жадность, лѣнь, что мы дѣлаемъ каждый въ норкахъ житія своего, а что-то планетное, космогоническое, страшное. «Переменя *судьбы* своей». «Обмѣнить душу свою на богатства міра и на власть надъ міромъ».

Какъ-же было европейцамъ, и особенно мыслителямъ европейскимъ, подумать не о «туфлѣ и ногѣ», о чемъ-то именно несоизмѣримѣйшемъ... И — не объ *управленіи*, а о томъ: «не *грѣхъ*-ли это въ самомъ дѣлѣ?».

Если-же «грѣхъ признать Іисуса»: то, сверкая молніями сюда,

какъ было не оглянуться: «А, можетъ быть, мы — и *приняли этотъ грѣхъ*».

Вѣдь такъ именно и получено самимъ Христомъ: получена *власть надъ цѣлымъ міромъ*, вопреки видимаго, рассказаннаго въ Евангеліи, отреченія; — *богатства цѣлаго міра*. Власть надъ Европою, европейцами, *мысляю ихъ, смысломъ ихъ*.

Вдругъ посѣдній бѣднякъ-еврей отказывается: — «не надо этого!» — *«не хочу этого!»*

Неужели не ясно, что это — не то-же, что «туфля».

Но, когда такъ: то не явно-ли, что скорѣе ужъ мы «обули не такъ ноги», — но что вотъ именно мы, по своей дѣйствительно лѣни, по своей засвидѣтельствованной лѣни, лишь держимся этого косо и по традиціи.

ВЫПУСКИ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ

1. Переживаніе. 2. Почему на самомъ дѣлѣ евреямъ нельзя устраивать погромовъ? 3. Еще о «сынахъ» въ отношеніи «отца».

4. Приказъ № 1.

Переживаніе

Въ Посадѣ мѣра картофеля (августа 12-го 1918 года) — 50 рублей. Услышала отъ старушки Еловой, что въ гор. Александровѣ близъ Посады, мѣра — 6 руб. Спѣшу на вокзалъ справиться, когда въ Александровѣ отходятъ поезда. Отвѣчаетъ мастеровой съ бляхой:

— Въ три.

Я:

— Это по старому или по новому времени?

Часы по приказанію большевиковъ переведены въ Сергіевѣ на 2 часа впередъ.

— Конечно по новому. Теперь все по новому. (Помолчавъ:)

— Старое теперь все въ могилѣ.

Да. Радуйся русская литература. И ржаная мука уже 350 руб. пудъ.

Бѣдные мрутъ. Богатые едва имѣютъ силу держаться.

Почему на самомъ дѣлѣ евреямъ нельзя устраивать погромовъ?

Въ революціи нашей въ высшей степени «поясень» еврей. Какъ онъ во всемъ не ясенъ, и запутался во всей европейской цивилизаціи. Но до Европы — оставимъ. Намъ важны мы. Посмотрите, какъ они трясутся надъ революціей. Не умно, злобоязненно, но — трясутся. А вѣдь это и ихъ «генетамъ» не общается ничего. Даже общается плохо. Почему же они трясутся? Я разъ посмотрѣлъ въ иллюстрированномъ журналѣ — Нахамкиса; и, противъ непріятнаго Лемина, сказалъ: — «Какъ онъ сорезень» (хотѣлъ бы видѣть въ натурѣ).

Да, рѣчь его противъ Михаила Александровича — нагла. Но вѣдь евреи и всегда наглы. Въ Европѣ, собственно, они не умѣютъ говорить европейскимъ языкомъ, т. е. лѣстливымъ, вкрадчивымъ и лукавымъ, во всякомъ случаѣ — вѣжливымъ, а орутъ, какъ въ Азіи, ибо и суть азіаты, грубіаны и дерзки. Это — гогоучіе пророки, какъ я опредѣлялъ когда-то. Они обо всякой курицѣ, т. е. въ торгѣ, пророчествуютъ. «Ефа за ефу», — «отчего ефу не вывѣряешь», «отчего вѣсы не вѣрны» (Исаія, — или который-то разъ попалось). Но... быть «Стекловымъ»^{*}). Но это — не обманъ. Только отодвинутый «кончикомъ носка сапога», онъ разъярился, какъ «Нахамкисъ» и на Михаила Александровича, и — дальше... И возненавидѣлъ всю эту старую «черствую Русь».

Евреи... Ихъ связь съ революціей я ненавижу, но эта связь, съ другой стороны, — и хороша; ибо изъ-за связи и даже изъ-за поглощенія евреями почти всей революціи — она и сгиняетъ, окончится погромами и вообще окончится ничѣмъ: слишкомъ явно, что «не служить же русскому солдату и мужику евреямъ»... Я хочу указать ту простую вещь, что если магнаты еврейства могутъ быть и думать «въ цѣломъ руководить потомъ Россіей», то есть бѣдные жидки, которые и соотечественникамъ не уступятъ русскаго мужика (идеализированнаго) и ремесленника и вообще (тоже идеализированнаго) сироту.. Евреи сентиментальны, глуповаты и преувеличиваютъ. Русскій «мужичекъ-простачекъ» злобитъ, грубѣе... Главное — гораздо грубѣе. «Съ евреями у насъ дѣло вовсе не разобрано». Еврей есть первый по культурѣ человѣкъ во всей Европѣ, которая груба, плоска и въ «человѣчествѣ» далѣе социализма не понимаетъ. Еврей же зналъ вздохи Іова, пѣсенки Руфи, пѣснь Деворры и сестры Моисея:

— О, фараонъ, ты ввергнулся въ море. И кони твои потонули. И вотъ ты — ничто.

Евреи — самый утонченный народъ въ Европѣ. Только по глупости и наивности они пристаки къ плоскому дну революціи, когда ихъ мѣсто — совсѣмъ на другомъ мѣстѣ, у подножія державъ (такъ вѣдь и поступаютъ и чтутъ старые настоящіе евреи, въ благородномъ: «мы — рабы Твои», у всего настояще Великаго. «Величить душа моя Господа» — это всегда у евреевъ, и всегда — въ отношеніи къ великому и благородному исторіи). О, я вѣрю, и Нахамкисъ приложился сюда. Но — сорвалось. Сорвалось не — «величіе», и онъ ушелъ, мстительно какъ еврей, — ушелъ «въ божему». «Революція такъ революція. «Вали все». Это жидъ и жидокъ и его нетерпѣливость.

Я выбираю жидка. Сколько насмѣшекъ. А онъ все цымбалить. Насмѣшекъ, анекдотовъ: а онъ смотритъ русскому въ глаза и поетъ ему пѣсни (на жаргонѣ) Задѣйпроя, Хохломани, Подоли, Воляни, Кавказа, и, можетъ быть, еще Сирин и Палестины и Вавилона

^{*}) Найденое, послѣ взлома революціоннаго, его прошеніе на Высочайшее Имя, о позволеніи переимѣнить свою еврейскую фамилію на русскую.

и Китая (я слышалъ, есть китайцы-евреи, и отпускаютъ себя ко-сы!!!). Еврей вездѣ и онъ «странствующій жидъ», Но не думайте; не для «гешефта»: но (наша Лѣтопись) — «Богъ отнялъ у насъ землю за грѣхи наши и съ тѣхъ поръ мы странствуемъ».

И вездѣ они несутъ благородную и святую идею «грѣха (я плачу), безъ которой нѣтъ религіи, а человѣчество было бы разбито (праведнымъ небомъ), если бы отъ жидовъ не научилось трепетать и молить о себѣ за грѣхъ. Они. Они. Они. Они утерли соплю пресловутому европейскому человѣчеству и всунули ему въ руки молитвенникъ: «иа, болванъ, помолись». Дали псалмы. И Чудная Дѣва — изъ евреекъ. Что бы мы были, какая дичь въ Европѣ, если-бы не евреи. Но они пронесли печальныя пѣсни черезъ насъ, смотрѣли (всегда грустными глазами) на насъ. И разъ и на пароходѣ слышалъ (и плакалъ): «Купи на 15 коп. уксусной кислоты — я выпью и умру. Потому что онъ измѣнилъ мнѣ». Пѣла жидовка лѣтъ 14-ти, и 12-лѣтній братъ ея игралъ на скрипкѣ. И жидовка была серьезна... О, серьезна... Я (въ душѣ) плакалъ. И думаю: «какъ честно; они вырабатываютъ пятаками за проѣздъ, когда у насъ бѣдные ѣдутъ фуксами, т. е. какъ нибудь на казенный счетъ, или подъ лавкою, и вообще — на даровщинку».

И вотъ они пѣли, какъ и Деворра, не хуже. Почему хуже? Какъ «На рѣкахъ вавилонскихъ»: — «О, мы разобьемъ дѣтей твоихъ о камень, дщерь вавилонская». Это — Нахамкисъ. Нахамкисъ кричитъ: «Зачѣмъ же лишили его права быть Стекловымъ», «благороднымъ русскимъ гражданиномъ Стекловымъ», и также сталъ «ругать звѣрски Михаила Александровича, какъ іудеяшки хотѣли (вѣдь только хотѣли) «разбивать вавилонскихъ дѣтей о камень» (вавилонскій жаргонъ).

Это — глѣвъ, ярость: но оттого-то они и живутъ и не могутъ и не хотятъ умереть, что — горячи.

И будь, жидъ, горячъ. О, какъ Розановъ — и не засыпай, и не холодѣй вѣчно. Если ты задремлешь — міръ умретъ. Міръ жить и даже не соненъ, пока еврей «все однимъ глазкомъ смотритъ на міръ». — «А почему нынче овесъ?» — И торгуй, еврей, торгуй, — только не обижай русскихъ. О, не обижай, миленькій. Ты талантливъ, даже гениаленъ въ торговлѣ (связь вѣковы, связь съ Финляндіей). Припусти насъ, сперва припусти къ «Торговлѣ аптекарскими товарами», къ аптекамъ, научи «синдикатамъ» и вообще введи въ свое дѣло ну хоть изъ 7-8 %, а себя — 100, и русскіе должны съ этимъ примириться, потому что вѣдь не они изобрѣтатели. Подай еврею, подай еврею, — онъ творецъ, сотворилъ. Но потомъ подай и русскому, Господи: онъ нищъ.

О, довольно этой «нищенской сумы», этого христіанскаго нищенства, изъ котораго вѣдь выглядываютъ завидующіе глазки. Но оставимъ. И вернемся къ печальнымъ пѣснямъ Израэля.

И вотъ онъ играетъ мальчишка, а дѣвченка поетъ. Какъ я слышалъ эту пѣсню безумную на Волгѣ. И дѣти мои слушали. И они почти плакали. Впечатлительны всѣ. «Вѣдь у васъ былъ Самсонъ, еврей?» Моргаетъ. — «Помните, Самсонъ и Далила?» — «Какъ

они «сражались съ филистимлянами?» — «Сражались, о, о...» «Ну?» — «Теперь одна стѣна плача; Римляне разорили все».

И они трясут кулаками по направлению Рима. «У...У...У...». Но, еврей, утѣшься: давно прошли легіоны Рима; отъ Рима «того самого», осталось еще меньше, нежели осталось отъ Іерусалима; онъ еще гораздо глубже погребенъ. А вы все еще спрашиваете у лѣниваго хохла: «А всетаки почему же пшево?»

Русскіе въ странномъ обольщеніи утверждали, что они, «и восточный и западный народъ» — соединяють и Европу и Азію въ себя, не замѣчая вовсе того, что скорѣе они не западный, и не восточный народъ, ибо что же они принесли Азіи, и какую роль сыграли въ Европѣ? На востокъ они ободрали и споили Бурятъ, черемисовъ, киргизъ-кайсаковъ, ободрали Арменію и Грузію, запретивъ даже (самъ слушалъ обѣдню) слушать свою православную обѣдню по грузински. О, о, о... Самъ слушалъ, самъ слушалъ в Тифлисѣ. Въ Европѣ явились какъ Герценъ и Бакунинъ и «внесли социализмъ», котораго «вотъ именно не хватало Европѣ». Между Европой и Азіей мы явились именно «межеумками», т. е. именно ингилистами, не понимая ни Европы ни Азіи. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это, дѣйствительно, внесли. Страхомъ мнѣ говорилъ съ печалью и отчасти съ восхищеніемъ: «Европейцы, видя во множествѣ у себя русскихъ туристов, поражаются талантливостью русскихъ и угонченнымъ ихъ развратомъ». Вотъ это — такъ. Но принесли ли мы семью? добрыя начала нравовъ? трудоспособность? Ни-ни-ни. Теперь, Господи, какъ страшно сказать... Тогда, какъ мы «и не восточный и не западный народъ», а просто ерунда, — ерунда съ художествомъ, — еврей является на самомъ дѣлѣ не только первенствующимъ народомъ Азіи, давшимъ уже не «кое-что», а весь свѣтъ Азіи, весь смыслъ ея, но они гигантскими усиліями, неутомимой дѣятельностью, становятся мало-по-малу и первымъ народомъ Европы. Вотъ! Вотъ! Вотъ! Этого-то и не сказала никто о нихъ, т. е. «о соединительной ихъ роли между Востокомъ и Западомъ, Европою и Азією». И — пусть. О, пусть... Это — да, да, да.

Посмотрите, ветрепенитесь, опомнитесь: несмотря на побои, какъ они часто любятъ русскихъ и жалуютъ ихъ пороки, и никогда «по Гоголевски» не издѣваются надъ ними. Надъ порокомъ нельзя смѣяться, это — преступно, зѣфирски. И своею и нравственною, и культурною душою, они никогда этого не дѣлають. *Я за всю жизнь никогда не видѣлъ еврея, посмѣявшагося надъ пьянымъ или надъ лѣнивымъ русскимъ.* Это что-нибудь значитъ среди оглушительнаго хохота самихъ русскихъ надъ своими пороками. Среди папихъ очаровательныхъ: «Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Щедринъ, Островскій». А вотъ слова, которыя я слышалъ: «Послушайте, какъ вы смотрите на русскаго священника?» — «При всѣхъ его недостаткахъ, я все-таки люблю его». — «Люблю? Это — мало: можно ли не читать его: онъ подучаетъ корку хлѣба, т. е. сельскій священникъ, а сколько труда, сколько труда онъ несетъ». Это докторъ

Розенблюмъ, въ Лутѣ, въ 1910 г. Я думаю, онъ нѣмецъ. Разспросилъ — еврей. Когда разбиралось дѣло Папченко («Де-Ласси и Папченко»), пришлось при экспертизѣ опросить какого-то врача -еврея, и онъ сказалъ серьезно: «Я вообще привыкъ думать, что *русскій врачъ есть достойное и нравственное лицо*». Я такъ былъ пораженъ обобщенностью вывода и твердостью тона. И за всю жизнь я былъ поражаемъ, что не смотря на побои («погромы») взглядъ евреевъ на русскихъ, на душу русскую, на самый даже пессимистическій характеръ русскихъ — уважительнъ, серьезенъ. Я долго (многіе годы) приписывалъ это тому, что «евреи хотятъ еще больше развратиться русскимъ»: но покоряется дѣло истинѣ своей, и я въ концѣ концовъ вижу, что это — не такъ. Что стояло безумное оклеветаніе въ душѣ моей, а на самомъ дѣлѣ евреи уважаютъ, любяще и трогательно относятся къ русскимъ, даже со страннымъ противъ европейцевъ предпочтеніемъ. И на это есть причина: среди «свинства» русскихъ, есть правда одно дорогое качество, — интимность, задушевность. Евреи — тоже. И вотъ этою чертою они ужасно связываются съ русскими. Только русскій есть пьяный задушевный человѣкъ, а еврей есть трезвый задушевный человѣкъ.

Огромный красивый солдатъ, въ полу-сумракѣ уже, говорилъ мнѣ:

— Какъ отвратительно... Какъ отвратительно тонъ заподозриванія среди этого Совѣта солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ. Я пришелъ въ Таврическій Дворецъ и не вѣрю тому, что вижу... Я пришелъ съ вѣрою въ народъ, въ демократію...

Такъ какъ я пришелъ «безъ вѣры», то горячо и какъ бы «хватаясь за его руку», спросилъ у него:

— Да *кто* вы?...

— Солдатъ изъ Финляндіи... Стою въ Финляндіи... Я, собственно, еврей...

— Я — русскій. Русскій изъ русскихъ. Но я хочу васъ поцѣловать. — И мы крѣпко поцѣловались.

Это было, когда я захотѣлъ посмотрѣть «солдатскихъ депутатовъ» въ мартѣ или апрѣлѣ 1917 года.

Въ томъ же мѣсяцѣ, но много позже:

Уголъ Литейной и Бассейной. Трамвай. Переполненъ. И стараются пожилой еврей съ женою сѣсть съ передней площадки, такъ какъ на задней «висятъ». Я осторожно и стараясь быть не очень замѣтнымъ — подсаживаю жену его. Когда вдругъ схватилъ меня за плечо солдатъ, очевидно не трезвый («ханжа»):

— Съ передней площадки запрещено садиться. Развѣ ты не знаешь?!?!

— Я всегда поражался, что эти господа и вообще вся російская публика, отбѣивъ у себя царскую власть «порывомъ», никакъ не можетъ допустить, чтобы человѣкъ тоже «порывомъ» вскочилъ на переднюю площадку вагона и поѣхалъ, куда ему нужно. Оттол-

кнувъ его, и продолжалъ поддерживать и пропихивать еврейку, ска-
завъ и еврею: — Садитесь, садитесь скорѣе!!»

Мотивъ былъ: еврей торопливо просилъ пропустить его «хоть
съ передней», ибо онъ спѣшилъ къ отходу финляндскаго поѣзда.
А всякій знаетъ, что значить «опоздать къ поѣзду». Это значить
«опоздать къ обѣду», и пошло разстройство всего дня. Я поэтому
и старался помочь.

Солдатъ закричалъ, крикнувъ и другимъ тутъ стоявшимъ сол-
датамъ («на помощь»): «тащите его въ комиссаріатъ, онъ оскор-
билъ солдата». Я, правда, кажется, назвалъ его дуракомъ. Я сму-
тился: «съ комиссаріатомъ я ко всякому обѣду опоздаю» (я тоже
спѣшилъ). Видя мое смущеніе и страхъ, еврей вступился за меня
— «Что же этотъ господинъ сдѣлалъ, онъ только помогъ моей жепѣ».

И вотъ, не забуду этого голоса, никогда его не забуду, потому
что въ немъ стоялъ пожъ:

— Ж-ж-идъ прок-ая-тый...

Это было такъ сказано.

И, какъ музыка, старческое:

— Мы уже теперь все братья («гражданство», «свобода», —
мартъ): зачѣмъ же вы говорите такъ (т. е. что «и еврей, и русскій
— братья», «нѣтъ больше евреевъ, какъ чужихъ и постороннихъ»).

Я не догадался. Я не догадался...

Я слышалъ всю музыку голоса, глубоко благороднаго и глу-
боко удивляющагося.

Потомъ уже, на завтра, и даже «сегодня» еще, я понималъ, что
мнѣ нужно было снять шапку и почти до земли поклониться ему,
и сказать: «Вотъ, я считаюсь врагомъ еврейства, но на самомъ дѣ-
лѣ я не врагъ: «и прошу у васъ прощенія за этого грубаго солдата».

Но солдатъ такъ кричалъ и такъ пытался схватить и дѣйстви-
тельно хваталъ за руку со своимъ «комиссаріатомъ», что въ попы-
хахъ я не сдѣлалъ естественнаго.

И опять звукъ этого голоса, какого на русской улицѣ, — ужъ
извините: на русской пох...ной улицѣ, — не услышишь.

Никогда, никогда, никогда.

«Мы уже теперь все братья. Для чего же вы говорите такъ?»

Еврей наивны; еврей бываютъ очень наивны. Тайна и пре-
лестъ голоса (дребезжащаго, стараго) заключалась въ томъ, что
этотъ еврей, — и такъ, изъ полу-образованныхъ, мѣщанъ, —
глубоко и чисто подѣрили, со всемъ восточнымъ довѣріемъ, что
эти шуты русскіе въ самомъ дѣлѣ «что-то почувствовали въ душѣ
своей», «не стерпѣли стараго произвола» и, вотъ, «возгласили сво-
боду». Тогда-какъ, по завѣтамъ русской исторіи, это были просто
Чичиковы, — ну, «Чичиковы въ помѣси съ Муразовыми». Но уже
никакъ не больше.

Форма. Фраза.

И вдругъ это такъ перерѣзало музыкой. Нельзя объяснить, не
умѣю. Но даже до Чудной Дѣвы мнѣ что-то послышалось въ голосахъ.

«Величить душа моя Господа и возрадовался духъ мой о Богѣ Спа-
сѣ моемъ».

Я хочу сказать, что все европейское какъ-то необыкновенно
грубо, жестко сравнительно съ еврейскимъ. Тутъ тайна Спрін и
ихъ жаркихъ странъ. Тутъ та тайна еще, что они Iowa слушаютъ не
двѣ тысячи лѣтъ, а пять тысячъ лѣтъ, да очевидно и слушаютъ-то
другимъ ухомъ. Ахъ, я не знаю что... Но я знаю, что не въ умѣ евре-
евъ дѣло, не въ дѣятельности и дѣловитости, какъ обыкновенно по-
лагаютъ, а совершенно въ иномъ... Дѣло заключается, или почти
должно заключаться въ какой-то таинственной Сулафими, которая у
нихъ разлита во всемъ, — въ иномъ осязаніи, въ иной воспримчиво-
сти къ цвѣтамъ, въ иной пахучести, и — какъ человѣка «взять»,
«обнять», «приласкать». Гдѣ-то тутъ. «Отъ человѣка къ человѣку».
Не «въ еврей», а въ «двухъ евреяхъ». И вотъ тутъ-то они и разлива-
ются во всемірность.

«Русскіе — общечеловѣки». А когда дѣло дошло до Арме-
ніи, — одинъ министръ иностранныхъ дѣлъ (и недавній) сказалъ:
«Намъ (Россіи) нужна Армения, а вовсе не нужно армянъ». Это
— дѣловымъ, строгимъ образомъ. На концѣ тысячелѣтія существо-
ванія Россіи. Т. е. не какъ восклицаніе, гнѣвъ, а (у министра)
почти какъ программа... Но въдѣ это значить: «согналъ бы и стеръ
съ лица земли армянъ, всехъ этихъ стариковъ и дѣтей, гимнази-
стовъ и гимназистокъ, если бы не было неприлично и не показа-
лось некультурно». Это тотъ же Герценъ и тотъ же социализмъ.
Это вообще русскій нигилизмъ, очевидно, *эпковичный* (Китъ Ки-
тычъ о жепѣ своей: «хочу съ кашей ѣмъ, хочу со щами хлебаю»).
Опять, опять «удѣлъ Россіи»: — очевидно, не русскимъ дано это
пониманіе въ удѣлъ. Несчастные русскіе, — о, обездоленные...
Опять же еврей: на что погромы. Въдѣ это ужасъ. И вотъ все-же
они нашли и послѣ нихъ все слова, какія я привелъ, — и порадо-
ваться русской свободѣ, и оцѣнить русскаго попа. Да и вообще
злого глаза, смотрящаго украдкою или тайно за спиною русскаго,
я у еврея не видалъ.

Я и хочу сказать, что дѣло заключается въ какой-то дѣловой
всемирности. — не отвлеченной, не теоретической, а съ другой
стороны — не взыхающей и слезливой, а практической и помога-
ющей. Самый «социализмъ ихъ», какъ я его ни ненавижу, все-таки
замѣчательнъ: все-таки въдѣ социализмъ выражаетъ мысль о брат-
ствѣ народовъ и братствѣ людей, и они въ него уперлись. Тутъ
только наивность евреевъ, которые рѣшительно не такъ умны, какъ
европейцамъ представляется, какъ европейцы пугаются. Они взя-
ли элементарно, первобытно, высчитывая по пальцамъ: «кто съ
чѣмъ, съ какимъ имуществомъ живетъ», и не догадываясь, что
все зависитъ отъ *какъ* этотъ человѣкъ живетъ; что можно жить
съ большимъ богатствомъ — *какъ съ аду* (наши Китъ Китычи)
и можно жить на кухнѣ, «въ прислугахъ» — «счастливейе господѣ».
Рѣшительно я замѣчалъ, какъ многіе господа живутъ печальнѣе,

грустнѣе, и раздраженнѣе своихъ прислугъ, которые — по самымъ лицамъ ихъ видно — живутъ «благословясь и въ благословеніи». Соціализмъ вообще — плоскѣе, доска, — и безмѣрная наивность евреевъ, что они восприняли его, что они повѣрили въ такой глупый счетъ арифметическихъ машинокъ. И я вѣрю, что это непремѣнно и скоро кончится. Имъ-ли, имъ-ли, послѣ *изъ-ли исторіи* и судебъ, — вѣрить этому... Имъ-ли, которые въ нѣтъ реализма («будь все какъ есть») произнесли: «лыня курящагося не погаси» и «трости надломленной не преломи», — и которые, если кто богатый обидѣнъ у нихъ, то община обязана не только содержать его, но и купить ему карету, если прежде была у него карета: дабы онъ не испытывалъ пермѣны въ самомъ уровнѣ своего положенія и не *скрѣбъ* черезъ самую мысль даже о немъ... Это именно нѣтъ благородства и человечности, и выраженная кухоннымъ, т. е. реальнѣйшимъ способомъ, «Такъ несчастно живутъ въ ихъ гетто» и ихъ «свинные кагалы». (Мнѣ сообщилъ это еврей торговецъ дамскими ботинками, въ совершенно темномъ вагонѣ, въ Спб., въ Варшавскомъ вокзалѣ; онъ былъ, что такая у нихъ рѣдкость, немного не трезвъ). Вотъ! вотъ! настоящая идея уравниенія бѣднаго и богатого: помочь бѣдному и *помощь богатому*, дабы оба держались на томъ же уровнѣ, безъ ощущенія разницы температуръ *привычной* жизни — просто *отъ роду*. О, гений универсальности и чуткости. Богачъ можетъ также скорбѣть и *страданія его могутъ быть величайшія*. Нельзя заискивающимъ глазомъ смотрѣть на богатство. Это — христианство. И чутъ ли именно по зависти, а не по «благости» — социализмъ есть воистину христианское явленіе. Самый «социализмъ» или «социализация» — безъ христианства — выразился бы пожалуй въ другомъ, иначе: обѣдаю *самъ*, но и еще лишнему, гостю, *чужому съ улицы* — даю обѣдъ, сажаю съ собой его за столъ, *не отягощаясь*, что это чужой. Социализмъ выразился бы *близостью*, социализмъ выразился бы *любовью*; а не — «перерву горло» у солдата, закричавшаго: «жить проклятый». Словомъ, социализмъ выразился бы тоже однимъ изъ таинственныхъ вѣяній Суламифи, какимъ — мы не знаемъ, если бы онъ былъ оригинально-евреенъ, а не подражательно-евреенъ (отъ европейцевъ). Да вотъ: «Дай, я умою ноги тебѣ», о нищемъ, о бѣдномъ.. Тутъ именно «дотронуться», дотронуться до бѣднаго. Какъ я и сказалъ: «надо пощупать кожу его».

Суть вещей. Суламифъ. Вѣдь вся Пѣсня Пѣсней — пахуча. Тайна вещей, что онъ не «добръ», а нѣженъ. Добро — это отвлеченность. Добро — это долгъ. Всякій «долгъ» надобѣсть когда-нибудь дѣлать. Тайна міра, тайна всего міра заключается въ томъ, чтобы *мнѣ самому было сладко дѣлать сладкое*, и вотъ тутъ секретъ: «Сними обувь, и я взявъ холодной воды — проведу по подошвамъ твоимъ, по подъему ноги, по пальцамъ». Тутъ такъ близко, что уже есть любовь. «Я замѣчу старую морщину у старика, — да и такъ можетъ выйти случай, шутка около омовенія ногъ». Это вообще такъ близко, что не можешь не завязаться шутка и анекдотъ «около но-

ги». Ну, вотъ, видите: а разъ шутка и анекдотъ, то уже никогда не выйдетъ холоднаго, холоднаго потому, что формальнаго *fraternité, égalité*. Къ великимъ прелестямъ европейской исторіи относится то, что при всей древности и продолжительности ея — никогда у нихъ даже не мелькнуло сказать такой пошлости. Такой невѣрности и такой несправедливости. Ибо вѣдь нужно и истину и справедливость перевернуть вверхъ дномъ, дабы между неодинаковыми, ничего между собой не имѣющими общаго людьми, установить *égalité*, да и еще родственное — *fraternité*.

Прямо чувствуюсь франтовъ и маркизовъ 18 вѣка, *fin du siècle XVIII*. А это: «Около тебя *раба твоя Руфъ*...» — *И будетъ мнѣ по глаголу твоему*... Какіе все тоны! Ты плачешь, европеецъ. Плачь же. Плачь бѣдными своими глазами. Плачь: потому что въ оригинальной своей исторіи ты вообще не сотворилъ такихъ словооборотовъ, сердцеворотовъ, умоворотовъ. Вся душа твоя плоше, суше, холоднѣе. О, другое солнце, другое солнце. Другая пахучесть, иные травы. И — посмотрите, королевы-ли, маркизы, жены, любовницы: вѣдь Суламифъ — всего только любовница. Любовница? И никто не отрицаетъ. Но жены стоятъ и рыдаютъ: «о, какъ хотѣли бы мы только побыть такою любовницею». И вотъ — посмотрите чудо, чудо уже въ нашей исторіи и «въ строгостяхъ нашихъ»: и церковь не отрицаетъ, что это — только любовница. Но и она рыдаетъ и говоритъ: «Какое чудо... Я знаю — *кто* она, эта Суламифъ: и не осуждаю, и обнимаю ноги ея, потому что она вся прекрасна и благородна, и нѣтъ лучшей между женами по чистотѣ мыслей и словъ».

И чувствуете ли вы, европейцы, что вотъ уже весь міръ преобразенъ. Нѣтъ вашихъ сухихъ категорій, нѣтъ вашихъ плоскихъ категорій. Гдѣ юриспруденція? гдѣ законы? Нѣтъ, гдѣ — гордость? А изъ нея у Европы все. Вся Европа горда и изъ гордости у нея все. Не надо! Не надо! Небо, небо! Небо дай намъ! А небо...

Оно тамъ, гдѣ рабство. Гдѣ рабы счастливые господъ. А «гдѣ рабы счастливые господъ» — это тайна Израиля. Ибо по-истинѣ Суламифъ была счастливые Соломона и Агарь прекраснѣе Авраама. Вотъ.

Еще о «Сынѣ» въ отношеніи «Отца»

...Въ сынахъ человѣческихъ, — сынахъ земныхъ и несовершенныхъ, — такъ это и происходитъ, что «сынъ рождается, если отецъ былъ не ПОЛОНЫ. Если онъ не круглъ, не закругленъ (зерно, *ВИДЪ* зерна, онтологическое основаніе закругленности *ВСЯКИХЪ* *ВООБЩЕ* *ЗЕРЕНЪ*), если онъ — УГЛОВАТЬ.

Сынъ, дѣти въ сынахъ человѣческихъ всегда *НЕ ПОХОДЯТЪ* на отца, и скорѣе *ПРОТИВОЛЕЖАТЪ* ему, нежели его повторяютъ собою. Мысль о *тавтологии* съ отцомъ, не *отличимости* отъ отца противорѣчитъ закону космической и онтологической цѣлесо-

образности. Повторение вообще как-то глупо. Онтологически — оно невозможно.

Посему кто сказал бы: «я и отец — ОДНО, вызвал бы отъёмом недоумения: «Къ чему?» — «Зачемъ повторение?». Нетъ, явно, что сынъ могъ бы «прийти» только чтобы «восполнить отца» какъ несовершеннаго, лишенаго полноты и вообще недостаточнаго. Безъ онтологической недостаточности отца не можетъ быть сына, хотя бы отецъ и былъ «вѣчно рождающимъ» и даже только въ сути своей именно «рождающимъ». Но онъ «рождаетъ міръ» и, наконецъ, имѣетъ даръ, силу и красоту рожденія, хотя бы даже безъ выраженія ея на землѣ или въ исторіи. Вѣрнѣе, онъ именно *продолжаетъ* и доселѣ сотворять міръ, *соучаствуя* всѣмъ *творямъ* безъ исключенія въ родахъ ихъ; составляетъ *перез* и *итъ* ихнихъ родовъ, отъ цвѣтка и до человѣка, безъ преимущества цвѣтку или человѣку. Но чтобы появился сынъ, какъ имянность или лицо, то это могло бы быть только, чтобы сказать нѣчто *новое* землѣ и *совершить* на ней тоже *новое*. Безъ новизны нѣтъ сына. Сказать *иное* отъ отца и именно *отличное* отъ отца — вотъ для чего могъ бы «прийти» сынъ. Безъ противорѣчія отцу не можетъ быть сына.

Такъ это и изложено въ самомъ Евангеліи. «Древніе говорятъ..., А (НО) — Я говорю». На самомъ дѣлѣ это говорили не древніе люди, но — *законъ* ихъ, вышедшій отъ Отца. Возьмемъ же «око за око» — и «подставь ланиту ударишему тебя». «Око за око» — есть основаніе онтологической справедливости наказанія. Безъ «око за око» — *бысть* преступленіе и *нѣсть* наказанія. А «наказаніе» даже въ упрекъ совѣсти (и въ немъ *силнѣе*, чѣмъ въ физикѣ) — оно *ЕСТЬ*, и оно *онтологично* міру, т. е. однопространственно и одновременно міру, въ душѣ его лежитъ. И отъ того, что оно такъ *положено* въ міръ, положено Отцемъ небеснымъ, — Христова «ланита», въ противоположность Отцовскому (какъ и *вездѣ*) *милосердію*, — довела человѣчество до мукъ отчаянія, до мыслей о самоубійствѣ, или — до безконечности обезобразила и охаотила міръ. Между прочимъ, на это показываютъ слова Апостола Павла: *Будный* и *человѣкъ*, *кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти*. Это — прямо вопль Каина; и относится онъ безспорно къ винѣ отъѣмы обрѣзанія т. е. къ разрушенію имъ, уже совершенно явно, всего Вѣтхаго Завѣта, при полномъ непониманіи этого Завѣта. Какъ и *вездѣ* въ Евангеліи, при «пустякахъ» ланиты, дѣлая пустое облегченіе человѣку, — Христосъ *на самомъ дѣлѣ невыносимо тяготилъ* человѣческую жизнь, усѣялъ ее «терніями и волчцами» колючекъ, чего-то рыхлаго, чего-то несбыточнаго. На самомъ дѣлѣ, «справедливость» и «наказаніе» есть то «обыкновенное» и то «нормальное» земного бытія человѣческаго, безъ чего это бытіе потеряло бы уравниванность. Это есть то ясное, простое и вѣчное, что именно характеризуетъ «полноту» отца и его вѣчную основательность, — кончающую короткое короткимъ, — на мѣсто чего стали слезы,

истерика и сентиментальность. Настала Христова мука, настала Христова смута.

Приказъ № 1

превратившій одиннадцатью строками одиннадцатимилліонную русскую армію въ труху и соръ, не подѣйствовалъ бы на нее и даже не былъ бы вовсе понятъ ею, если бы уже 3/4 вѣка къ нему не подготавливала вся русская литература. Но нужно было, чтобы — гораздо ранѣе его — начало слагаться пренебреженіе къ офицеру, какъ къ

дураку
фанфарону
трусу,

во всѣхъ отношеніяхъ къ —

ничтожеству

и отчасти къ

вору.

Для чего надо было сперва посмотрѣть на Скалозуба въ театрѣ

и прочитать, какъ

умывался

генераль Ветрищевъ, пишущій «Исторію генераловъ Отечественн. войны», — у Гоголя, фыркая въ носъ Чичикову. Тоже — и самому Толстому надо было передать, какъ генералы храбрятся по виду, и стараются не нагнуться при выстрѣлѣ, но нагибаются, вздрагиваютъ и трясутся въ душѣ и даже наяву.

Когда вся эта литература прошла, — прошла въ гениальныхъ по искусству создателяхъ «русскаго пера», — тогда присяжный повѣренный Соколовъ «снялъ съ нея сливки». Но еще болѣе «снялъ сливки» Берлинскій Генеральный Штабъ, охотно бы заплатившій за клочекъ писанной чернилами бумажки всю сумму годового дохода Германіи за годъ.

«Приказъ № 1» давно готовился. Безспорно, онъ былъ заготовленъ въ Берлинѣ. Берлинъ вообще очень хорошо изучилъ русскую литературу. Онъ ничего не сдѣлалъ иного, какъ *выжалъ* изъ нея соль. Онъ отбросилъ цѣлебное въ пей, чарующее, истинное. «На войнѣ какъ на войнѣ»... «Эти ароматы намъ не нужны». «Намъ, — нѣмцамъ на рѣкѣ Шпрее...»

Отъ ароматовъ и благоуханій онъ отдѣлалъ ту каплю желчи, которая несомнѣнно содержалась въ ней. Несомнѣнно — содержалась. И въ нужную минуту поднесъ ее Россіи.

Именно ее.

Ее одну.

Каплю болѣе роскошно выработанную золотою русской литературой.

«Пей. Ты-же ее любила. Растила. Холила».

Россия выпила и умерла.

Собственно, никакого нѣтъ сомнѣнія, что Россію убила литература. Изъ слагающихъ разложителей Россіи ни одного нѣтъ не литературнаго происхожденія.

Трудно представить себѣ... И, однако — такъ.

Къ читателю, если онъ другъ. — Въ этотъ страшный, потрясающій годъ, отъ многихъ лицъ и знакомыхъ, и вовсе неизвѣстныхъ мнѣ, я получалъ, по какой-то догадкѣ сердца, помощь и денежную и съѣстными продуктами. И не могу скрыть, что безъ таковой помощи я не могъ бы, не сумѣлъ бы пережить этотъ годъ. Мысли и страхи и тоска самоубійства уже мелькали, давили. Увы: писатель — сомнамбула. Лазить по крышамъ, слушаетъ порохи въ домахъ: а не поддержки или не удержки его кто-нибудь за ноги, если онъ проснется отъ крика къ дѣйствительности, ко дню и пробужденію, онъ сорвется съ крыши дома и разобьется на смерть. Литература великое, самозабвенное счастье, но и великое въ личной жизни горе. Черныя тѣни, уголь: но и молодая зось (заря) эллиновъ. За помощь — великая благодарность; и слезы не разъ увлажняли глаза и душу. «Кто-то помнитъ, кто-то думаетъ, кто-то догадался». «Сердце сердцу вѣсть сказало». Также въ своемъ родѣ сомнамбулиамъ пространство, время и уже читательской души и ея благородныхъ свидѣній. Естественно каждому своя душа открыта, и о своей душѣ я знаю, какъ она ласкается и бережется (главное!) и хочетъ унѣжить и уинтимить (сдѣлать интимною) душу читателя. «Интимное, интимное берегите: всѣхъ сокровищъ міра дороже интимность вашей души! — то, чего о душѣ вашей никто не узнаетъ!» На душѣ читателя, какъ на крыльяхъ бабочки, лежитъ та нижняя послѣдняя пыльца, которой не смѣетъ, не знаетъ коснуться никто кромѣ Бога. Но вотъ и обратно: значить, интимность души читателя взяла внутрь себя интимную душу писателя. «Какъ ты тревоженъ, мой авторъ. Откуда у тебя такіе сны и страданія?».

О чемъ ты говоришь, вѣтеръ ночной

Какую навѣваетъ бѣду?

Усталъ. Не могу. 2-3 горсти крупы, пять круто испеченныхъ яищъ, можетъ часто спасти день мой. Что-то золотое брезжится мнѣ въ будущей Россіи. Какой-то въ своемъ родѣ апокалипсическій переворотъ уже въ возрѣвѣвшихъ историческихъ не одной Россіи, но и Европы. Сохрани, читатель, своего писателя, и что-то завершающее мнѣ брезжится въ послѣднихъ дняхъ моей жизни. В. Р.

Сергѣевъ Посадъ, Московск. губ.,

Красюковка, Полевая ул., домъ

свящ. Вьялева.

ВЫПУСКИ ВОСЬМОЙ И ДЕВЯТЫЙ

1. Христіанинъ. 2. La divina comedia. 3. Странность. 4. Perturbatio aeterna. 5. Надавило шкафомъ. 6. О отпастяхъ міра.

Христіанинъ

Точно онъ больной и всѣхъ заподозриваетъ, что они больны еще какими то худшими болѣзнями, нежели онъ самъ. Только къ одному, къ власти, онъ не чувствуетъ подозрѣнія. Власть всегда добра, блага, и собственно потому, что онъ лѣнивъ и власть обѣщаетъ ему е.о устроить, какъ калѣку.

Благотвореніе, которое вездѣ восполняетъ недостатокъ, у христіанъ есть нормальное положеніе. Тутъ все благотворять «имѣю братію» и какая то нищета имущества, тѣла и духа — вотъ христіанство. «Худошащие люди».

Когда славяне позвали «варягъ изъ-за моря» управлять себѣ, управлять своею «обширною и богатою землею», они показали себя какими-то калѣками уже до рожденія. Ужасно.

Ужасно и истинно. И до сихъ поръ, до нашего даже времени, я наблюдалъ, что все получше землицы, «покруглѣе», поудобнѣе мѣстоположеніемъ — въ рукахъ нѣмцевъ или евреевъ. «Лача Штоля», «имѣніе Винклера». За 15.000 Штоль скупилъ лѣса и земли около трехъ огромныхъ озеръ и уже черезъ семь лѣтъ ему предлагали за нихъ около 120.000 и онъ ихъ не продалъ. Онъ зналъ, что ввухъ его возьметъ за несъ миллионъ. Это точъ въ точъ. «А-ряговъ». Провалъ безъ сомнѣнія помѣщикъ, обезпечивавшій свою кухарчѣйку съ дѣтьми. «Ей больше 15.000 не надо. А знаешь — и мнѣ»; я же проживу при ней. Она меня кстати пускаетъ и въ картишки перекинуться». Поэты.

У насъ вездѣ Нали и Дамаянти. Художественная нація. Съ анекдотомъ.

И вотъ такъ мы живемъ. Но вернемся къ христіанамъ. Нѣтъ яснаго, добраго, веселаго глаза. Все всѣхъ осматриваютъ, въ всѣхъ подозрѣваютъ. Все о всѣхъ сплетничаютъ. «Христіанская литература» есть почти исторія христіанской сплетни. Посмотрите беллетристику, театр. Это почти сплошное злословіе.

Какъ ужасно. И еще какъ ужаснѣе любить все это. Стояю и люблю, стою и люблю. Привычка, традиція. Ахъ, «мои бѣдные родители».

La Divina comœdia

Съ лязгомъ, скрипомъ, визгомъ опускается надъ Русской Исторіею желѣзный занавѣсъ.

— Представленіе окончилось.

Публика встала.

— Пора одѣвать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шубъ, ни домовъ не оказалось.

Странность

Много въ Евангеліи притчей, но гдѣ же молитва, гимнъ, гдѣ псаломъ? И почему-то Христосъ ни разу не взялъ въ руки арфу, свирѣль, цитру и ни разу не «воззвалъ»? Почему Онъ не научилъ людей молиться, разрушивши въ то же время культъ и Храмъ? И о Храмѣ явно сказавъ, что Онъ его разрушитъ; какъ и объ Іерусалимѣ — тоже велительно предсказавъ, что онъ падетъ и разрушится. Разрушится такое средоточіе молитвъ и молитвенности, какого, конечно, не было нигдѣ еще на землѣ. Почему то таинственно и несповѣдно людямъ никогда не пришло на умъ, что Евангеліе есть религіозно-холодная книга, чтобы не сказать — религіозно-равнодушная. Гдѣ не поютъ, не радуются, не восторгаются, не смотря на Небо; и гдѣ вообще какъ то ужъ очень «не похоже на рай первобытныхъ человечковъ». Не пришло на умъ никому, что если чѣмъ болѣе всего Евангеліе удивляетъ и поражаетъ, то это религіозною *трезвостью*; близкою уже къ рационализму; и гдѣ «пары» не идутъ ни «сверху», ни «снизу». Притча, «притча», — «вышелъ сѣять сѣять въ поле», — все это какъ будто уже приуготовлено для Гарнака и священника Григорія Петрова; рассказъ «изъ житейскаго» на поучительную обыденную «мораль»... Сверхъ Гарнака, надо бы еще прибавить и Фарраріа: но гдѣ же тутъ религія? Гдѣ, главное онъ, псаломъ — существо всего дѣла? И этотъ Царь, *неудержимо поющій* Богу?

«Какъ лань желаетъ на источники воды, такъ душа моя тоскуетъ по Тебѣ, Боже»...

На большемъ, всетаки очень большемъ протяженіи Евангелія, только всего одна молитва въ семь строкъ. И какъ она вся послѣдовательна, отчетлива. Это — логика, а не молитва; съ упоминаніями о томъ и о томъ-то, но безъ умиленія, безъ юты восторга. Это какое то продолговатое «дважды $\times$ два = Боже».

Развѣ это то, что «молитва мытаря», великая, прекрасная, *единственная*. Но возьмите же глаза въ руки: это вовсе не молитва Христа, а случайно подслушанная евангелистомъ *именно молитва человека мытаря*. Не поразить ли cadaго, что у Христа въ молитвѣ «Отче нашъ» — *меньше нужна молитвенности*, нежели у этого бѣднаго челоѣка. И вообще мы не слышимъ молитвъ и любящихъ

изліяній сердца именно Христа къ Отцу Своему, что такъ естественно-бы отъ Сына, что такъ ожидалось-бы отъ Сына. Люди молятся, но Христосъ не молится. Молится гдѣ то Фарисей, въ отодвинутости, въ отстраненіи, въ какой-то *ладливой тѣнѣ*, и какъ это параллельно и какъ бы «поддерживаетъ» уже предрѣшенное разрушеніе Храма и Іерусалима, и всего племени Израильскаго. «*Такъ они молились, и чего же ждать отъ этого племени?*» Между тѣмъ *теперь* мы уже знаемъ Симона Праведнаго, бентъ-Юхая, равви Акибу. Они молились *вовсе* не «такъ»... Да что, Іона: даже «попавъ въ чрево китово», онъ всетаки «всталъ на молитву», и «воззвалъ»: не былъ же и онъ фарисеемъ и не для фарисейства онъ молился. Іона невидимо и прекрасно защищаетъ и — *фарисей*. Евреи молились *вовсе* не такъ, какъ описано въ Евангеліи, и въ Евангеліи содержится клевета на молитвы евреевъ. Эти утормоленные жидки, и Симонъ Праведный, и Акиба, бѣгали, суетились, кричали, кричали на народъ, но никогда «торжественно не становились въ позу», не произносили словъ, во-истину проклятыхъ. Единственно, въ чемъ они «прегрѣшили противъ Евангелія» — это что такъ любили и Храмъ, и городъ и народъ....

Какое то странное угашеніе молитвенности... Сколько путешествуютъ въ «Дѣяніяхъ» и — нѣтъ что бы помолился кто, отправляясь въ путь; и нѣтъ чтобы помолился кто, вернувшись благополучно съ дороги. А столько — хлопотъ. Нельзя не замѣтить пасмѣшливо: «ты слишкомъ хлопочешь, Марфа, — присядь къ ногамъ Отца Небеснаго»... Но именно Отецъ Небесный загадочно на умъ никому не приходитъ: только — *Сынъ*, вездѣ *Сынъ*, замѣщающій Отца... Между тѣмъ, что же такое *молитва*, какъ не исчерпывающее отношеніе дитяти-человѣка къ Богу? И вотъ именно она то таинственно исчезаетъ. Только разсуждаютъ. И приходитъ на умъ, что арфу Давида, лиру Ашолона и свирѣль Марсіа, — *мы окидываемъ весь древній міръ*, — отныня замѣнять богословствующіе споры. И что пожалуй тайный-то ноумень Евангелія и всего «дѣла евангельскаго и лежалъ въ перемѣнѣ — музыки молитвы на «*Cogito ergo sum*» богословія.

Perturbatio Aeterna

— Азъ же глаголю вамъ: *первые да будутъ послѣдними, а послѣдніе стануть первыми*.

И спросили Его ученики: «Но, Господи: до какого *предѣла* и въ какихъ *срокахъ*?»

И паки рекъ:

— «Первые да будутъ послѣдними и послѣдніе первыми».

— «Но, учитель благой: если — *такъ*, то какое же царство устоитъ, и какая земля останется тверда, если все станетъ класться верхомъ внизъ, а снизу — на-верхъ?»

И рекъ снова: — «первые да будутъ послѣдними, а послѣдніе стануть первыми».

Ученики же глаголаша: — «По если это не мѣдъ бряцающая и не кимвалъ звенящій: то какъ вырасти овощу, если будетъ не гряда съ лежащею землею, а только *мельканіе* заступа, переворачивающаго землю со стороны на сторону?»

И накіа еще рекъ: «Азъ же истинно, истинно глаголю вамъ: первые стануть послѣдними, а послѣдніе первыми».

И убоились ученики Его. И отойдя — совѣщались. И качали головами. И безмолствовали.

По зашумѣла исторія: заговоры, бури, перевороты. Смятенія народныхъ волнъ.

И всѣ усиливаются подняться къ первенству. И никто долго не можетъ его удержать, а идетъ ко дну.

Во-истину: «Пошли серпъ твой на землю: и пусть пожнетъ растущее на ней» (Апокал.).

«И былъ плачъ и скрежетъ зубовъ. И земля была пожата».

«Онъ (Раскольниковъ) пролежалъ въ больницѣ весь конецъ поста и Святую. Уже выздоравливая, онъ припомнилъ свои сны, когда еще лежалъ въ жару и бреду. Ему *презилось* съ болѣзни будто *весь міръ осужденъ въ жертву какой-то странной, несмысленной и неведомой моровой язвы, идущей изъ глубины Азии на Европу. Всѣ должны были погибнуть*, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ избранныхъ. Появились какія то новыя тварины, существа микроскопическія, оселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились тотчасъ-же сумасшедшими и бисноватыми. Но никогда, никогда люди не считали себя такъ умными и непоколебимыми въ истинѣ, какъ считали зараженными. Никогда не считали непоколебимѣе своихъ приговоровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ убѣждений и вѣрованій. Цѣлыя селенія, цѣлые города и народы заражались и сумасшествовали. Всѣ были въ тревогѣ и не понимали другъ друга, — всякій думалъ, что въ немъ одномъ и заключается истина, и мучился, глядя на другихъ, билъ себя въ грудь, плакалъ и ломалъ себѣ руки. Не знали, кого и какъ судить, не могли согласиться, что считать зломъ, что добромъ. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали другъ друга въ какой то безсмысленной злобѣ. Собирались другъ на друга цѣлыми арміями, но *арміи, уже въ походъ вдругъ начинали сами терзать себя, ряды разстраивались, воины бросались другъ на друга, колотились и рѣзались, кусали и били другъ друга. Въ городахъ цѣлый день были въ набатъ: созывали всѣхъ: но кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того, а всѣ были въ тревогѣ. Остались самыя обыкновенныя ремесла, потому что всякій предлагалъ свои мысли, свои поправки, и*

не могли согласиться. Остановилось земледѣліе. Кое-гдѣ люди *сбѣгались въ кучи, соглашались вмѣстѣ на что-нибудь, клялись не разставаться*, — но тотчасъ-же начинали что-нибудь совершенно другое, чѣмъ сейчасъ-же сами предполагали, начинали *обвинять другъ друга, дрались и рѣзались. Начались пожары, начался голодъ. Всѣ и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спаслись во всемъ мірѣ могли только нѣсколько людей, — это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю*. («Преступленіе и наказаніе», изданіе 1884 года, страница 500-501).

«И вышедши, Іисусъ шель отъ Храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему зданіе Храма».

«Іисусъ же сказалъ имъ: *видите ли все это? Истинно, истинно говорю вамъ: не останется здѣсь камня на камнѣ, Все будетъ разрушено*». (Евангеліе отъ Матвея, глава 24, 1-2).

И спросилъ Его Іоаннъ: «Господи, кто предастъ Тебя?» Іисусъ же отвѣтилъ: — «кому Я, обмакнувъ въ соль, подамъ кусокъ хлѣба — тотъ предастъ Меня». И, обмакнувъ, подаль Іудѣ. И *тотчасъ вошелъ Сатана въ душу Іудѣ. И онъ, вставъ, пошелъ и предалъ Его*.

«Не-бѣ врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ яко Іуда...»

«Не спешите колебаться умомъ, и смущаться ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ посланія какъ бы нами посланнаго, будто бы наступаетъ уже день Христовъ».

«Да не обольститъ васъ никто никакъ: ибо день тотъ не прійдетъ, доколь не прійдетъ прежде отступленіе, и не откроется человекъ грѣха, сынъ погибели»;

«Противишійся и превносяшійся превъше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что въ Храмъ Божіемъ сядетъ Онъ, выдавая себя за Бога».

«И нынѣ вы знаете, что не допускаетъ открыться Ему въ свое время».

«Ибо тайна беззаконія уже въ дѣйствіи, только не совершится до тѣхъ поръ, пока не будетъ взятъ отъ среды удерживающій теперь».

«И тогда откроется беззаконникъ — тотъ, Котораго приходъ по дѣйствію Сатаны будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными».

«И со всякимъ неправеднымъ обольщеніемъ погибающихъ»

(«Второе послание Апостола Павла къ Θεσσαλονικійцамъ». Глава 2, 2 - 10).

.....
«Я испыталъ тѣхъ, которые называютъ себя Апостолами, и они не таковы, и нашелъ, что они — лжецы.

«И они говорятъ о себѣ что они — іудей, но они не таковы, а — *сборище сатанинское*» (Апокалипсисъ, глава 2, 2-3).

Надавило шкафомъ

Нельзя иначе, какъ отодвинуть шкафъ, спасти или вѣрнѣе избавить отъ непомѣрной вѣчной муки цѣлую народность, 5-8-10 миллионовъ людей, сколько — не знаемъ: но вѣдь даже *и одного человека задавить* — страшно. И вотъ онъ хочетъ дышать и не можетъ дышать. «Больно», «больно», «больно». Но между тѣмъ кто же отодвинетъ этотъ шкафъ? Пѣтъ маленькой коротенькой строчки изъ исторіи христіанства, которая не увеличивала - бы тяжести давленія.

«Кто можетъ отодвинуть блаженного Августина? Такой могучій, исключительный умъ. Кто можетъ отодвинуть Іоанна Златоуста? Одно имя показываетъ, каковъ онъ былъ въ словѣ. И апостола Павла? И ужъ особенно — Самого? Между тѣмъ, уже одинъ тотъ фактъ, что «живой находится подъ шкафомъ», содѣлываетъ какое-то содроганіе въ груди. «Какъ живой подъ шкафомъ»? «Какъ онъ попалъ туда»? Но — «попалъ». Притомъ — *кто?* Любимѣйшее дитя Божіе, которое отъ начала міра, отъ созданія міра, было любимѣйшимъ. И никогда Богъ отъ него не отвращался, и онъ Бога никогда не забывалъ.

«Человѣкъ подъ шкафомъ». — «Человѣкъ въ морѣ». И корабль остапавливается чтобы вытащить изъ моря. Бросаютъ сѣти, канаты, плавательные круги. «Вытащенъ». «Спасенъ». И все радуются. «Человѣкъ спасенъ». И не сѣтуютъ, что корабль задержался, что «долго ждали». Лишь бы «спасенъ былъ».

По сему «ходъ христіанскаго корабля» уже потому представляется страннымъ, что человѣкъ въ морѣ и никто не оглянется, все его забыли. *Забыли о человѣкѣ. О, о, о...*

Но «начать отодвигать шкафъ» и значить «начинать опять все дѣло сначала». «Не приняли Христа, а Онъ — Богъ нашъ». Какъ можно *намъ-то колебаться въ принятіи Христа?*

Надавила и задавила вся христіанская исторія. Столько комментаріевъ. Столько «примѣчаній». Развѣ можно сдвинуть такіа библіотеки? На евреевъ давить Императорская Публичная Библіотека, British Museum. И въ Испаніи — Университетъ въ Саламанкѣ, въ Італіи — Амвросіанская библіотека въ Венеціи. Господи, — все эти библіотечные шкафы надавили на грудь жидка изъ Шклова. А вѣдь знаете, какъ тяжелы книги.

Но человѣкъ не умираетъ, и все стонетъ. Хоть бы умеръ. Цивилизація легче было-бы дышать. А то невозможно дышать. Все стоны, стоны.

Странная стонущая цивилизація. Уже зло *пршествія Христа* выразилось въ томъ, что получалась цивилизація со стономъ. Вѣдь Онъ проповѣдывалъ «лѣто благопріятное». Вотъ въ этомъ по крайней мѣрѣ — Онъ ошибся: никакого «лѣта благопріятнаго» не получилось, а вышла цивилизація со стономъ.

Какая же это «благая вѣсть», если «человѣкъ въ морѣ» и «шкафъ упалъ на человѣка»?

Пѣтъ: во всемъ христіанствѣ, въ христіанской исторіи, — и вотъ какъ она сложена, вотъ какъ развивался ея спиритуализмъ, — лежитъ какое-то зло. И тутъ немощны и «цвѣточки» Франциска Ассизскаго и Анатоль Франсъ и Ренанъ.

«Человѣка задавило» и не хочу слушать «Подражаніе Фомы Кемпійскаго».

Три гороскопа

Есть-ли связь планеты съ обитающимъ ее человѣкомъ? И вообще — «о чемъ говорить солнышко?».... «Что тамъ въ звѣздахъ»? Шепчутъ-ли звѣзды? Или онѣ только тупо и пусто, какъ пустыя горшки, движутся по Копернику?

Объ этомъ говорили гороскопы. «Глупое знаніе древности», на которое при новой наукѣ не обращается никакого вниманія. Но новая наука, даже за мѣсяцы только не предрекала и теперешней войны. И, словомъ, «*Savoir pour prévoir.*» Конта — именно въ контизмъ его, именно въ позитивизмъ, какъ-то плоско расплылось...

Что-же такое «гороскопы»? Что такое они? Демонъ? Богъ? но и христіане, по крайней мѣрѣ на деревняхъ, «вѣрятъ въ судьбу»? Т. е. вѣрятъ въ тайную власть звѣздъ. И вотъ поразительно, что никто изъ историковъ не обратилъ вниманія на три поразительные «гороскопа» и, значить, «ведѣнія звѣздъ» — уже *исполншіеся*, и — какъ мы эти три гороскопа уже знаемъ изъ исторіи, и какъ историки о нихъ самымъ подробнымъ образомъ рассказываютъ. Громко. Отчетливо. Во услышаніе цѣлаго міра.

Одинъ гороскопъ — Іисуса Христа.

Другой гороскопъ — Апостола Петра.

Третій гороскопъ — Константина Великаго.

Одинъ былъ распятъ.

Другой — распятъ же, головою книзу.

Третій — Константинъ Великій — казнилъ

сына, по подозрѣнію въ связи его съ мачехою Фаустою. Этотъ сынъ былъ Криспъ. А самую жену, очевидно любимую, онъ сжегъ въ раскаленной банѣ.

Достоевскій въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ, что «планета не по-

пала Сздателя своего».... О, о, о.... Что-же, *зла* — *земля*? По онъ *самъ* говорить о «землѣ бѣлой, о землѣ «благой». Не онъ-ли сказалъ и «Святая Русь»? Вѣдь это — тоже планета, часть планеты. Нѣтъ, ужъ если что, то сама планета — бѣлая, хороша. И мы въ нее должны повѣрить. Ну, такъ, просто повѣрить. И вотъ эта наша «вѣримая» планета (по Достоевскому) сложила о *Немъ* и о *нихъ* такіе ужасающіе въ исторіи *безпримѣрные, леденящіе душу* гороскопы...

О, стоны...

Стоны, стоны, стоны...

Но, — которые такъ совпадаютъ со страхомъ евреевъ «перемѣнить туфлю».

Но какъ содержится въ этомъ ревушій подобно Мальстрему, — величайшій океанический водоворотъ, — ревъ Апокалипсиса:

— Они называютъ себя «Апостолами», а на самомъ дѣлѣ — исчадія Сатаны. И говорятъ: «Церкви», а на самомъ дѣлѣ — это сборища бѣсовскія....

О, о, о...

Ужасы, ужасы...

Ноумены планеты.

«И поколебались *основанія земли*» (Евангеліе о моментѣ распятія Христа).

«И сошелъ — *въ Присноподию*»... Ужасы, ужасы...

Какъ разбита планета. И гдѣ-же, земля, твои осколки?

Гороскопы, гороскопы, гороскопы. О какъ ужасны ихъ предсказанія.

Неужели это шопотъ звѣздъ? Бѣгите, историки, — зажимайте уши.

«Блаженны уши, которые ничего изъ человѣческой исторіи не слышали».

О сгратяхъ міра

Здѣшняя земная жизнь — уже таитъ корни не земной. Какъ и сказано:

Есть упоеніе въ бою...

Это — Марсъ и Арей, *божества* Марса и Арей; они — какъ боги.

И бездны мрачной на краю,

И въ бушеваніи урагана,

И въ дуновѣніи чумы...

Безсмертія, можетъ быть, залогъ.

Какая мысль, — какая мысль, *инстинктомъ*, — скользнула у Пушкина! Именно, — «залогъ безсмертія и *вѣчной жизни*». Это — «аидъ» и «елизій» древности: а какъ мы не повѣримъ имъ и ихъ *реальности* разъ у христіанина — Пушкина, у стихотворца — Пушкина, ничего о древнихъ въ минуту написанія стихотворенія не думавшаго, вдругъ и неожиданно, вдругъ и невольнo, вдругъ и неодоли-

мо — скользнула мысль къ грекамъ, къ римлянамъ, къ тартару и мыслямъ Гезіода и Гомера...

Также *миръ* ничего не приходило въ голову при видѣ гусеницы, куколки и бабочки, которыхъ я видалъ съ одной стороны — однимъ существомъ, но съ другой стороны, — столь-же выразительно, столь-же ярко, и — *не однимъ*.

Тогда, войдя къ друзьямъ, бывшимъ у меня въ гостяхъ, Каптереву и Флоренскому, естественнику и священнику, я спросилъ ихъ:

«Господа, въ гусеницѣ, куколкѣ и бабочкѣ — какое-же *я* ихъ?»

Т. е. «я» какъ-бы одна буква, одно слѣніе, одинъ лучъ.

«Я» и «точка» и «ничего».

Каптеревъ молчалъ, Флоренскій-же подумавъ сказалъ: «конечно, бабочка есть *энтелехія* гусеницы и куколки».

«Энтелехія» есть терминъ Аристотеля, и — одинъ изъ знаменитѣйшихъ терминовъ, имъ самимъ придуманный и филологически составленный. Одинъ средневѣковый схоластъ прозакладывалъ черту души, только чтобы хотя въ сновидѣніи онъ объяснилъ ему, что въ точности Аристотель разумѣлъ подъ «энтелехією». Но, между прочимъ и другимъ, у Аристотеля есть выраженіе, что «душа есть *энтелехія* тѣла». Тогда сразу опредѣлилось для меня — изъ отвѣта Флоренскаго («да и что иначе могъ отвѣтить Флоренскій, какъ не — *это* именно?»), что «бабочка» есть на *самомъ дѣлѣ*, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки.

Такъ произошло это, космогонически — потрясающее, открытіе. Мы, можно сказать, втроемъ открыли душу наѣкомыхъ, раньше, чѣмъ открыли и доказали ее у человѣка.

Сейчасъ — давай разсматривать, «что-же она дѣлаетъ?»

«Собираетъ нектаръ», «копается въ цвѣтахъ». Это подозрительно и *осудительно*. Но, въ самомъ дѣлѣ: у бабочки — совершенно *нѣтъ рта*, нѣтъ — ничего для питья и для привятія твердой пищи. Каптеревъ сейчасъ-же сказалъ, какъ натуралистъ: «у *нихъ* (онъ не сказалъ — у *всѣхъ*) — нѣтъ кишечника (я читалъ гдѣ-то, что, кажется — иногда, «не бываетъ кишечника»): значить это — что *нѣтъ и желудка*? Конечно! Что за странное... существо, бытіе? «Не питающееся». Да долго-ли онъ живетъ? Есть «мухи-поленки». Но, во всякомъ случаѣ — онъ, — и уже безспорно *всѣ*, — *совокупляются*. Значить, «міръ будущаго вѣка» по преимуществу опредѣляется какъ совокупленіе; и тогда проливается свѣтъ на его всеодолимость, на его ненасытимостъ, и, увы или «не увы», — на его «священство», что оно — таинство (таинство — брака). Открытій — чѣмъ дальше, тѣмъ — больше. Но явно, что у наѣкомыхъ, коровъ, вездѣ, — въ животномъ и растительномъ

міръ, а вовсе не у человека одного, — оно есть «тайнство, небесное и святое». И, именно, въ центральной его точкѣ — *въ совокупленіи*. Тогда понятна «застѣчивость половыхъ органовъ»: это — «жизнь будущаго вѣка входитъ черезъ это «въ загробную жизнь», «въ жизнь будущаго вѣка».

И, странно: тогда понятно *наслажденіе*; «Эдемъ блаженство». Но — и болѣе: обратимся къ «нектару цвѣтовъ». Дѣйствительно, поразительно то особенно, что насккомыя (не однѣ бабочки, но и жуки, «бронзовики», «Божія коровки») кошатся *въ громадныхъ относително себя* половыхъ органахъ деревьевъ, и особенно — кустовъ, розъ и проч., олеандровъ, и т. п., орхидей. *Чѣмъ цвѣты представляются для бабочекъ?* Вотъ-бы что надо понять, и что понять — *поуменально необходимо*. Но невозможно, что для каждаго насккомаго «дерево и цвѣтокъ». «Садъ и цвѣты» представляются «раемъ»... Да такъ вѣдь и есть: «лѣто, тепло; и — Солнце», въ лучи котораго онѣ влетаютъ: а съ цвѣтковъ «собираютъ нектаръ». Тогда нельзя не представить себѣ «соединеніе нектара и души», и что «душа — для нектара», а «нектаръ — для души». Въ третьихъ — мнѣ: «боги на Олимпѣ» питаются нектаромъ и амброзіей». Но и раньше мнѣ и параллельно ему: сколько свѣта проливается въ то, «почему цвѣты пахнутъ», и отчего-же у растений цвѣты — такіе огромные, что въ нихъ — «влѣзть цѣлому насккомому». Совершенно явно: *величина цвѣтовъ* — именно чтобы насккому войти *всему*. Тогда понятно, что «растенія слышать и думать» (сказки древности), да и вообще понятно, что онѣ «съ душою». О, *какою* еще... Но вотъ что еще интереснѣе: что «садъ», вообще всякій садъ, «нашъ и земной», есть немножко и не «нашъ» и не «земной», а тоже — «будущаго», «загробнаго вѣка». Тогда понятно — «зима и лѣто», ибо *изъ зимы и черезъ зиму*, пролежавъ зиму «въ землѣ», зернышко «встаетъ изъ гроба». Въ сущности, по закону — какъ и «куколка» бабочки.

Такимъ образомъ «наши поля» суть «загробныя поля», «загробныя нивы». Тогда конечно:

Когда волнуется желтѣющая нива

То въ небесахъ я вижу Бога

Вообще понятно — особенное и волнующее чувство, испытываемое человекомъ въ саду, испытываемое нами въ полѣ, испытываемое нами въ лѣсу, и — *раціоналистически никакъ необъяснимое*. Понятно, почему «Антей, прикасаясь къ матери-землѣ, опять становится въ силахъ». Въ «древности» вообще тогда очень многое объясняется; какъ равно у Достоевскаго его знаменитая, потрясающая, стоящая *всего* «язычника-Гете» фраза: «Богъ взялъ сѣмена изъ міровъ иныхъ и посѣялъ на землю. И взросло все, что могло возрасти. Но все на землѣ живетъ черезъ таинственное касаніе мірамъ инымъ». Тутъ — все язычество уже. Уже напр. весь

Египетъ, храмы коего — суть прямо рощи, колонны — деревья, непременно — деревья, съ «капителями-цвѣтами». Да и каждый-то нашъ садъ есть «тайственный храмъ», и не только «посидѣть въ немъ — поздоровѣть», но и «посидѣть — помолиться». Да и понятны тогда «священные рощи древности», понятна вообще «природа, какъ святая», а не «одно богословіе святое». Но вернемся еще къ страстямъ и огню.

Тайнственно черезъ нихъ и «оргіи» дѣйствительно проглядываютъ «жизнь будущаго вѣка». Вѣдь посмотрите, какъ подозрительно и осудительно ласкаются мотыльки съ цвѣтами. Дѣйствительно, — нельзя не осудить. Но... «жизнь будущаго вѣка», и... что подѣлаешь. Тогда понятно, откуда и почему возникли всѣ «оргіи древности»; и что «безъ оргій не было древнихъ религій». Вспомнишь «нектаръ и амброзію» Олимпа; и какъ на рисункахъ, *не смѣя словами*, — я объяснялъ въ «Восточныхъ мотивахъ» египетскія мистеріи. Просматривая теперь въ коллекціи монетъ — монеты всевозможныхъ странъ съ такими-же точь-въ-точь изображеніями, — я уже смотрѣлъ на нихъ съ родствомъ и нѣмымъ пониманіемъ; невысказанно и безмолвно, какъ я-же въ «Восточныхъ мотивахъ», древніе передали на нихъ любимыя свои «мистеріи», о которыхъ они *о всѣхъ и все* знали, но никто ни единымъ словомъ не обмолвился, какъ «о жизни будущаго вѣка», о которой *въ этой земной жизни навсегда должно быть сохранено молчаніе*.

Но... Такъ вотъ откуда — «наши страсти»!!!? Эти по петлѣ «протуберанцы солнца» (факелы, изверженія изъ тѣла солнца). Да ужъ и солнце не въ «страстяхъ»-ли? По-истинѣ, «и на солнцѣ есть — пятна». Одинъ Христосъ безъпятнистъ. А наше солнышко — съ грѣшкомъ, горитъ и грѣбѣтъ, горитъ и грѣбѣтъ: горитъ — и вотъ «по-веснѣ», когда его — «больше» когда оно не только грѣбѣтъ, но и начинается — горячить: тогда животныя всѣ забеременываютъ. Сила солнца, «грѣшокъ» солнца — переходитъ въ животныхъ. Все — тучнѣетъ, животы у всего — разрастаются. Сама земля — проситъ зерна... И вотъ — Деметра, вотъ — Гея, и опять — «Волнующая нива», которая «вздыхаетъ грудь къ молитвѣ». Что-же: сказать христіанству, что это «не правда»? И что въ однихъ духовныхъ академіяхъ — богословіе? Но гораздо болѣе богословія въ поднимающемся бытѣ на корову... И вообще:

Весна идетъ, весна идетъ

Вездѣ идетъ зеленый гулъ.

это — язычество, которое — истинно; это —

Аписъ и Серапеумъ.

Каптеревъ задумался и сказалъ: «Открыто наблюденіями, что въ гусеницѣ, *обившейся кокономъ, и которая кажется — умершею, начинается носль этого дѣйствительно перестраиваніе тканей тѣла*. Такъ что она не мнимо умираетъ, но — дѣйствительно умираетъ...

Только на мѣстѣ умершей гусеницы начинается становиться

что-то другое; но — именно *этой* определенной гусеницы, как-бы гусеницы — лица, как-бы съ фамилиею и именем: ибо из всякой гусеницы, *туда положенной*, и выйдет — *онъ та бабочка*. А если вы гусеницу эту проткнете, напр., булавкою, тогда и бабочки из нея не выйдет, ничего не выйдет, и гробъ останется гробомъ, а тѣло — не воскреснетъ». Тогда-то, тогда мнѣ стало понятно, почему феллахи (потомки древнихъ египтянъ, явно сохранившие всю ихъ вѣру) плакали и стрѣляли изъ ружей въ европейцевъ, когда тѣ перевозили муміи, извлеченныя изъ пирамидъ и изъ царскихъ могилъ. Они, эти шугилисты, заживо умершіе и прогукшіе, не понимая ни жизни, ни смерти, «нарушили цѣлость тѣла ихъ (феллаховъ) предковъ», и тѣмъ лишили ихъ «воскресенія». Они, о чемъ предупредилъ Кантеревъ, как-бы «разломали муміи пополамъ», или, все равно — пронзили иголкою «куколку», послѣ чего она приобщается *смерти безъ бытія*. Тогда мысль, что «бабочка есть душа гусеницы», «эпителия гусеницы» (Флоренскій) — еще болѣе утвердилась у меня: а главное — мнѣ разъяснилось и *доказалось*, что египтяне въ мышленіи и открытіяхъ «загробнаго существованія» шли тѣмъ-же путемъ, какъ я, т. е. черезъ «бабочку» и ея «фазы». Что это и для нихъ былъ путь открытій и «откровений», да вѣдь и вообще это — *истинно*. Тогда для меня ясны стали саркофаги-муміи. Кто видаль ихъ въ нижнемъ этажѣ Эрмитажа, тотъ не могъ не поразиться, раньше всего — *величиною*. Зачѣмъ — такой *большой*, огромный саркофагъ — для муміи умершаго, вовсе не большой? Но вѣдь это — «коконъ» куколки — человѣка и; строился саркофагъ непременно и именно по образцу кокона. Вотъ такой-же продолговато-гладкій какъ рѣшительно всякій коконъ, какой безусловно строить себѣ всякая гусеница — и египтяне въ себѣ изготовлялъ, «откукливался». И тѣло клалось — въ пелены, «завертывалось», какъ гусеница напр. шелковичнаго червя, прямо «выпуская изъ себя» шелковыя нити, прямо дѣлаетъ себѣ «шелковую рубашечку».

Поверхъ этого жестокая, коричневатая скорлупа. Это — саркофагъ, всегда коричневатаго однообразнаго тона. Кажется, онъ гипсовый, и тогда онъ и по матеріалу естества сходенъ съ оболочкою куколки, ибо что-то въ родѣ извести, какъ выпота, даетъ и тѣло гусеницы. Вообще, ритуаль погребенія у египтянъ вышелъ изъ подражанія именно фазамъ окукливающейся гусеницы. А главное — отсюда скарабей — жукъ — наѣдомое, какъ «символъ перехода въ будущую, загробную жизнь». Это знаменитѣйшее изъ божествъ Египта, можно сказать — самое великое ихъ божество. Почему — наѣдомое? Но — *тотъ-же путь*, какъ и у меня, разсужденія. Главное, самое главное, что египтяне открыли, — это «наѣдомо-образную будущую жизнь». И увѣковѣчили, что — именно *отсюда они ее открыли* — наѣдомыми, скарабеемъ. Это — благороднѣйшая память, т. е. воспоминаніе и благодарная память за свою родную исторію и тѣмъ главнымъ образомъ, былъ полонъ

смыслъ ихъ исторіи. Отсюда уже множество объясненій, напр. почему во время «пришествія» и особенно во время «домашнихъ пиршечекъ» — любили они «проносить муміи». Это — не печаль, не страхъ, не угроза. Не «окаянная угроза христіанъ смертію», — могущая прекратить всякую радость. Напротивъ, напротивъ: это — радость обѣщаній вѣчной жизни и *радости этой жизни, ея воздушности, ея прелести*. «Мы теперь радуемся еще не совершенно», «мы — въ пирѣ, но еще не полномъ». «Лишь когда все кончится — мы войдемъ въ полную любовь, въ совершенный пиръ, съ яствами, съ питіями. Но вино наше будетъ неистощимо, и питія наши — сладостнѣ всѣхъ здѣшнихъ, потому-что это будетъ чистая любовь, и матерьяльная-же, вещественная, но уже какъ-бы изъ однихъ лучей солнца, изъ свѣта и пахучести и эссенціи загробныхъ цвѣтовъ. Потому-что ужъ если *идти цвѣты* то — *за гробомъ*».

Небесныя розы! небесныя розы!! — и египтяне вносили мумію.

ПРИМЕЧАНИЯ

Апокалипсис Нашего Времени издан отдельными выпусками в 1918 году в Сергиевом Посаде (Склад издания в книжном магазине М. С. Елова).

В этих выпусках имеются следующие примечания автора:

в выпуске 2 — Удобнее для читателя и меня, если «Апокалипсис нашего времени» я переведу в форму журнала, — однако не предполагая его издавать долго. Ограничиваясь пока мыслью дать всего *десять номеров*, я прошу желающих подписаться на него выслать подписную сумму, 3 руб 50 коп., по адресу: *Сергиевъ посадь, Московской губернии, Красюковка, Полевая улица, д. свящ. Бѣляева, В. В. Розанову*. Пересылку по почте принимает на себя автор издатель. Имя, фамилия и точный адрес подписчика должны быть написаны четко.

в выпуске 4 — Прошу *Анну Васильевну Первольфъ* указать свой московский адрес: *В. В. Розанову, Сергиевъ Посады, Красюковка, Полевая ул., д. свящ. Бѣляева*.

в выпуске 5 — Вследствие повышения с февраля 1918 г. платы за пересылку печатных бандеролей почтою, прошу лиц, имеющих лично у меня подписку дослать *один рубль* за десять № № «Апокалипсиса нашего времени» по адресу: *Въ Сергіевъ Посады, Московской губ., Красюковка, Полевая ул., д. свящ. Бѣляева, В. В. Розанову*.

Всѣхъ выпусковъ «Апокалипсиса» заготовлено не менѣе 50-60, и только по техническимъ и денежнымъ препятствіямъ онъ растянется болѣе чѣмъ на годъ.

За величину статьи, слѣдующій выпускъ выйдетъ въ двойномъ размѣрѣ (т. е. сразу № № 6 и 7, за 70 коп.)

Очень рекомендую всѣмъ читателямъ «Апокалипсиса», взволнованнымъ революціею, прочесть брошюру: «Научный социализмъ или ученіе о прибыти какъ рангъ», инженера-технолога Трофимова, прекрасно раскрывающую софизмы, заложенные въ базу революцію.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Тезей (<i>трагедия</i>) Марины Цветаевой	5
Восстание Артема Веселого	84
Конец Ю. Тынянова	92
Москва под ударом Андрея Белого	104
Россия	114
Заветы Алексея Ремизова	122
Без догмата Л. П. Карсавина	129
Трагедия интеллигенции Е. Богданова	145
Искусство и культура В. Э. Сеземана	185
О метрике частушки кн. Н. С. Трубецкого	205
Парадокс буржуазного мирозозрѣнія Бернарда Грутхейсена	224
Заметки о современной французской литературе Рамона Фернандеза	231
Современная Английская Литература Е. М. Форстера	240
Вѣяніе смерти в предреволюционной литературе кн. Д. Святополк-Мирского	247
Библиография	255

МАТЕРИАЛЫ:

По поводу Апокалипсиса нашего времени П. П. Сувчинского	289
Апокалипсисе Нашего Времени В. Розанова	294

ВЕРСТЫ

СОДЕРЖАНИЕ №1.

Четыре стихотворения Сергея Есенина.
Поэма горы Марины Цветаевой.
«Потемкин» (из книги «1905 год») Бориса Пастернака.
Казнь Стецюры Ильи Сельвинского.
Казачья Походная » »
Цыганская » »
Цыганский вальс на гитаре » »
Частушки
Из книги «Николай Чудотворец» Алексея Ремизова.
Россия Алексея Ремизова.
История моей голубятни И. Бабеля.
Вольница Артема Веселого.
«Воистину» (Памяти В. В. Розанова) Алексея Ремизова.
Неистовые Рѣчи (по поводу экстазовъ Плотина) Льва Шестова.
Музыка Стравинского Артура Лурье.
Два ренессанса П. П. Сувчинского.
Поэты и Россия кн. Д. Святополк-Мирского.
Три столицы Е. Богданова.
«Хожделение Афонасия Никитина», как литературный памятник
кн. Н. С. Трубецкого.
На тему: «Искусство и быт» Р. Пикельного.
Отклики русских писателей на резолюцию XIII съезда РКП.
Библиография.

МАТЕРИАЛЫ:

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное.

Обложка — И. Любича.

Евразійскіе изданія:

КН. Н. С. ТРУБЕЦКОЙ

ЕВРОПА И ЧЕЛОВѢЧЕСТВО

Россійско-болгарское книгоиздательство. Софія, 1920.

ИСХОДЪ КЪ ВОСТОКУ

УТВЕРЖДЕНІЕ ЕВРАЗІЙЦЕВЪ — КНИГА ПЕРВАЯ
— Софія, 1921. —

Статьи: Петра Савицкаго, П. Сувчинскаго, кн. Н. С. Трубецкаго и Георгія В. Флоровскаго.

НА ПУТЯХЪ

УТВЕРЖДЕНІЕ ЕВРАЗІЙЦЕВЪ — КНИГА ВТОРАЯ
Книгоиздательство Геликонъ — Берлинъ, 1922. —

Статьи: Л. М. Бицилли, А. Карташева, Петра Савицкаго, П. Сувчинскаго, кн. Н. С. Трубецкаго и Георгія В. Флоровскаго.

РОССІЯ И ЛАТИНСТВО

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ — Берлинъ, 1923. —

Статьи: П. М. Бицилли, Георгія Вернадскаго, В. Н. Ильина, А. В. Карташева, Петра Савицкаго, П. Сувчинскаго, кн. Н. С. Трубецкаго и Георгія В. Флоровскаго.

ЕВРАЗІЙСКІЙ ВРЕМЕННОКЪ

КНИГА ТРЕТЬЯ — Берлинъ, 1923. —

Статьи: Н. Арсеньева, Петра Савицкаго, П. Сувчинскаго, кн. Н. С. Трубецкаго, М. Шахматова и Якова Садовскаго.

ЕВРАЗІЙСКІЙ ВРЕМЕННОКЪ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ — Берлинъ, 1925.

Статьи: Г. Вернадскаго, В. Ильина, Л. Карсавина, П. Савицкаго, кн. Д. Святополкъ-Мирскаго, Я. Садовскаго, В. Сеземана, П. Сувчинскаго, кн. Н. Трубецкаго и М. Шахматова.

С. Л. ФРАНК

РЕЛИГИЯ И НАУКА

— Берлин, 1925. —

А. С. ХОМЯКОВЪ

О ЦЕРКВИ

съ примѣчаніями и предисловіемъ Л. П. Карсавина
— Берлинъ. 1925. —

Л. П. КАРСАВИН

О СОМНЕНІИ, НАУКЕ И ВЕРЕ

— Берлин, 1925. —

И. Р.

НАСЛЕДИЕ ЧИНГИС-ХАНА

— Берлин, 1925. —

С. Л. ФРАНК

ОСНОВЫ МАРКСИЗМА

— Париж, 1925. —

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

— Париж, 1926 —

ЕВРАЗИКСТВО

Опыт Систематического изложения.

— Париж 1926 г. —

ЕВРАЗИЙСКАЯ ХРОНИКА

вып. VI. Париж 1926 г.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВРЕМЕННОК

КНИГА ПЯТАЯ

(Печатается)

ЕВРАЗИЙСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

— Париж — Берлин —

Большая русская газета

"ДНИ"

Шестой год издания

Выходит ежедневно, кроме праздничных дней, в ПАРИЖЕ

Открыта подписка на 1927 год

Собственные корреспонденты во всех крупных центрах Европы, Америки и стран Ближнего и Дальнего Востока.

Богатая информация о политической жизни за границей.

Рабочее и социалистическое движение в Европе.

ПО ВОСКРЕСЕН. «Литература и искусство»; ПО ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ «Эмигрантская жизнь» — богатейшая информация из жизни русской эмиграции.

ПО СРЕДАМ и СУББОТАМ особый отдел «Русский труд за границей», посвященный защите экономических и культурных интересов русских трудящихся за границей.

Социальная сличная сообщения из России.

Хозяйственная жизнь в России. Искусство, театр и музыка в Европе и в России.

Подписная плата : по Франции — 4 фр. — в год и 1 фр. в месяц с 1 3 мѣс. — 27 фр., на 6 мѣс. — 50 фр., на 1 мѣс. Австрия — 4 шиллинга, Америка — 1 дол., Англия — 3 шил., Бельгия — 12 фр., Болгария — 60 лев, Германия — 3 марки, Голландия — 2 флор., Греция — 4 драхмы, Дания — 5 датск. крон, Дания — 5 гульд., Италия — 15 лир, Латвия — 150 латв. руб., Литва — 8 литов, Манчжурия — 1 дол., Норвегия 5 норв. крон, Палестина — 3 шил., Польша — 4 злот., Турция — 120 пиаст., Финляндия — 30 фин. мар., Чехословакия — 20 крон, Швеция — 3,5 кроны, Швейцария — 4 швейц. фр., Югославия — 50 динар., Эстония — 300 эстонск. марок. Общественным учреждениям, рабочим организациям, рабочим и учащимся при непосредственном обращении в главную контору, а также в отделениях при подписке пользуются скидкой в 40 проц. с подписной платы (в Париже 6 франков в месяц вместо 10 франков).

Объявления для лиц, ищущих заработка, на льготных условиях, по особ. соглаш.

Подписка принимается:

Париж: — 11, rue Etienne Marcel prolongée, Paris III (chèque postal Nr. 80.44). Прага: — Uhelny trn. (почт. тек. счет 26.998; банк: Praska Uverni Banka, Banka Stav, Zivn. u Prumyslu). Берлин: — Berlin W. 35, Hornerstr. 19-11, банк: Disconto - Gesellschaft, Dep. Xasse, Lindenstr. 3). Болград: — Filialka Praszke Uverni Banku. София: — Filialka Praszke Uverni Banku. — Объявления принимаются в гл. Конторѣ и ея отделениях,

„ВОЛЯ РОССИИ“

6-ой год издания

Журнал политики и культуры

выходящий ежемесячно под редакцией

В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталин-
ского и В. В. Сухомлина.

СОДЕРЖАНИЕ:

Ольга Колбасина. Яблоны (рассказ).
Марина Цветаева. Лестница (поэма).
Марк Слоним. Американские впечатления.
Вл. Лебедев. Тайна посмертного рассказа.
Б. Невидимцев. Московская мозаика.
Эдуард Бенеш. Проблема славянской политики.
Е. Сталинский. Большевистское отступление.
В. В. Сухомлин. Политические заметки.

ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ:

Моррис Ходквит. Внешняя политика Соедин. Шт.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ:

Евг. Недзельский. Памяти Есенина.
Вл. Дикстон. О любви к России.
Брон. Сосинский. Новый Дом и др.
«VOLJA ROSSII». Uhelny trh 1 — Prague.
Цена отд. № 15 фр.

Открыта подписка на 1926-27 подписной год на журнал

6-й год
издания.

„СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ“

6-й год
издания.

Общественно-политический и литературный журнал
при ближайшем участии

Н. Д. Алексеева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка и В. В. Руднева.

В текущем подписном году годовые подписчики получают:

ШЕСТЬ номеров журнала, свыше 500 стр. удобного шрифта в каждом, и

ШЕСТЬ КНИГ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

состоящих из произведений лучших русских писателей, по выбору подпис-
чиков из следующего списка:

К. Бальмонт. «Дарь земли».

И. Бунин. «Господин из Сант -
Франциско».

И. Бунин. «Чаша жизни».

И. Бунин. «Деревня».

А. Куприн. «Суламифь».

Д. Мережковский. «14 декабря».

А. Толстой. «Наложенье».

А. Толстой. «Хромой барин».

З. Гиппиус. «Небесная слова».

И. Шмелев. «Неуплаченная чаша».

В. Зайцев. «Путники».

Н. Тэффи. «Тихая заводь».

А. Куприн. Рассказы для детей.

Лонгфелло. «Песнь о Гайавате».

Русские Писатели (Фонз - Вианн,
Каппиет, Грибофлов; в 1 том,
под ред. И. Бунина.

в ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ УКАЗАННЫ ПРИЛОЖЕНИЯ, СТОЯТ
с пересылкой, около 100 франков.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ВЪ ГОДЪ (исключительно через Контору журнала)
ШЕСТЬ КНИГЪ журнала и ШЕСТЬ КНИГЪ приложений

Во Франції Фр. 165-- с пересылкой.

Въ другихъ странахъ Дол. 6½ с пересылкой

При обращении посредственно в Контору допускается РАЗСРОЧКА
ПЛАТЕЖА: половина при подписке, другая половина — в течение трех
месяцев. приложения высылаются НЕМЕДЛЕННО по по-

Все 6 книгъ литературного
дочения подписной платы. Подписавшиеся в разсрочку получают книги по
внесении послѣдняго взноса.

Подписная плата переводится по адресу Конторы журнала почтовым пе-
реводомъ или чекомъ.

Адрес : Administration de la Revue « Annales Contemporaines », 106, rue de
Tour, Paris XVI.

СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ

— Fremdsprachenbuchhandlung H. Sachs A. g. Berlin S.W. 48 Verl. Hedemannstr. 6.

— Librairie «Moscou». 9, rue Dupuytren, 9. Paris (VI)

Agent in U. S. A. and Canada — S. A. EVREINOV
102, Trowbridge St. Cambridge (Mass.)